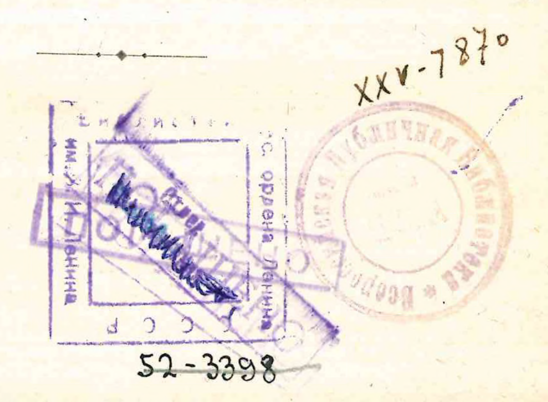
Л. М. КЛЕЙНБОРТ.

РУССКИЙ ЧИТАТЕЛЬ-РАБОЧИЙ

По материалам, собранным автором.



ИЗДАНИЕ
Ленинградского Губернского Совета
Профессиональных Союзов
1925

От автора.

Некоторые главы этой работы первоначально увидели свет на страницах журналов: „Вестник Европы“ (Максим Горький), „Современник“ (о нем же), „Голос Минувшего“ (В. Г. Короленко), „Современный Мир“ (Рабочий-читатель) и пр. Здесь, однако, они являются в измененном и дополненном виде.

Каковы эти дополнения, можно судить по очерку „Максим Горький“: он увеличен более, чем в два раза.

Так как материал, из которого выросла книга, был добыт мною на местах, то не могу не выразить признательности всем лицам, которые дарили меня своим вниманием и доверием.

Л. К.

Читатель-рабочий.

I.

Положение читателя-рабочего едва затронуто в литературе: материал, над которым оперировали, даже оперируют люди, близко стоящие к массе, до сих пор, по преимуществу, крестьянский. Если же речь идет о читателе народном вообще, то стушевываются те особенности психологии читателя фабричного, которые отличают именно его. Между тем читатель фабричный—особый социально-психологический тип.

Читатель этот читает по особому, и особые требования предъявляет к книге. И хотя трудно поддается оценке то, что зреет в родниках фабричной жизни,— слишком далеки мы от нее, жители центральных районов,—однако, новый подъем в такой степени расшатал ледяные покровы жизни, так забилась потревоженная мысль рабочего в поисках миросозерцания, что даже постороннему глазу не может не броситься в глаза это различие.

Конечно, своеобразны и условия исторического развития пролетариата в России: преувеличивать различия нет нужды. Сравните первые кадры немецкой рабочей интеллигенции с нашей. Немецкий рабочий по своему происхождению—полурабочий, полуремесленник. Немецкий капитализм развивался путем разрушения ремесла, городской домашней промышленности, и ремесленное происхождение сказалось очень рано и на психологии немецкого рабочего, и на тех этапах, которые проходило его сознание. Совсем другое у нас. Наш капитализм вырос из крестьянства, начал с поедания кустаря. В фабричном котле

варился не ремесленник, а крестьянин. *И по происхождению наш рабочий — полукрестьянин, полурабочий.* До сих пор поток крестьянской бедноты тянется в города. *Значит, крестьянская наследственность не изжита до сих пор.*

И вот результат: *низшие слои пролетариата мыслят по-крестьянски, чувствуют по-крестьянски.* Однако, поразительный переворот, какой произошел в наших социальных отношениях, лежит в основе и читательского расслоения, того, что в одних слоях пробуждается читатель—«начетчик», в других читатель — «товарищ». Умственный интерес—это интерес к жизни, именно к общественной жизни. Если день за днем течет по заведенному, то нет места и умственным интересам. И наоборот: где бы эти интересы ни имели себе места, ключ к ним лежит в общественных отношениях времени. Вот почему 30—40 лет назад,—еще до первых проявлений подъема центров индустрии,—читатель из народа терялся на такой глубине, где и провести грань между читателем и грамотеем трудно.

Для чего нужна была книга в деревне? Для удовлетворения религиозных нужд? Но религиозные нужды слабо связаны с экономией деревни. Деревня и теперь неблагоприятна для чуткой мысли, для общественной совести. Была «суета сует вокруг своего дома»,—«глубокое равнодушие ко всему, что находится вне этого дома».

«Ни в какой иной сфере, кроме сферы земледельческого труда, опять таки в бесчисленных его разветвлениях и осложнениях, — писал Гл. Успенский,—мысль ее так не свободна, так не смела, так не напряжена, как именно здесь, там, где соха, борона, овцы, куры, утки, коровы и т. п.» [1]). Но отношение к земле, к навозу, к рабочему скоту мало общего имеет с тем, от чего зависит большая или меньшая широта кругозора, самосознания, умственного интереса. Крестьянин сидел на своем месте, которое кормило его, и не было нужды

[1]) *Гл. Успенский.* „Сочинения", т. I. стр. 540.

«вникать», «ломать голову». Без книги, как без передвижения, можно было прожить...

И книга была книгой для чистой публики, которая искала в ней свое общество, свои взгляды. Только с того момента, когда пределы села, волости, уезда стали узки, когда надо было бежать с насиженного клочка земли, новые условия труда дают толчок умственной жизни. Чем больше разложение, чем шире занятия на стороне, тем выше «умственность»—необходимое условие этого существования. «Умственность» нужна уже потому, что она облегчает труд, помогает кормиться, обусловлена самим родом занятия. Говорят, деревня затрачивала миллион на книги, но,—затрачивая этот миллион,—молодежь, за немногими исключениями, покупала на него лубочные издания, которые подсовывал ей ловкий офеня, умеющий приспособиться к ее вкусам. Только в городе читатель низовой получает доступ к хорошей книге—той, которая с таким успехом проникает в сознание. Только город дает возможность читателю не только прочесть книгу, но и вдуматься, вновь прочесть непродуманное, разобраться в нем. Эта доступность, эта подвижность книги сравнительно с другими сознается всеми лицами и учреждениями, стоящими близко к делу просвещения народа. Пути, на которых массовик и книга сходятся так, что уже не покидают друг друга,—пути города.

Осложнение, лежащее глубже в производительных силах страны, создает, с одной стороны, психическую атмосферу, обусловливающую «свой образ мыслей», с другой—сеть учреждений, обладающих средствами для их удовлетворения.

Вот дома-казармы, мастерские, рудники, фабрики с их шумом, пылью, духотой, жизнь в свободное время в рабочих организациях, где так легко знакомятся разнообразные слои населения. Все дает толчок развитию новых мыслей, новых чувств. Это разрыв с прошлым, гибель прежних понятий. Городские влияния, фабричные потребности, желание лучшего, неизвестное до тех пор чувство общительности. Разрушается власть земли, а с новыми чувствами растет и дух беспо-

койства, торопливости, нервозности, связанный с специфической особенностью пролетарского существования — необеспеченностью. А в то время, как народ приближается к книге, и книга приближается к народу. Еще старые учреждения создавали читателя из полуграмотных масс, высыпающих из школ. Отчеты обществ и отдельных лиц пестрели рассказами о том, как рабочий бежит в библиотеку, в аудиторию, где происходят чтения, каким важным способом для проведения общественных, исторических, гигиенических знаний, столь необходимых фабричной среде, является книга. Отчеты книжных складов вторили, что среди рабочих не один уже умеет отличать хорошую книжку от дурной. Но все это, без сомнения, отступает перед эпохой, когда на смену комитетам грамотности, деятельности земств и городов и пр. пришли просветительные общества самих рабочих, впервые выдвинувшие читателя, который знает уже что-то такое, чего писатель ему не скажет.

Еще до революции читатель низов чувствовал себя неловко в качестве объекта читательских планов, тех, которые чертила и осуществляла интеллигенция. 1905—06 гг. впервые конкретизировали вопрос о том, должна ли проводиться книга на фабрику одними чужими, не рабочими руками. Однако, потребовались годы открытого существования библиотек просветительных обществ, библиотек профессиональных союзов, чтобы у книги оказался такой союзник, как фабричная культура, тысячами голосов твердящая пролетарию о необходимости знания, о значении принципа, чтобы читатель-массовик вышел на собственную дорогу. Теперь рабочая библиотека, как движущая сила, рабочий-библиотекарь, как участник просветительного начинания, конечно, лучшие показатели того, как далеко зашло читательство в фабрично-заводской среде. Тем знаменательнее их инициатива, их борьба за проведение книги в массу. Не будет преувеличения, если скажем: благодаря начинаниям самой интеллигенции рабочей, вопрос о читателе-рабочем приобретает двойное значение.

До попыток рабочих взять дело своего просвещения в свои руки процесс образования читателя низов шел, главным образом, путем развития вширь. Читатель и прежде рос вглубь; в самые глухие времена фабричная среда выделяла известный процент деятельных, вдумчивых книжников. Но все же,—само собою очевидно,—развитие внутрь без творческих сил самой массы недостижимо. И если теперь развитие читателя идет, главным образом, вглубь, то лишь благодаря появлению на арене рабочей жизни нового поколения, верящего в собственную инициативу, в собственную энергию.

II.

Однако, есть ли массовой читатель-пролетарий, для которого книга стала второй природой? Да, велик подъем читательской волны. Фабрика ведь главная арена событий последних лет,—может ли здесь отсутствовать массовая тяга к книге? Однако, в наше время есть массовик и массовик.

Так же ли идет читательство вширь, как вглубь, так же ли проникает в народную толщу? Вот вопрос, на который приходится отвечать, основываясь на отчетах народных и рабочих библиотек, библиотек профессиональных союзов и рабочих клубов и т. д.

Еще труды первого всероссийского съезда по библиотечному делу свидетельствовали, что в библиотеках с подписчиками-рабочими среднее число выдач из одной библиотеки в год много выше, чем в библиотеках с подписчиками-крестьянами; что одна заводская библиотека служит чуть не вдвое большему числу лиц, чем библиотека в районе земледельческом. В свою очередь, и самое библиотечное дело подвигалось вперед. Не говоря о 166 просветительных учреждениях, вновь возникших в течение трех лет, новых общественных библиотек открылось за это трехлетие в городах и местечках 42. Такова «частно-общественная» инициатива.

Особняком стоят рабочие библиотеки. Когда библиотечки, принадлежавшие рабочим кружкам, хранились в подполье, изобретались хитрые способы, чтобы ускорить обращение книг в массе. Позднее почти все союзы профессиональные имели

библиотеки. Наиболее богатая была при союзе металлистов, затем у золотосеребряников (1.500 книг), у деревообделочников (950 кн.), экипажников (900), картонажников (800) и т. д. Из рабочих просветительных обществ в Петербурге коломенское общество «Образование» имело две библиотеки и читальню, второе общество «Образование» за Нарвской заставой библиотеку и читальню, сампсониевское общество, «Образование»—библиотеку в 1000 томов, общество «Просвещение»—900 кн., «Знание—свет»—1260 кн., «Наука» 3000 том. Эти библиотеки состояли из книг, о которых не так давно читатель фабричный и мечтать не смел, не говоря о рабочих газетах, рабочих журналах. Союзы, не имевшие своих книг, входили в соглашение с частными библиотеками, в целях получения членами союзов книг на льготных условиях. Конечно, проявила себя и рабочая провинция: Екатеринбургское общество служащих (организовало библиотеку-читальню с 400 томами); Харьковское общество торговых служащих (700), Бахмутское общество торговых служащих, Томское общество печатников, Самарское общество книгопечатников, организация текстильных рабочих в Тейкове (626 томов), воткинский союз рабочих по металлу и пр. Еще в 1907 г.— согласно анкете, произведенной организационной комиссией «съезда деятелей народных университетов—из 187 союзов 121 имели свои библиотеки и в 60 из них заключалось 20.000 томов. В одном Петербурге из 35 союзов 14 имели свои библиотеки. Если же так обстояло дело до 1917 г., то революционные годы дают новый толчок библиотечной работе. Правда, подводя ей итоги, «Горн» указывает, что библиотечки оказались бедны книгами, а потому посещаемость библиотек упала [1]). Однако, с 1921 г.—года оживления издательской деятельности—началось усиленное комплектование библиотек. Отрывочность данных не дает возможности учесть этот процесс в цифрах. Но он не подлежит сомнению.

[1]) „Горн". Изд. „Всероссийского Пролеткульта" 1922 г. № 1 (6). Стр. 90.

Очевидно, рост библиотек рабочих не мог не выбрасывать все новые и новые категории читателей, на место прежних. Рос читатель новый, едва проснувшийся от сна. Прежде ядро рабочих библиотек составляла молодежь, теперь и процент стариков с каждым годом растет. Пусть бредет еще читатель извилистыми тропинками, то и дело сбиваясь с пути, все же бодр голос отчетов рабочих. Но если отчеты рабочих библиотек свидетельствуют, что книга провела нестирающийся след, то цифры народных библиотек и читален не блещут.

Вообще читательские районы разны, не похожи друг на друга. Наростал читатель из народа в прежнее время интенсивнее всего в Петербурге. Не потому, чтобы петербургский либерализм был щедр на библиотеки и читальни. О деятельности по развитию библиотечной сети в Петербурге говорить не приходится. В течение лет, предшествующих революции, петербургское городское самоуправление ни одной библиотеки, ни одной читальни не открыло. Когда же заседал библиотечный съезд, то оно не только отказало ему в материальной помощи, но сочло излишним послать ему слово привета. Петербург был главный центр читательства лишь в силу рабочих библиотек, которыми он выдавался из ряда других промышленных центров. Другое дело Москва, в которой было не менее 1400 пивных и казенных винных лавок, но всего 30—40 общедоступных библиотек. Москва тратила миллионы на содержание начальных школ; население Москвы почти целиком прошло школу. Общедоступная же библиотека была редкостью, та библиотека, которая обеспечила бы рабочему доступ к книге.

Зато ныне Москва заняла первое место. Вот, например, читальня при заводе «Красный Богатырь». Сначала она представляла хаотическую груду книг, но постепенно была реорганизована. Теперь она — самый светлый, людный уголок в клубе. Посещаемость «быстро повышается». Так, средняя посещаемость с августа по декабрь 1923 г. ушестерилась. Помещения не стало хватать, переселились в самое большое, «но и тут битком набито»: «сидят на стульях, окнах, столах; стоят, подпирая плечами стену; младшие располагаются на

полу». Вот рабочий клуб Хамовнического района; в библиотеке свыше 5000 томов; посещаемость до 200 человек ежедневно; зачастую читают, сидя на полу, не обращая внимания на тесноту; после значительной пристройки к помещению, массовая работа пошла еще шире. Такие сообщения идут из всех заводских районов.

Конечно, беднее была и есть провинция теми учреждениями, которые приближают фабрику к книге, плодят читателей, еще не проторивших дорожки к ней. Книга под боком— читают, нет книги—не знают, не понимают, что она может дать; извилист путь читателя-массовика. Бывает так, что подвернется книга, да не та, какая ему нужна, которая затронула бы, разбудила то, что остается на всю жизнь. Трудность достать книгу, дальность расстояния, неудобства путей сообщения—вот факторы, влияющие в разной степени в разных местах. Из отчетов народных библиотек явствовало, что, уже начиная с расстояния в 2 версты, число читателей убывает; по мере же отдаления библиотеки, значение ее сокращается до нуля. Таким образом, пути сообщения, соединяющие рабочий район с библиотекой, приближают или удаляют книгу. А так как библиотека в редких случаях была библиотекой самого народа, обычно же «для народа»,—учрежденная какой-либо организацией,—то большее значение, чем расстояние, чем пути сообщения, имело и имеет качество книг, обладающих не только свойством притяжения, но и свойством отталкивания.

Можно говорить о поразительном росте вширь по отношению к газете. Успех «Копейки», а позднее рабочих газет нагляднее отчетов народных библиотек, вместе взятых. Расстояние здесь роли не играет—газетчик тут как тут. Не играет роли и цена: вычет копейки из дневного заработка— небольшой расход даже для чернорабочего. И распространение «Копейки» достигло такой степени, что рабочие организации вынуждены были объявить ей борьбу путем бойкота, отказа от какой бы то ни было информации. Это была газета низших слоев пролетариата. В то же время «Правда» имела одних *подписчиков* рабочих в 684 пунктах России свыше 8000; на фабриках же и заводах Петербурга расходились десятки тысяч номеров *розницы,* в Москве—3000, в провинции 6000 ежедневно. Значительны были и цифры распространения в фабричных районах «Северной Рабочей Газеты», «Стойкой Мысли». Если к этому прибавить «Современное Слово», имевшее немалый круг читателей среди приказчиков, торгово-промышленных служащих и пр., то станет очевидно: газета еще до революции стала народной.

Годы реакции в этом отношении характерны. Получив боевое крещение в 1905 г., рабочий—даже самый серый—уже не мог не прислушиваться к тому, что делалось кругом. Втягиваясь в стачку, в протест, в атмосферу оживления, он делал попытку разобраться хотя бы по копеечной газете, которая открывала как ни как горизонты, связывала с внешним миром. От газеты же недалеко до профессионального рабочего журнала. И, в самом деле, профессиональный журнал идет по следам газеты. Хотя распространение его ограничено профессией, отраслью производства, но тем знаменательнее цифры распространения. «Металлист» — орган рабочих по металлу, выходивший под разными названиями—расходился среди рабочих-металлистов в количестве 10.000 экземпляров; среди печатников—«Печатное Дело», среди булочников—«Жизнь Пекарей», среди золотосеребряников и бронзовщиков — «Голос Золотосеребряников и Бронзовщиков», среди приказчиков — «Вестник Приказчика», среди портных — «Вестник Портных». Рабочий, даже не отрешившийся от примитивности крестьянского мировоззрения, легко переходит от газет к профессиональному журналу уже в силу того, что журнал говорит о близком, профессионально-близком, не говоря о том, что журнал приспособляется к примитивному уровню знания масс, мало отличаясь от газеты.

Так шагнула газета в рабочих районах вместе с примыкающим к ней профессиональным журналом. Того же, однако, нельзя сказать о книгах. Требование на нее растет, растет с поражающей быстротой и со стороны одиночек, и со стороны групп. Рабочие теперь поняли, как прочно засели пред-

рассудки в их головах за долгие годы темноты и забитости, как мало подготовлены они к деятельности. Поняли и везде кинулись на книгу. Расход на книги растет вдвойне: покупают и рабочие библиотеки, и рабочие-одиночки. Только, повторяю, все это приложимо скорее к рабочим верхам, чем к читателю серому, тому, который расширяет библиотечный район.

Одно говорят отчеты рабочих библиотек. Вот, напр., библиотека металлистов: «читаемость сравнительно с прошлым годом возросла значительно». Вот библиотека «Науки»: за 10 месяцев взято 2418 книг. О росте требований на книгу свидетельствуют печатники, деревообделочники, приказчики. Аналогичны были отчеты университетов. Самарское общество указывало на живейший интерес, который вызывают чтения среди аудитории. «Это настоящий лапотный университет, о котором мечтал Толстой»,—читали мы в «Известиях Самарского Общества Народных Университетов». Слушатели грызут семячки пока играет пианино, пока поют. Но нужно видеть их лица, когда начинается чтение, которое задевает их за живое. «Шелест семячек исчезал, тишина наступала мертвая, а мимика чтеца отражалась изумительной подражательной мимикой всей аудитории. «Спасибо, благодарим», слышалось всегда после обычных аплодисментов». Успех чтений среди беднейшего населения окраин был так велик, что московское общество народных университетов перенесло центр своей деятельности в районные отделения, где функционировало 11 аудиторий. Слушатели эти, конечно, представители рабочих низов. По профессиям слушатели петербургского нар. унив. были прежде всего служащие в торгово-промышленных заведениях, далее ремесленники и рабочие, самарского—прежде всего конторщики и приказчики, затем рабочие; майкопского—приказчики, рабочие, ремесленники, домашняя прислуга, мелкие торговцы; смоленского—рабочие (57%) и т. д. Так лекторы и переходили от центра к окраинным аудиториям. Если так было до революции, то вот что сообщают нам в 1923 г. о рабочих читальнях: «Читают серьезно, вдумчиво, с увлечением. Сердце радуется, когда рабочий, приходя в первый раз в читальню, беспомощно роется в книжном богатстве, не зная, что взять—книгу, журнал, какой журнал; а через два-три месяца приходит с определенным требованием» [1]).

Другое дело—отчеты народных библиотек прежнего времени. Что-то не давало здесь итти вверх. И лучшая иллюстрация этого—Москва. «Современное хозяйство города Москвы»—справочное издание московского городского управления—отметило факт понижения процента фабрично-заводских и ремесленных рабочих среди клиентов городских библиотек. Особенно ясно это обнаружилось в Хамовнической библиотеке, где рабочие, ремесленники и прислуга составляли в 1904 г.—53% читателей, в 1907 г.—42%, в 1909 г.—34%, в 1910 г.—24% и т. д. Конечно, по отдельным библиотекам и читальням состав читателей разнился в зависимости «от характера района, где находится библиотека, от подбора книг в библиотеке». Процент читателей из рабочей среды был гораздо выше в маленьких библиотеках. Но все же факт был налицо: состав читателей, посетителей городских читален и подписчиков библиотек—более чем на половину был школьный. Преобладающее количество подписчиков и в Симбирской бесплатной библиотеке (97,4%) составляли учащиеся. В симферопольских бесплатных библиотеках процент учащихся—91 и 74, в Нарвской—73%. Взрослый отступал перед ними.

Согласно данным Жулева, рабочих, записавшихся на чтение в читальнях гор. Петербурга, было в 1905 г.—23,3%, 1907 г.—19,3%, 1909 г.—14,5%, рабочих, записавшихся для получения книг на дом, в 1905 г.—13,5%, в 1907 г.—12,6%, в 1909 г.—9,8%. Ряд библиотек народных отметили понижение читателя из народа: Коломенская бесплатная библиотека имени А. С. Пушкина (с 305 чел. до 105), решетниковское отделение Екатеринбургской публичной библиотеки (21,5%), библиотека самарского общества народных университетов (7,7%). Согласно абсолютным данным библиотек, на-

[1]) „Рабочий Клуб". Ежемесячный журнал. 1924 г. № 2, стр. 57—58.

родный читатель составлял в Тамбовской нарышкинской бесплатной библиотеке—4,2%, в нарвской бесплатной библиотеке—5,8%, в четырех городских библиотеках Харьковского общества грамотности—15,6%, в Ростовской (Ярослав. губ.) бесплатной библиотеке—21,9%, в двух бесплатных народных библиотеках гор. Симферополя—5% и т. д.

Правда, позднейшие отчеты показывали, что читатель идет вперед, оттесняет учащиеся группы и в народных библиотеках и читальнях. Но все же медлительность этого читательского наростания и сама по себе понятна. Достаточно вспомнить условия, в которых наростало пролетарское читательство, те путы, благодаря которым не могла осуществиться подчас самая безобидная мечта о книге, чтобы понять эту неподвижность. Дело прежде всего в самой библиотеке, которая сегодня существует, а завтра закрыта, а если не закрыта, то между ней и ее читателем слаба и внутренняя, и внешняя связь, ибо она не орудие умственной жизни темных масс, а филантропическая затея. Далее дело в том, что подвального человека от книги отделяла пропасть, и должна была быть заполнена пропасть для того, чтобы подвальный человек оказался на пути к книге.

Роль школы, даже внешкольных учреждений на ступенях народной жизни заменялась прежде самообразованием, но самообразование это доступно было верхам. Согласно же традиции, в начальной школе «других наук, кроме российской грамоты, иметь не следовало». О чем-либо таком, что воспитывает ум, развивает настроение, не было речи ни в школе, ни после школы.

И вот, два полюса на фоне пролетарского читательства: рабочая масса и рабочая интеллигенция. Они, конечно, связаны между собой. Созревая в процессе экономической жизни, общественного самоуправления, масса выделяет один отряд за другим, для которых книга—вторая природа. Но в то же время масса остается массой, лишенной элементарных умственных навыков.

При таких условиях развивается читатель, главным образом, вглубь. Обратимся же к тому авангарду, который уже не один этап прошел по пути к книге, который шаг за шагом завоевывает и право на нее, вопреки всем рогаткам, которые были расставлены по пути.

III.

Цифры отчетов тотчас веселеют, как только переходим сюда. Правда, читательство зиждется в значительной степени на новом поколении, которое, хотя и пережило 1905 год, но после 1905 года еще только начинало жить. Но так и должно быть: годы реакции интенсивнее формулировали читателя, чем годы подъема, когда даже металлисты,—передовой отряд пролетариата,—читали, по преимуществу, брошюры.

Да, в истории читательства те годы не были отмечены яркой страницей. Вырос интерес к газете, к листку, к брошюре. Но книга, как была, так и осталась вне того вихря, который разбередил народную мысль. Нервное время давало себя знать во всем. Но энергия была направлена в те ходы, которые были открыты. Читать *книгу*, требующую подготовки, умственного напряжения, было некогда. Напр., в Петербурге из 1100 членов василеостровского отделения союза рабочих по металлу библиотекой пользовались всего 160. За год было взято лишь 732 книги. Даже по общественным вопросам читали мало. Прочли «Спартак» (Джиованиоли), «Подпольную Россию» (Степняка), «Углекопы» Золя), «Овод» (Войнича),—остальное дополнит газета или брошюрка. Только после отлива выплыла на первое место книга. Начали знакомиться с основами марксизма, с политической экономией, с литературой. В любой момент по любому вопросу шли разъяснения в просветительном обществе, в читальне, в кружке. Закладывался книжный фундамент.

И вот даже те отчеты, что поднесли нам свою горькую правду, отмечают все же не отдельно светящиеся точки, а прочный читательский слой. Процент взрослых «уменьшается»,

но все же он крепок. Напр., в библиотеке-читальне имени В. А. Жуковского в Симферополе и читатель наростал, и в возрастном составе читателей было увеличение в пользу взрослых. Взрослые подписчики дали 32,2% всех читателей, причем в 1906 г. взрослых читателей здесь было 17,8%, в 1907 г.—20,5% в 1908 г.—27,3%, в 1909 г.—27,8%, в 1910 г.—29,2%' и т. д. Отчеты библиотеки общества взаимного вспомоществования приказчиков-евреев Одессы давали тенденцию на повышение беспрерывно. В библиотеке самарского общества народных университетов «результаты превзошли ожидания», хотя читатели—рабочие, приказчики, ремесленики, чернорабочие,—как мы видели, численно понизились. Медленно шел процесс наростания читателя путем народных библиотек, но в каждой из них уже был читатель постоянный, для которого книга—отдых от мутных будней жизни, который знал, что читать, как читать. Если же этот читатель выписался из библиотеки, значит, причина была вне его. Застой в промышленных делах, связанная с ней безработица, болезнь и пр.

Впрочем, народная библиотека здесь не показатель. Это рабочий серый—в поисках за книгой — наталкивался прежде всего на библиотеку бесплатную. У читателя же, вышедшего из тупика,—напр., члена рабочей организации, просветительного общества,—народная библиотека на заднем плане. Рабочая интеллигенция приходила к книге своими не прежними путями. Здесь на первом месте библиотеки профессиональных союзов и просветительных обществ. Просмотрите списки читателей коломенского общества «Образование» или сампсониевского общества «Образование», нынешних библиотек профессиональных союзов и рабочих клубов. Вот где постоянство, и нет рабочей библиотеки, которая бы не отличалась этим свойством. Читатели библиотеки в то же время члены общества, и поскольку состав членов меняется, постольку и состав читателей изменчив. Но общества развиваются, растут. И основное ядро читателей развивается, растет. Постоянство объясняется и характером книг. Пытливый ум тружеников фабричного станка находит здесь как раз ту духовную пищу, какая ему нужна.

Как ни случаен подбор жертвованных книг, каждая книжка, внесенная читателем-рабочим, была им самим выбрана, а не навязана извне. Когда же организации тратятся сами на покупку книг, то от этого еще более выигрывает подбор. Преобладают в библиотеках книги по рабочему движению, в читальнях рабочие газеты, профессиональные журналы—мудрено ли, если подписчики библиотек, посетители читален, раз войдя в них, не порывают уже сношений до тех пор, пока двери самой библотеки, самой читальни открыты для него.

Но не одни общественные библиотеки—и домашние росли и растут в рабочих районах. Книжные магазины свидетельствуют, что народился новый покупатель-рабочий, что с каждым годом доля рабочего бюджета, идущего на приобретение книг, растет. Насколько это так, показывают специальные книжные магазины, торгующие рабочей литературой и торгующие бойко. В течение пяти месяцев, напр., одним из них продано в рабочие районы до 15.000 книг. О том же говорят издания таких фирм, как «Прибой», «Фабрика и Земля», Культурно-просветительные отделы профессиональных Союзов. Рабочий календарь изд. «Прибой» был расхватан в один день в рабочей среде. Страховая литература выдерживала издание за изданием, а каждое издание—10.000 экземпляров.

«Домашние» библиотеки имели свое значение, конечно, прежде, когда библиотеки просветительных обществ и профессиональных организаций были бельмом на глазу; достаточно было не заглянуть во-время в публикуемые и не публикуемые списки изъятых книг, чтобы библиотека была закрыта. Так были закрыты и арестованы библиотеки коломенского, нарвского и др. обществ. Более того, все книги при этом прямо увозились. Конечно, конфискованные книги, брошюры сосредоточивались в руках читателей-рабочих. Но и читательские руки—гарантия плохая. Первый обыск,—и домашней библиотеки нет. Но не в одном хранении смысл домашних библиотек. Спросите любого владельца библиотеки, для чего он приобрел ее: «итти вперед страшная охота». Он уже не может не покупать, уже голодает без книги, как голодает без хлеба. Дороговизна жизни растет;

удовлетворять насущные потребности становится все труднее, но он жаждет книги, жаждет в буквальном смысле и отказать себе в удовольствии иметь библиотечку хотя бы из 10—15 любимых книжек он не в состоянии.

Тюрьма, ссылка были следующие этапы читательства. Среди передовых рабочих недаром установился взгляд на тюрьму, как на народный университет. Политик-рабочий уже был поистине массовик. Если до 1905 г. интеллигенты наполняли российские бастилии, то после 1905 года бастилии демократизировались в высочайшей степени. Любая сгачка, демонстрация, даже канун стачки, канун демонстрации, и десятки, а то и сотни рабочих попадали в тюрьму. Благодаря открытому существованию рабочих организаций, тюрьма даже стала определенным этапом в развитии рабочего. Вот пример: за два года существования союза металлистов три правления постигла эта судьба. Точно также и ревизионные комиссии. Точно также делегатов, еще в большей степени рядовых членов. Тысячи рабочих прошли через тюрьму. А тюрьма—при всех строгостях—не упраздняла одной привилегии: тюремной библиотеки. Правда, первоначально библиотеки тюремные были и богаче, и содержательнее, но все же и позднее в хорошей книге недостатка не было. А так как в тюрьме рабочие не отвлекались ни рабочим днем, ни семейными буднями, ни общественными делами, то сериозная книга здесь делала свое дело, великое дело.

Читатель-рабочий проходил два этапа на своем пути— до тюрьмы и после тюрьмы.

Однородную культуру несла и ссылка. Ведь и ссылка уже была не разночинно-интеллигентская. Это была ссылка массовая, пролетарская; главный процент ссыльных—рабочие. Так, в Ижме процент этот подымался до 69, в Яренске—до 51,29 в Черном Яру—47,3 в Устьсысольске—41. Ниже, чем в Устьсысольске, процент рабочих не опускался нигде. Анкетной комиссией Устьсысольска было, между прочим, установлено что ²/₃ рабочих работали на фабриках и заводах с числом

от 100 до 25.000 человек, т. е. в крупных предприятиях [1]). Конечно, прибывали в ссылку рабочие и мало начитанные. Только тут и начиналось влияние книги. Библиотеки местные демократизируются под влиянием требований рабочих. Пусть администрация тут же начинает их чистить, но это не помогает. Книги из рабочих рук не выбить. «Чаще всего штудируются книги по истории рабочего движения; затем идут труды по политической экономии,—констатировал наблюдатель,—некоторые занимаются философией, историей литературы, даже естествознанием. Это будущая пролетарская интеллигенция, для которой ссылка окажется народным университетом». Интеллигенты-ссыльные, в свою очередь, полезны были рабочему и своими книгами, и своими указаниями. Так, в Устьсысольске практиковались систематические занятия с рабочими. Рабочими, изучающими тот или иной вопрос, руководили интеллигенты из числа наиболее знающих.

Тюрьме, ссылке пролетарской 1907—16 г.г. историк читателя народного отведет не менее места, чем рабочим библиотекам, домашним библиотечкам. Если в рабочей библиотеке, рабочей читальне читатель-фабричный, что называется, получал крещение, то в местах отдаленных и не столь отдаленных он формировался. Быть может, рабочий, привыкший к физической работе, безраздельно отдаться книге не мог, накидывался на книгу с перерывами. Но, так или иначе, он рос вглубь. Возвращаясь из тюрьмы, из ссылки, поднимал до себя ниже стоящих. В отчете бакинской воскресной школы за 1912 г. читатель-рабочий характеризовался так: «В воскресной школе любовь к чтению является сама собой, без всякого искусственного воздействия. Учащиеся воскресной школы читают книги с увлечением, берут по нескольку зараз. Книга питает ум, возвышает душу и вызывает подъем духа воскресника... Потом читается в семье среди знакомых». И не только среди знакомых, но и в кружках. Читатель, прошедший «курс»

[1]) *Б. Фрометт.* Культурная работа в ссылке. („Русская Школа“ 1911 г. № 2).

чтения в теперешнем смысле слова, сам—живая книга. И не успокоится до тех пор, пока не передаст своих знаний, не заразит своей страстью товарищей.

Вот, напр., фабричное село Черемухово, в описании Ст. Лесного. Живого слова никогда не услышишь. Лето сменяло весну, осень—лето, и так жили. Но вот несколько человек мастеровых пришли из города, а между ними высланный слесарь Сурин. Лишенный права жительства в больших городах, заброшенный в черемуховскую глушь, он не стал обрастать черемуховским мхом, а образовал «кружок», в котором стали сообща почитывать. Бывало, по окончании работ на фабрике кучка рабочих, человек в семь-восемь, отправляются на луг и там «читают, обсуждают до тошноты». Многие в книгах не все могли понять, и слесарь Сурин разъяснял. Выписано было десять экземпляров рабочей газеты. Так новая жизнь Черемухова началась. Правда, пробовали на почте не выдавать газету. Но это не помогло. «Теперь черемуховский рабочий во всем округе в славе. Пусть вы и в столице живете, только наше Черемухово тоже не хуже. Разве можно было раньше думать об этом? Слесаря Сурина вспоминаем—где-то он теперь? Спасибо ему—рабочей грамоте «обучил».

Аналогичную картину рисует донецкий шахтер. На руднике, среди рабочей молодежи, «пользуется популярностью человек науки», «вокруг него группируется кучка молодежи, они вместе читают». Это льстит его самолюбию, и, получив нужные книги, «он заучивает их чуть не наизусть». Его знание не для него одного. «Все, что он сегодня узнал, он постарается, идя на работу, передать дословно товарищам». Конечно, и здесь первая ласточка—газета. Шахтер, начинающий читать, сначала смотрит на четвертую страницу газеты в отдел «рабочая жизнь». Начитавшись корреспонденций о положении рабочих, шахтер, прежде чем перелезть на третью, вторую страницы, заглянуть на первую, пытается «продернуть» и свою жизнь. Чувства человека не убить... Но это чувство—лучший мостик между шахтером и печатным словом. От рабочей корреспонденции к сериозной книжке—один шаг,

благодаря «человеку науки», который, раз задев товарища за живое, ведет уже за собой до конца. Недаром он воспевается даже в стихотворениях рабочих, большей частью тех же массовиков:

В убогой рабочей каморке
Нас трое сегодня сошлись.
„Путь Правды" мы дали Егорке,
С усердием слушать взялись.
У всех на сердцах постепенно,
Как кошка, обида скребет...

Начали, естественно, со «смелых речей депутатов своих».

Потом говорили о многом—
О наших рабочих делах.
Сидели в раздумии строгом.
Не весело в наших сердцах.
Да, шире все блещет сознанье.
Вперед, брат—рабочий идет...

Хотя трудно пробиться им к знанию, но свет им Егорка несет. Это уже не любитель, это уже пропагандист книги—новая ступень развития читателя вглубь. Получив первые навыки к книге в рабочей библиотеке, развившись в тюрьме, ссылке, профессиональном союзе, рабочий устраивает кружки самообразования, пропагандирует миросозерцание, вынесенное из газет, журналов, книг. Пропагандируя же это миросозерцание, сам поднимается еще выше. Для того, чтобы заставить других ловить зерна знания, надо бросать их опытной рукой. Надо уметь не только книжку изложить, не только выдвинуть то, что в ней самого привлекательного, но и—что гораздо сложнее—осмыслить сущность книжки в деталях, в связи с богатой литературой вопроса.

Так пропагандист вырастает в лектора с отчетливым пониманием роли. Недаром бросается в глаза новая фигура рабочего квартала — рабочий-лектор, выросший непосредственно из вчерашнего читателя. Рабочая аудитория ждать не может. Движение последних лет ускорило развитие самосознания, и массе недостаточно знать свой станок, свою фабрику. В то время как народные библиотеки жаловались на уменьшение читателя низов, лекции окраинные буквально переполнены

были рабочим людом. В один из годов до революции в Петербурге 46 лекций общества «Наука» посетило 3408 человек, 354 лекций общ. «Просвещение»—19,834 чел., 54 лекции общ. «Знание—Свет» 5544 чел., несмотря на тесные, неудобные помещения. То же видно из отчетов народных университетов. В аудитории Невской заставы на 63 лекциях зарегистрировано было 2196 посещений; в охтенской аудитории на 7 лекциях 668 человек, в Нарвской аудитории—560 слушателей на 3-х лекциях...

Один дефект—лекторов не хватало... И вот, в почетной роли окраинного лектора—рабочий-читатель. Пусть эта эволюция, сплошь и рядом, совершается быстрее, чем бы следовало,—такова уже логика пролетарского просвещения—фигура рабочего-лектора яркий символ того, что делала книга в рабочей среде.

Теперь, конечно, пред нами другие цифры. Напр., за одну четверть 1921 года 569 лекций одних московских профессиональных союзов посетили 136.891 рабочий. Но не столько характерны эти цифры, сколько роль рабочих-руководителей, ставшая общим местом. Бытовое явление наших дней это кружки литературные, социальные, изучение марксизма, ленинизма. Вот, напр., такой кружок при клубе московских кожевников. Постоянное ядро 10—12 человек. Беседы, коллективные чтения длятся часа два. Кто ими руководит? Свой же брат пролетарий. И это в большинстве кружков.

IV.

Итак, расцвета читательской массы нет, вопреки массовому оживлению. Но читатель постоянный, не случайно берущий книжку в руки,—продукт самого роста пролетарской культуры. И изучение читателя-фабричного одна из задач нашего времени.

Сложный это вопрос — много сложнее, чем вопрос о читателе деревни,—как сложнее среда, окружающая читателя фабрики, прилавка, конторы, та социальная, экономическая

обстановка, от которой зависит и степень культуры, и элементы развития культуры. Но тем тоньше его запросы, идейная физиономия. Данные о том, как читают, что читают в пролетарской среде, это наглядно подтверждают.

Еще до бурных дней, потрясших народный организм, выступало различие между интеллигенцией деревенской и интеллигенцией фабричной, даже в том прежде всего, как та и другая подходят к книге.

Читатель деревни до 1905 года смотрел на книгу с утилитарной точки зреня, сериозно относясь лишь тогда, когда она отвечала узко-практическому интересу. Хорошими хозяевами оказывались те, которые не ограничивались школой, а «радетельно читали». Большинство крестьян, пользовавшихся из библиотек книгами сельско-хозяйственного содержания, по этим книгам начинали совершествовать свое хозяйство. А после 1905 года интеллигенция деревенская стала еще практичнее. Согласно анкете вольно-экономического общества о распространении сельско-хозяйственной литературы в деревне, 16 земств отметили спрос «очень большой», а 10 высказались в том смысле, что «спрос есть».

В течение бурных лет в народе держалось, по старому выражению народника-бытописателя Златовратского, какое-то романтическое направление. Та вера, то ожидание, которое так характеризовало деревню издавна, достигли высшей точки. За годы же реакции эти ожидания стали достоянием истории. Утратив веру в фантазии, деревенская интеллигенция пришла к выводу, что надо искать более близкого выхода, не дожидаясь, пока такой выход явится издалека. Но,—как ни разнообразны эти искания,—ясное дело: выше лба уши не растут. Читатель деревни не может не отражать интересов деревни, и вот результат: крестьянин, «любящий читать», «уразумевающий литературу», ведет хозяйство «осмысленнее», аккуратнее», «более толково», «благопристойнее, чище», «скорее отстает от рутины», «более податлив на нововведения». Конечно, этот же грамотей, «который развил себя чтением полезных книг» и «порядок знает больше», знает «книги за-

конного порядка», сам и прошение напишет,—без подпольного адвоката,—но все же в книге ему дороже всего «полезное», то, что тут же можно использовать в хозяйстве, на сходе, в сношениях на стороне. Если же—помимо этой практичности—деревня обнаруживает понимание книги в смысле общего развития, то редкая-редкая книга поглощает его, поглощает настолько, чтобы читатель забыл для нее свой навоз, свой рабочий скот, «суету вокруг своего дома и своей личности». Он пассивен, мало анализирует, ищет проповеди, поучения. И если верна поговорка: «скажи мне, как ты читаешь и что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты», то потребности деревни так же характеризуют читаемую ею литературу, как читаемая ею литература потребности деревни.

Иное отношение в городе, на фабрике. «Для книжки рабочие забывали и дела, и еду, и чай, и карты, и гармонику» — описывал еще в 1904 г. С. Ан-ский в «Русском Богатстве“ свои чтения с шахтерами.—«Они слушали чтение с жадностью, с упоением, с каким-то болезненным восторгом, совершенно забывая все окружающее и бурно с увлечением выражая свои чувства... Было что-то глубоко трагическое в той мучительной жажде, с которой они накидывались на книгу». Так было в 1904 г., тем более в 1914 г. Отношение к печатному слову накануне 1917 г. хорошо передает следующая картинка, напечатанная в профессиональном журнале. «Деревообделочник». Автор статьи описывает, как читатели завода, на котором он работал, ждали 22 апреля 1912 г. выхода рабочей газеты «Правда».

Ждали этого дня за неделю еще на заводе. Точно сговорившись, спрашивали друга: «Какое сегодня число»? И так каждый день.

— Ребята,—не выдержал «старик», «отец Васильев»— отчего бы вам календаря своего не завести? Эка трудность! А то каждый день справляться .. Вся эта неделя, как один день пройдет, а завтра воскресенье...

— Воскреснем, отец,—отозвался молодой столяр.

— Воскреснем, верно...

— Гляди, как хорошо оно выходит... Как раз в точку. Воскресенье первый номер и воскресение нашего брата выходит...

Это заметил рабочий, тот самый, что заказал токарям каждый день зажигать в фонаре вырезанные им на жестяной пластинке слова: «двадцать второе апреля». Токаря исправно каждый раз «зажигали свой факел» и из окна показывали всем им. Но как ни бодрствовали ребята, все же чувствовалась «жуть ожидания». Долго тянулась неделя. Штрафных много набралось, а токаря чуть даже не забастовали, желая хоть чем-нибудь скоротать время. После работы ходили без толку друг к другу, «выбирали» шрифт, самый красивый, для заголовка газеты. Расходясь же домой, каждый раз уславливались, кому отправиться в первое утро за газетой.

— Не нарваться бы на мента,—опасливо замечал кто-нибудь на тюремном жаргоне.—Дело такое; воскреснешь уже в участке.

И оттого, что спорили, кому пойти за первым номером, всем казалось, что воскресенье становилось ближе к ним, и они весело разбегались домой. А утром опять спрашивали друг друга, доподлинно ли в воскресенье 22-ое число. Они все знали, что это так, но им «хотелось, чтобы внутренний голос верил в светлое завтра».

Наконец, наступил день, когда они уже смело друг другу говорили: «ага, ребятушки, дождались». Ни разговоры, ни обед, ни работа—все не шло, а в третьем часу ночи уже стояли у ворот типографии вместе с газетчиками. Конечно, у первого же газетчика, «вылетевшего, как бомба», они забрали все экземляры и разделили между собой.

— А заголовок-то не такой, какой думали, — сказал один.—Надо бы покрепче.

— Товарищи,—закричал другой,—смотрите, про нас тут написано. Ей-ей про нас, маляров, про мастера...

Конечно, это воспоминания рабочего о газете, которая впервые должна была выйти в свет. Но все же картинка эта характерна для той экспансивности, с какой рабочий, в от-

личие от крестьянина, относится к печатному слову. Вот «Журнал для всех», — правда, когда-то распространенный в массе, но все же журнал не рабочий. Однако, когда конфисковывали номер, читатели-рабочие откликались по-своему. Как сейчас, передо мной письмо одного рабочего: «Очень жалею, что вас, г. редактор, оштрафовали, я постараюсь помочь вам по силе». «Более других внимательны именно промышленные служащие, рабочие, конторщики и пр.» — делал вывод Н. А. Рубакин из анкеты, затеянной журналом. «Им, именно им особенно важно находить себе опору в журнале, так сказать, вне давящей их непосредственно обстановки». Отчет бакинской воскресной школы свидетельствовал о пылком отношении к книге; книга рабочего «волнует», «облагораживает», «будит чувства». Для него даже не безразлично, кто писал книгу. Книга для него неотделима от автора. Нам неизвестны приветствия крестьянские по адресу писателей. Зато сотни приветствий рабочих показали, насколько для них не безразлично, здоров Горький или болен. Шестидесятилетие со дня рождения В. Г. Короленко тоже не прошло незаметно для пролетарских читательских кругов. Писатель получил приветствия от целого ряда рабочих групп. Когда умер Златовратский, на могиле его один пролетарий говорил: «Пускай ты свалился старый, могучий дуб. От твоих корней пошли молодые побеги, на знамени которых тоже начертано: Народ и его интересы. Ты спокойно сошел в могилу, дорогой Николай Николаевич! Спасибо тебе за твой святой труд!» Пылкое расположение к одним не противоречило такому же нерасположению к другим.

Словом, спокойствия в читателе-рабочем менее всего. Читая книгу, он реагирует в ту или иную сторону резко, даже резче, чем можно было бы ожидать. Сообразно этому, и книга для него не проповедь, не поучение. Живя на фабрике, он много видит, много переживает. Потому книга для него — та же жизнь. Насколько это так, показывает равнодушие к утилитарным знаниям и рост книг именно общественных, — обратное тому, что, без сомнения, имеет место в деревне.

Правда, в отчетах народных библиотек и здесь были пессимистические ноты. Напр., — согласно отчету библиотеки Самарского общества народных университетов, — интерес к серьезному чтению понизился, несмотря на то, что библиотека обладала хорошо обставленными научными отделами, разнообразными пособиями для лиц, стремившихся расширить свое образование. Согласно отчету старейшей народной библиотеки в Москве (библиотеки в память И. С. Тургенева), наиболее подвижный центр — беллетристика, к которой примыкали сначала толстые журналы, вытесненные потом журналами иллюстрированными и снова занявшие старое положение лишь в последние годы. Отчет кольцовской библиотеки-читальни в Ростове-на-Дону отмечал, что даже беллетристические вкусы не прогрессировали: наблюдался громадный спрос на таких писателей, как Немирович-Данченко, Шеллер-Михайлов, Данилевский, Эберс, но сравнительно мало читались произведения таких писателей, как Гоголь, Белинский, Щедрин, Шекспир. И если Л. Толстой, Тургенев, Достоевский и занимали почетные места, то абсолютное число требований на них было незначительно. Отчет же Виленской библиотеки-читальни имени А. С. Пушкина шел еще дальше, отмечая спрос на произведения Конан-Дойля, приключения Шерлока-Холмса и Ната Пинкертона. Наибольшее число неудовлетворенных требований было направлено сюда, — подчеркивал отчет. Однако, можно ли придавать значение приведенным данным? Ведь и читальней, и библиотекой пользовались не одни рабочие, но и другие слои населения, пользовались в значительной степени ученики городских училищ, гимназисты, студенты и пр. Попробуйте составить себе представление по этим данным, что из этого отнести на счет читателя-рабочего, что на счет других читателей, что читают взрослые, что дети!

Правда, это обычный дефект библиотечной статистики и благодаря этому дефекту на подобных данных так же мало можно строить выводы, как на анкете, произведенной в Костромской губ. среди крестьян и рабочих, анкете, согласно которой рабочие оказались любителями «божественного» чтения

еще в большей степени, чем крестьяне [1]). Чтобы цифры анкеты стали ясны, надо предварительно знать, что в местности (кстати сказать, настолько глухой, что анкета была встречена недоверчиво), где производилась анкета, много старообрядцев, и религиозный вопрос, вопрос о том, «чья вера лучше», стоял очень остро. Не будь этого, конечно, «божественные» цифры не были бы высоки: религиозный индифферентизм читателя-фабричного—факт более чем установленный. Так, журнал «Рабочий Клуб» (1924 г. № 2) свидетельствует, что антирелигиозная литература стоит в библиотеках рабочих на втором месте. «Только и слышишь: нет ли книги, где разоблачают попов?» Читают такие книги «с наслаждением, искренним раскатистым хохотом, выражая свое отношение к ним». Даже «берут домой с целью поколебать веру матерей».

В какой степени случайны выписки, сделанные из одних отчетов, показывали другие отчеты библиотек, позволяющие выделить читателя низших категорий, определить вкусы его, как такового. Правда, такие отчеты были редки, но, поскольку они существуют, мы убеждаемся в том, что читатель-рабочий, ремесленник, приказчик тверже в своих вкусах, чем это кажется по причине скудности сведений. Так, согласно отчетам Харьковской общественной библиотеки, требования „мастеровых» на историческую литературу с 1906 г. беспрерывно росли. Из табличек библиотеки В. А. Жуковского в Симферополе явствует, что по отделу естествознания наибольшие требования предъявили чернорабочие и конторщики. Отдела медицины вначале не было, но как только он явился, единственные требования на него опять-таки предъявили рабочие и ремесленники. Что же касается остальных отделов, то картина их, к сожалению, была не ясна. Но если трудно установить связь между данным читателем и данной книгой по отчетам народных библиотек если обрывочные факты и цифры можно повернуть в одну сторону, можно повернуть и в другую,

[1]) *Н. Кондратьев.* Литература и народ (по данным анкеты). „Жизнь для всех", 1912 г. № 5.

то имеются и прямые указатели того, чем жил читатель-рабочий: отчеты рабочих библиотек.

Вот библиотека общества «Наука». Книг было взято 300 абонентами за 11 месяцев 2418: по политической экономии и общественным наукам 484, по философии и психологии 207, по истории 157, по естествознанию 185, журналов—161, по истории литературы—40. Из библиотеки общ. «Просвещение» за 9 месяцев взято 1358 книг; из них 36% падает на серьезные отделы. Читаемость в двух отделениях библиотеки металлистов «значительна» в серьезных отделах. Из библиотеки об-ва «Знание—Свет» за полгода было выдано 1855 книг, из них 455 по общественным наукам, 175 книг, периодических изданий.

Цифр ниже этих ни одна библиотека просветительного общества или профессионального союза не дает. Сравните с ними данные анкеты о культурном уровне организованных берлинских рабочих. На вопрос о том, какие художественные произведения рабочие читали, получилось 2785 ответов, из которых видно, что 16% даже беллетристики не читали. И если все-таки процент рабочих, читавших классиков, был высок, то процент читателей популярно-научной литературы отставал. Ясное дело,—раз так в Германии, то читаемость в рабочих библиотеках у нас нельзя было не признать значительной, и прежде всего в отделе рабочего вопроса.

Впереди всех отделов—исключая беллетристики—стоял отдел рабочего вопроса, подобно тому, как крестьянский читатель требовал книг о земле. Почти везде, где только выпущены были отчеты, повторялся один и тот же перечень. Главный спрос на социалистическую литературу—Маркса, Каутского, Бебеля. В отчете библиотеки общ. «Наука» Каутский и Бебель были впереди Маркса. Напротив, интерес к литературе аграрной—слабсе. Очевидно, рабочий, вошедший во вкус чтения, уже понял раз навсегда, что жизнь его «расчитана по часам, по свисткам». Прежде всего здесь все-таки газета, к которой деревня почти равнодушна. «Я—ремесленник, занятый в мастерской 11—12 часов, я—человек,

который интересуется злобами дня общественно-политической жизни страны вообще и местной в частности (пишет рабочий шапочник, подписчик ежемесячного журнала), и потому являюсь читателем одной столичной газеты и одной местной. И у меня закон, что газеты нужно прочесть раньше». Однако, в то же время брошюрка не держала уже в подчинении читателя. Не в ней он искал ответа на вопросы, поставленные перед ним пережитыми поражениями, а в толстой книге. Он учился, хотя — в противоположность читателю деревни — книги «полезного» характера не пользовались здесь успехом. Хорошо ли это или дурно в настоящих условиях—это так.

Это читатель-общественник. Предлагаешь иногда рабочему техническую книжку,—рассказывал как-то один наблюдатель.

— Нет охоты, отвечает он.

— Но, ведь, очень интересно соединить теорию с практикой; за границей, ведь, все рабочие интересуются теорией своего производства.

— За границей—одно, а у нас другое,—отвечает он.— Когда поработаешь двенадцать или пятнадцать часов подряд, тогда и вспоминать о своем ремесле гадко, не то, что читать о нем.

Так было, так и теперь в дни революции, рисующие такую картину. С одной стороны, проявился интерес к технике, к естествознанию. Уловив этот интерес в широких массах, Пролеткульты, напр., провели целый цикл лекций на эти темы. Интересуются даже и астрономией [1]). Но главный интерес, конечно, не здесь, а в сфере общественно-политических вопросов.

Даже художественное произведение дает читателю-рабочему не совсем то, что читателю деревни. Читатель деревни даже в художественном произведении ищет проповеди, поучения. Читатель же фабричный любит тенденцию лишь тогда, когда она естественно, не нарушая впечатления, не навязываясь

[1]) „Горн", 1923 г. № 8, стр. 263.

скучным резонерством, вытекает из самого хода событий. Вот почему, в то время, как читатель деревни, и не мало читавший, все же слабо разбирается в литературе, у читателя-рабочего есть и бесспорный вкус, и критическое чутье. За это говорит уже то, что, не считая Горького, первые места в отчетах рабочих библиотек везде занимают классики. Так, в библиотеке металлистов одного Толстого требовали беспрерывно. В отчете библиотеки «Наука» были впереди Толстой, Чехов, Достоевский. В отчете бакинской воскресной школы—Толстой, Чехов, Некрасов. Из современных авторов любят Короленко. Пренебрежительное отношение к Арцыбашеву с его вопросами пола. Из иностранных авторов любим Золя. Но ни одного читателя, разумеется, Немировича-Данченко, или Мясницкого, или Конан-Дойля. Художественное произведение здесь — орудие тех же вопросов, тех же чувств, что серьезная книга, которая утомительна после двенадцатичасовой работы на заводе. И преобладание беллетристики хотя и факт, но отнюдь не дурной признак. Хорошо воспринятая беллетристика расчищает дорогу книге общественной, исторической, естественно-научной. В годы революции особенно вырос интерес к социальной прозе. «Погоня за всякого рода «Тарзанами» прекратилась, уступив место требованиям на социальную беллетристику. Все чаще раздаются вопросы и реплики: «Почему автор Тарзана» в хорошем свете выставляет графов, своих, а матросов—в дурном?» Требования на социальную беллетристику, изображающую гражданскую войну и борьбу рабочего класса за освобождение, преобладает над всеми другими [1]).

Но что всего ярче в читателе-фабричном, это—настроение, то, которое не в состоянии сообщить своей интеллигенции деревня, разобщенная, оторванная от центров жизни. Конечно, настроение создает жизнь, а не книга. Но если книга является искрой, то настроение порука тому, что искра разгорится в пламя... Читатель-фабричный выше всего ставит газету, потому что он — читатель жизнерадостный; если за газетой

[1]) „Рабочий Клуб" 1924 г. № 2.

следует общественный отдел, с социалистической литературой во главе, то опять-таки потому, что фабрика верит, не перестает верить: солнце взойдет. Читатель требует бодрости даже от беллетристики—этого «зеркала отражения жизни», как выражается один рабочий — и едва ли мы ошибемся, если объясним этим секрет пристрастия к классикам, с одной стороны, равнодушное отношение к современникам—с другой.

Каков же подход его к литературе?

Покажу это на Глебе Успенском, Короленке, Горьком и Толстом.

Гл. Успенский — автор «Власти земли», Короленко—демократ в непоколебимом смысле этого слова, Горький—писатель-пролетарий, так сказать, «свой»; Лев Толстой, которого не минуешь. Все они близки и рабочей, и крестьянской интеллигенции. Но прослеживая, однако, те мотивы, по которым каждый из этих писателей «нужен» или «не нужен» читателю фабрики, читателю деревни, я устанавливаю, что единого восприятия у народа нет,—попытки установить общую форму восприятия для трудового читателя в целом лишены почвы,—что даже в пределах одного общественного класса писатель и его произведения встречают не одинаковый подход к себе. Правда, крестьянская наследственность не изжита. Целые слои пролетариата мыслят еще по-крестьянски. *Это нарушает цельность нашего материала...* Однако, различие очевидно.

Чтобы ярче оттенить угол зрения, под которым рабочий-интеллигент воспринимает литературу, противопоставляю ему читателя-мужичка в главе «Лев Толстой».

„Власть земли“.

Глеб Успенский.

I.

Помните ответ Глеба Успенского Обществу любителей российской словесности, избравшему его своим почетным членом после исполнившегося двадцатипятилетия литературной деятельности писателя? [1]).

Из многочисленных приветствий, полученных им с разных концов страны, от лиц разных общественных положений, Успенский останавливается в ответе этом лишь на одном, «наиболее ясном, понятном и близком» для него, на письме, присланном ему от пятнадцати человек рабочих. Рассказывая о том, сколько прошло времени, сколько пролетело юных годов бесплодно, прежде чем они «сами своим умом и желанием к развитию, а иногда и помощью добрых людей добрались до хороших книг»; о том, с какой грустью в сердце смотрят они теперь, приобщившись к книге, которая открыла им глаза, на своего брата-темноту, берущего товар, который подсунет ему офеня,—рабочие в число этих книг, показавших им дорогу к свету, относили и его, Глеба Успенского, книги. «Мы рабочие, грамотные и не грамотные,—писали ему они,—читали и слушали ваши книги, в которых вы говорите о нас, простом сером народе. Вы о нем говорите справедливо, так что мы думаем, кто бы из образованных людей ни прочитал ваши книги, всякий по-

---

1) *Глеб Успенский.* „Собрание сочинений“. Цитирую по изданию Маркса, приложенному к Ниве“, т. VI.

думает о нас, о нашем темном и светлом житье, если только у этого человека доброе сердце».

Да, это правда,—не отрицал Глеб Иванович, подтверждая этим не свои заслуги перед читателем, а то, «что именно в этих книгах показалось простым людям достойным внимания». «Что этот читатель, — предвидит он далее,—не остановится на первых одобренных им книгах, а пойдет дальше, можно видеть также из следующих слов простых людей: «Теперь мы видим, сколько есть добрых людей и сколько есть прекрасных книг. Их столько, что нам читать и не перечитать во всю жизнь». Но читать эти книги добравшийся до них простой человек будет наверное, и, следовательно, книга, т.-е. русская и общечеловеческая «словесность», как видим, уже имеющая нового пришельца-читателя, будет иметь его в огромном количестве».

И писатель, выражая Обществу свою благодарность, с своей стороны приветствует его ничем иным, как только радостным указанием на эти массы нового грядущего читателя, нового, свежего «любителя словесности».

Было бы ошибочно предполагать, что остальные приветствия—приветствия сочувствующей Успенскому интеллигенции—в то же время не трогали его. Высокую роль отводил он последней, столь высокую,—по словам Н. К. Михайловского—что выше, пожалуй, и не выдумаешь. И в своем ответе Обществу любителей российской словесности писатель подтверждает, что «желание, чтобы образованный человек подумал о темном и светлом житье простого человека», всегда было в нем. Но, как ни близки были Успенскому симпатии этой интеллигенции, он не мог придавать им то значение, какое придал отклику на свои писания пятнадцати читателей-рабочих.

Понятно, этот отклик был исключительным для того времени, глухой поры *восьмидесятых* годов. Фактически о массах читателей-рабочих не могло быть и речи. Народ «безмолствовал», и Глеб Иванович с неменьшим правом, чем Некрасов, мог бы сказать о себе при жизни:

Но тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта—
Увы!—не внемлет он и не дает ответа.

Так было при жизни Глеба Успенского, так было и после смерти художника-народолюбца.

II.

Указание писателя было предвидением того явления, которое легло в основу движения девятидесятых годов, и теперь это, разумеется, уже не так. С 1905 года растет вширь и вглубь интеллигенция из народа, а вместе с ней новый читатель, крестьянский и рабочий по происхождению и обстановке жизни.

Однако, говорить о популярности Успенского в среде этого читателя—даже после войны с Японией, после бурных лет первой революции—не приходится еще. Популярен Некрасов, для которого народ, по выражению Достоевского, был также «настоящей внутренней потребностью». Этого современника Успенского знают и читают интеллигенты из народа, а в известной степени и масса. О популярности же Успенского можно говорить постольку лишь, поскольку в среде читателей-рабочих известно имя писателя, некоторые факты из его биографии, но читают его, без сомнения, мало, как это и констатируют они сами.

«К сожалению, народ простой его совсем не знает. Глеб Успенский не дошел до него,—пишет ткач из гор. Владимира,—и не дошел он потому, что мало распростанен». На его запрос фабричная библиотекарша ответила: сочинения Успенского спрашивают, только редко. «Как ни прискорбно, а сознаться надо, что Глеб Успенский среди нашего брата почти забыт,—вторит ему пекарь с юга,—не берусь об'яснять причину этого, но факт налицо, — по нашей библиотеке вижу я, что требования на него весьма невелики». «Откровенно говоря—подтверждает и механик из Петрограда—большинство нас незнакомо с произведениями его», а вместе с ним москвич-приказчик:

«жаль, что Успенского читают мало, но это так». Он имеет сведения из трех библиотек, где его почти не читают: «а прошло всего четверть века, когда Михайловский писал о нем, как о писателе современном и любимом».

Если писателя так мало знает городской труженик, то тем медленнее проникал он в малокультурную деревню, и причины этого многообразны. По мнению москвича-приказчика, об'ясняется это тем, что «типы Успенского, оболочка их причинно устарели и что сам Успенский писатель не современный». «Толстыми томами—думает с своей стороны ткач из Владимира — произведениям Успенского до деревни не дойти. Для народа хорошо бы издать ряд недорогих книжечек». Третий указывал подозрительное отношение властей даже к имени Успенского. Он чуть не отсидел несколько дней за то только, что прочел в кружке приказчиков «Наблюдения Михаила Ивановича».

Основная причина, надо полагать, в самом Успенском. Самый чуткий, самый талантливый представитель народнической литературы, так инстинктивно проникший в поэзию крестьянского труда, в гармоничность, в целостность мужицкого умонастроения, вместе с тем и наименее доступен массовику. Он весь в мелком факте, столь незаметном на первый взгляд, но столь значительном для того, кому даны глаза, чтобы видеть. Фабулой его рассказ не блещет: он не мастер в деле выдумки, интриги. И было бы неожиданно, если бы художник, столь сложный по своему содержанию, в одно и то же время и влюбленный в жизнь народа и переживающий такой тяжелый, такой мучительный разлад между мужиком и историей, был так же легко усвоен фабрикой или деревней, как доступный поэтический Некрасов.

Разумеется, это не исключает самой нежной, самой теплой привязанности со стороны отдельных лиц, отдельных представителей нашего пролетариата. Эту связь, эту привязанность отмечают те же люди, что говорят о невнимании к Успенскому со стороны масс. «Спрашивают мало, но взявши раз, берут нередко и другой». «Теперешний народ модный, любит блюсти фасон. Для меня же Успенский, как раньше, так и теперь, вечен, как будет вечна его тоска по заплутавшей где-то истине». «Творчество этого писателя мало известно народу простому, но это только потому, что вся Русь сидит еще за «азбучкой»: но кто его читал, тот с глубокой искренностью укажет на книгу и сыну, и внуку и скажет: вот наш писатель», — читаем мы, а затем следуют и излияния. «Боже, сколько он мне дал хороших минут!» «Я без слез не могу его читать, я не умею выразить всего, но я родом из крестьян, и в рассказах Успенского живет моя душа». «Память о нем будет жить во мне неизгладимо». Вот это-то и есть тот читатель Успенского, который, к сожалению, так редок.

Зато читатель этот высоко, чрезвычайно высоко ставит Глеба Ивановича: факт, который оспаривать невозможно. Что же говорит, что пишет он о художнике такой изобразительной силы, не желавшем, однако, быть художником? Пытаюсь это установить на основании рукописей, писем и анкет, собиравшихся много в течение ряда лет, равно двух-трех заметок, напечатанных рабочими в органах своей прессы.

III.

Из нескольких сотен рабочих, давших свои суждения об Успенском, ни один не свидетельствует о том, что знакомство его с писателем состоялось в школьном возрасте. Знакомство начиналось в юности, а еще чаще взрослыми людьми.

«Мне пришлось прочесть кое-что из его произведений много лет тому назад: в деревне трудно найти этого писателя» (оффициант). «До смерти Глеба Успенского я совсем не слыхал о нем. По случаю смерти заворили о нем газеты. Я с трудом достал один том, который, за неимением времени, прочитал не весь» (слесарь). «Познакомился с произведениями Успенского уже на фабрике. Нечаянно пришлось купить знакомой учительнице очень дешево произведения Успенского на толкучке. Тогда в моде были Горький и Андреев» (рабочий Обуховского завода)—вот первый шаг к писателю.

Впечатления еще не углублялись, были еще случайны. Иные описывают первое знакомство более подробно.

«Не было мне девятнадцати лет,—пишет москвич-приказчик,—когда я засел читать Глеба Успенского. Мать моя в ту пору пила; дома, помимо ее, неурядица хлебная заела. Знакомых, с кем бы душу отвести, не было, набросился я на книги, потянуло меня к ним. Жили мы в то время в деревне, где и сейчас живем; в деревне есть библиотека при школе. Оттуда-то мне сестра и приволокла книгу Глеба Успенского. Забрал я ее в обе руки, хотел сесть с ней за стол, за которым пили чай, а мать меня окликнула:

— Опять книжкя! Полны углы книжек, а жрать нечего. Куда как умны стали, лихвей поповой собаки!

— Ну—да...

— Дурак!

— Ладно,—бурчал я.

Когда все улеглись, ушел я на кухню; придвинул кухонный стол бочком к стенке, крапленной тараканами, припустил убавленную лампу и, посапывая вольготно носом, засел таки за книгу Успенского, о котором и понятия ранее не имел. Не знаю, что у меня за лицо тогда было (не охочь я в зеркало смотреться), но внутри саднило. Взглянул на портрет Глеба Успенского, и Глеб Иванович мне сразу полюбился. Легче стало, даже вздохнул я и улыбнулся, чего со мной давненько тогда не было.

— Большой, — думал я, — человек, а тоже, поди, страдает».

Это еще не та связь с писателем, которую можно считать прочной. Судя по тому, что у меня перед глазами, в подходе к Успенскому есть свои градации у читателя-рабочего, и нужен не только уровень знаний, но и известный угол зрения, отчетливый критерий для оценки прочих книг, а также людей и их окружающей обстановки, чтобы душе рабочего человека Успенский стал говорить то, что содержит в себе та или иная рукопись, тот или иной анкетный лист. Да и убеждение, понимание еще не все. Читателя формирует не только разум,

но и эмоции. История читателя разве не история настроений, не история их изменений? Важно и нужно, чтобы какие-то психические силы поработали над нашим тружеником для того, чтобы он свой выбор остановил на Гл. Успенском. И вот мы и видим: чем больше переживаний и вопросов отделяет первое знакомство с писателем от последующих, тем прочнее связь с произведениями его.

«Еще в деревне, в глуши Тверской губернии, — пишет монтер из Киева, — я читал отдельные рассказы Успенского, но то была пора, когда прочитывалось все, что попадало под руку и проходило незамеченным. И только три года назад я прочел все, написанное Глебом Успенским. По мере чтения предо мною рос образ писателя, о котором можно сказать то, что сказал о себе поэт, который писал не чернилами, а кровью своего сердца. И я уже не расстаюсь с Успенским». Что же произошло за эти годы? «Позднее в конторе, в Москве, живя в нужде, я сильнее, чем когда либо, ощущал на своих плечах тяжесть житейской неправды». Началась японская война. Наш монтер был мобилизован, и из Манчжурии еще вернулся «новым человеком». Затем бурный 1905 год... «Под бледно начертанным углом зрения выплавлялось убеждение. А жизнь не баловала. Мне уже не мало лет. Прожитое смотрит на меня пестрой мозаикой, и я никогда не осмелюсь сказать, что мое мировоззрение, мои убеждения сложились окончательно, но я с уверенностью скажу наперед: никто из писателей, ничто из прочитанного не наложило на меня свой отпечаток, не восполнило мое духовное содержание в такой степени, как Глеб Иванович. Я греюсь у его произведений, как у огня».

Аналогичное—с соответствующими вариациями—узнаете из других писаний. Наборщик-пермяк узнал Успенского, когда ему было восемнадцать лет. Читал он в то время Гоголя, Тургенева, Григоровича—все, что ни попадало в руки. «Чувствовал, что надо остановиться, отдать отчет в прочитанном; но я до того жаден был до книги, что если увижу новую, неизвестную мне книгу, то от ощущения могущих в ней быть неожиданностей для меня я хватался за нее обеими руками».

Однако, разбирался во всем этом он еще смутно. Ему уже было двадцать пять лет, когда знакомый студент дал ему «Что делать» Чернышевского. Но и Чернышевский помог ему мало. Для чтения уже и времени не оставалось. Но вот он, подобно многим и многим товарищам своим, попадает в тюрьму «на отдых» и начинает учиться уму-разуму. Хорошее для него было время. Для иных это была тюрьма, а для них, «читателей», это был «народный университет», из которого он вышел просветленный духом. Правда, тут уже он читал, по преимуществу, такие книги, как «Экономическое учение Маркса» Каутского, «Краткий курс политической экономии» Богданова и т. д. «Про русских же классиков я думал так: вот дочитаю эти новые книги и возьмусь—вновь перечитаю их». Но на самом деле вернуться к ним пришлось уже не скоро. По времени пришелся лишь Успенский, и наш пермяк прочел его на этот раз «от доски до доски». «От Глеба Успенского,—пишет он,—у меня только масса бесчисленных вопросов», но на этом писателе он познал всю власть над ним литературы: «скажу о ней так: она равносильна для меня солнцу—как без солнца я зачах бы, так и без литературы меркнет предо мною все. Возмущение мое велико, когда я вижу Глеба Успенского рядом с книгой-макулатурой, а в любой книжной лавке можете на это натолкнуться».

«Сознательное отношение к Глебу Успенскому, — пишет и конторщик из крестьян (Москва),—у меня сложилось очень поздно», а именно на двадцать шестом году, когда на Пречистенских курсах слушал лекции и стал изучать литературу. «Ранее я Успенского читал наравне с другими классиками. Я еще настолько плохо разбирался в канве творчества Успенского, что, пожалуй, не видел существенной разницы между рассказами Засодимского и Успенского». Так, вспоминается ему, как он в одно и то же время читал рассказ Засодимского «А ей весело, она смеется» и Глеба Успенского—«Мишанек». И тот, и другой рассказ оставляли в нем одно и то же впечатление. Но вот происходит неизмеримой важности перемена в его психике, в его настроении, благодаря этим

Пречистенским курсам, атмосфере, которая на них царила. Жизнь, та жизнь с ее неурядицами и неустройством, которая тихих из тихих делала участниками борьбы того времени, втягивает и его в какой-то психологический процесс. Под напором новых требований жизни и открывает он вновь произведения Успенского, и тут только «как-то само собой определился путь от Решетникова к Златовратскому, от Златовратского к Успенскому и народникам позднейших дней, шедшим в народ искать правду-справедливость». «Теперь только, когда я стал вычитывать у Успенского свое, родное, я начинал уже разбираться в нем и находить в его рассказах тот стержень, который позднее находил при чтении Ивана Бунина».

Итак, нужно было пережить дальневосточную войну и под‘ем начала девятисотых годов, бурные дни первой атаки на царизм и просветительную работу открытых рабочих организаций; нужно было, чтобы жажда выхода из многовекового унижения захватила самую толщу народных масс и выдвинула выдающиеся личности из этой толщи, идущие умственно впереди этой толпы, для того, чтобы народник-скептик, поэт распадения устоев крестьянской жизни, в то же время раскрывающий нам глубину такой веры, которая подчиняет себе самые мощные струны души человеческой, чтобы и Успенский-художник, и Успенский-публицист стал близок сложными своими исканиями хотя и немногочисленному, но все же подлинному кругу лиц, вышедших из рабочей среды.

«Впервые я полюбил Глеба Успенского в 1906 году,—пишет печник с Кубани,—после движения 1905 года, с того времени он стал дорог мне, как и всей интеллигенции из народа»—вот в двух словах выражение отмечаемого факта.

IV.

Н. К. Михайловский говорил, что еще помимо огромного, вполне оригинального таланта Успенский мил и дорог своему читателю чем-то другим, «что труднее уловить и указать, чем талант» [1].

[1]) *Н. К. Михайловский.* Собрание сочинений. Т. V. „Г. И. Успенский". Издание „Русского Богатства".

Это было и есть так потому, что писатель не только светит дарованием своим, но и сам горит в тайниках его. Таков был он, этот «художник с большим сердцем», которого «ожидало полчище народа, заболевшего новой светлой мыслью», т. е. чуткостью к неправде. Для того, чтобы пролить свет на эту болезнь в ее многообразных проявлениях, нужно было не только быть человеком своей эпохи, терзаться и мучиться тем, чем мучились тогда,—нет, для этого нужно было—наряду с исключительным талантом литератора—обладать также тем особенным талантом сердца, каким обладал Глеб Успенский. В этом последнем разгадка того обаяния, какое внушает такой писатель: страницы книг его так слиты со страницами его биографии.

И читатель наш в разнообразных истерзанных фигурах Глеба Успенского чувствует прежде всего дорогого ему автора, те личные свойства его характера, которых не отделишь от предмета наблюдения его. Животворящая тайна писательского существа Успенского для него здесь—в личности писателя. «Глеб Иванович, — характеризует его столяр из Москвы—горел, как свеча, светлым пламенем, поставленным на алтарь правды, но не для освещения холодных, мрачных стен храма, а для людей и своим пламенем зажигал их сердца и отражался во всем существе человека». «Художник и подвижник сочетались в душе Глеба Успенского, — по мнению рабочего трубочного завода, — и оттого, раз ознакомившись и углубившись в произведения его, уже не расстаешься с ними. Правду говорит один критик: его писания не писания, а самоистязания... Я с молодых лет люблю читать характеристики, биографии писателей. Читаю и думаю о них. Большой, думаю, писатель был, а человек... тоже? Дорог мне и мил Успенский оказался тем, что это человек самый чуткий, какой только жил когда-либо, гость божий на земле. Не может быть, чтобы на самом деле было это иначе. Только жизнь возложила на плечи его страшную задачу. Успенский искал правду, думая спасти совесть. Но разве ее найдешь? Можно к ней приблизиться, но всегда споткнешься, и дороги не найдешь, а искать-то ее как ни как надо, и он искал, искал всю жизнь... Дровяник, жалеючи свой карман, сказал парнишке, охранявшему его склад: «Смотри, мальченка, будешь стараться — награжу». Парнишка постарался—«уделал себе дубину», и хлопнул ею нищего, присевшего у дров. Присяжные оправдали виновного. Успенский бы тоже оправдал, а нищего-то не стало: с ним-то как сделаться? Для присяжных все ясно в этом деле, и для Успенского ясны причины, родившие убийство. Но есть что-то поважнее причин, поглубже их, и в этом корень зла, хотя нельзя, понятно, отрицать, что причины, побудившие сделать то или иное дело, ничто. И если бы Успенский довольствовался бы только причинами, а не заглядывал во что-то другое, то он был бы только писателем, а не был бы Глебом Ивановичем Успенским» (конторщик из Москвы).

Да, был бы только писателем, а не Глебом Ивановичем Успенским — вот мысль, лежащая в основе этих суждений. Эффект произведения есть вместе с тем эффект от личности писателя. Прочтите проникнутые скорбью рассказы «Четверть лошади» и «Квитанция» — советует наборщик (Петроград)—смотрите, как автор следует на извозчике на покойницкую станцию, за бедной страдающей белошвейкой, чтобы узнать скорбную повесть несчастного материнства... Душа писателя присутствует везде; большое, слишком большое испытание дано впечатлительности его. «Брандес приводит факты из жизни французского писателя, когда Бальзак также ходил по пятам и «ощущал в себе лохмотья бедняков». Но Бальзак был все-таки холодный исследователь, а Гл. Успенский делал это потому, что жил муками и страданиями трудовой массы. Эта способность переживать муки народа была у Глеба Успенского и исключительна, и беспримера. Если западная литература дала поэтов мировой скорби, то русская литература имеет поэта мирового страдания, для которого жизнь была также не «воз, нагруженный камнями горя человеческого».

Среди собранных мною рукописей рабочих нет ни одной, которая не говорила бы: «тревожит душу», «не дает уснуть совести»... Вы читаете все это, и вам кажется, что люди эти

соприкосались не с книгами, а с настоящей живой личностью, с самим Успенским, нравственный авторитет которого побудил отдельных лиц перестроить даже жизнь на другой лад. За произведением, повествующим ту или иную правду человеческих отношений, стоит во весь рост сам художник с его большим, с его гениальным сердцем. Из такого рода читательских признаний вы только убеждаетесь, насколько — наряду с талантом—для писателя важно обладать тем, что «труднее уловить и указать, чем талант».

Кем бы художник ни был, на какой бы высоте он ни стоял, он и малой доли теплоты не разольет вокруг себя, если у него нет того, что носил в себе Успенский. Он будет блестеть, как драгоценный камень, но читателю от этого теплее жить на свете не станет.

Успенский разливает ту теплоту вокруг читателей из рабочих, какую близкий человек дает личным своим общением, ибо «правду» свою он черпал столько же из фактов, сколько из глубины своего человеческого сердца.

V.

Читатель наш *неоднороден* по своему положению. Это частью—рабочий, частью — полурабочий, полукрестьянин. Но в вопросе формы—литературной техники Успенского— разногласий в лежащих предо мной оценках не нахожу.

Высоким образцам вполне законченного творчества беллетристы-народники — говорил Н. К. Михайловский — наносили оскорбление действием, и Успенский, аскетически строгий к расходу красок и линий, ко всему, что может урвать его внимание куда-то в сторону от того, что он признает сейчас значительным и важным, не составлял исключения из них. Конечно, по таланту изображения, из ряду вон выходящему, по силе художественной интуиции ни один из них не может быть поставлен рядом с Успенским. Но последний в своих отрывках и обрывках не явился, не захотел явиться во весь рост—о красоте и стройности думать не было ни охоты, ни

времени, ибо важно было то, что для мужика важно, а в какую форму воплотится это, будет ли то беллетристика или статистика, публицистика или этнография, не так уже существенно. Было бы лишь недоделанное, недоговоренное органически связано между собой, был бы во всем этом—и в слоге, и в манере письма, и в том, что стоит за этой манерой— мужик, мужицкий смысл и его счастье.

Михайловский, понимая, что «эта сторона нескладной, убыточной формы его писаний определяется не внешними влияниями, а некоторыми коренными свойствами его таланта», все-таки глубоко жалел, что Успенский не давал простора своей огромной художественной способности. Михайловский сравнивает творчество Успенского с лицом любимого человека, заведомая неправильность, очевидный из'ян которого становится особо дорогим, потому что это ведь одна из черт, которая отличает его, дорогого, от всех прочих. Однако, из'ян— говорил Михайловский—остается для критика из'яном.

Наш же читатель из массы не прочь этот из'ян Успенского возводить в достоинство.

В одной лишь рукописи, присланной мне механиком, читаем: «Правда, стиль Успенского кажется как бы укороченным. Иногда кажется, что беллетристика переходит в публицистику». Но механика, которому кажется таким стиль Успенского, серьезно это не смущает. Если вы по одному штриху угадываете то, что хочет сказать художник, то штрих этот так передает действительность, что ничего больше и не требуется. «В общем, — говорит токарь по дереву,—от этой скудости получается впечатление, как от длинных описаний Достоевского: писатель как бы живет с пером в руке». И другие не жалеют о том, что Глеб Успенский сознательно мешал развиться своему, несомненно, большому художественному дарованию, отказываясь от него, как от самостоятельной, самодовлеющией творческой силы. Художник-аскет, отвергнувший роскошь, не ведущую прямо к цели, всегда сжатый, даже черезчур, с его презрением к интересам мастерства, если это

мастерство не вытекает непосредственно из содержания, этот художник близок и понятен нашему читателю.

Говоря о том, каких сил стоят художнику поиски соответствующих форм, — недаром борьбу за овладение формой, искание слов, выражающих то, что хочется сказать и изобразить художнику, сравнивают с крестными муками,— рабочий-металлист заключает: «А это сплошь и рядом приводит к тому, что форма для художника становится фетишем,—она поглощает все его внимание и почти вытесняет из поля зрения содержание. Загораживаемое густым частоколом оболочек форм содержание бледно маячит в отдаленном углу сознания и, если окончательно не отрывается от формы, то продолжает еле-еле влачить существование». К такой грани, по мнению металлиста, подошла значительная часть литературы, которая целиком ушла в форму. Несмотря на виртуозность мастерства, на оригинальность форм, искусство этого рода похоже на фальшивые бриллианты, «блеск которых привлекает внимание лишь до тех пор, пока не распознана их подлинная природа. Мы, рабочие, жалеть об этом не будем». Форма должна отвечать содержанию, по мнению нашего пролетария. «Правда, этот путь сознательных и упорных поисков формы через содержание труден, но он единственно верный для выявления своего лица». Исходя из этого взгляда, наш читатель подходит и к художественному аскетизму Успенского.

«Да,—пишет казак с Кубани, променявший, впрочем, свое казачество на ремесло, — у Успенского нет дивных описаний природы, ни чисто внешней обстановки, ни каких-либо психологических тонкостей, нет ненужных, не идущих к рассказу его лиц. Успенский всегда скуп, в рассказ втиснут материал, которого хватило бы и для романа, и этим, между прочим, понятен и близок он нам, интеллигентам из народа. Читая Глеба Успенского, мы, интеллигенты из народа, ценим каждую строку его произведений, где есть столько недоконченного, но в то же время нет ничего лишнего». Силу образам Успенского придает художественное воздержание и в глазах деревообделочника из Саратова: «От себя скажу: я люблю сжатость, нравится то, что его рассказы «без начала и конца»: зерно хорошо, а скорлупа не всем нужна. А таким читателям, которые заняты на фабрике с шести утра до десяти вечера, и подавно времени нет возиться со скорлупой. Про это я слышал от многих из нашего брата, рабочих. Скажу кстати про здравствующего писателя Боборыкина. За неимением времени, если его книги попадают к нам, мы не читаем его предлиннейших вступлений. Нам нужна соль, а не солоница. Нам, рабочим, каждая минута дорога, и не нам сидеть дни и ночи за такой книгой, где из-за вступления не так-то легко добраться до содержания его. Для нас чем ближе к делу, тем лучше. Мы видим в книге ту же жизнь—жизнь дельную и спешную, а не препровождение времени. Гулять и засыпать с книгой—это не про нас. Вот за то и люблю Глеба Успенского, что он берет тему за голову, а не за хвост».

Итак, наш читатель не ищет гармонии красок, которая находит оправдание в самой себе. Рассказ Успенского дышит полнотою жизни, и такому рассказу—без начала и конца—отвечает и его стиль. Того эффекта от рассказа, который дает искусство, как таковое, им не нужно, ибо прекрасное есть жизнь — таков этот подход в области форм и мастерства.

Есть ли это взгляд нашей интеллигенции рабочей вообще? Я этого не думаю. Стоя лицом к лицу с этой средой в течение многих лет в качестве исследователя художественных ее исканий, я встречал не мало читателей-рабочих, преодолевших аскетизм, а за одно с ним традиционный утилитаризм, отдавших себе отчет в том, что никакая идея, никакая умная проза не может заменить настоящего искусства, той тайны, которая, по выражению самого Успенского, выпрямляет человеческое «я». И интерес к психологии мастерства шел бы вглубь и вширь, если бы условия времени и места способствовали тому. Это неоспоримо. Но таких условий налицо, конечно, еще не было у нас, и эстеты из пролетариата, конечно, редки. Полурабочий-полукрестьянин вопросами мастерства не задается. Если же задается, то представления его

о технике, о стиле, о приемах изображения не идут дальше того, что мы здесь изложили.

VI.

Произведения первого периода это те более или менее цельные произведения, где фигурировала городская голытьба, мелкий чиновник, разорившийся помещик, но мужик, мужицкая идея еще не занимали места, почти отсутствуют в кругозоре нашего читателя. Ссылки на них попадаются очень редко.

Успенский начинает существовать, как властитель дум и чувств его, лишь с тех пор, как писатель припадает к «источнику», к мужику с его мужицкой правдой, которой освещена ничтожнейшая подробность мужицкой жизни, и неправдой, одного веяния которой довольно в одно и то же время для того, чтобы нарушить этот строй.

«Успенский,—пишет рабочий стеклян. завода (Москва)—в своих произведениях не обошел молчанием мелкого чиновника с его серыми будничными заботами. Но мы, люди труда, ловим каждое слово из его книг потому, главным образом, что он от уютно обставленных гостиных, влюбленных парочек у прудов господских усадеб («Рудин», «Дворянское гнездо») отводит глаза читателей на мужицкую избу». И любопытно об'яснение, которое дается этому болезненному какому-то стремлению полюбить мужика цельностью. Успенский, выступивший в шестидесятые годы, после крымской войны, был, понятно, художником брожения. Но в том, как он изображал времена брожения, особенности того времени имели столько же значения, сколько личные свойства индивидуальности его. В силу этих последних — пишет часовых дел подмастерье — «Глеб Успенский умел заносить на бумагу только то, что окрашено страданием. Но где же найдешь больше страданий, особенно в ту эпоху, как не в деревне?» Крепостное право пало. Но крестьянству пришлось приспособляться к новому укладу жизни. Приспособление к новым условиям жизни стоило громадных мук деревне. «Муки эти услышаны были этим человеком редкостной души, и Глеб Иванович с тех пор до конца своей жизни отдает свои силы мужику».

Но основной вопрос, который вырастает здесь, который наши пролетарии должны решить прежде, чем перейти к Глебу Успенскому, как писателю, имя которого связано с группой народников-беллетристов, это вопрос о самом подходе к деревенской жизни, о методах изображения народа, как таковых.

Надо прямо сказать, эти люди, вышедшие из самых недр трудовых масс, не высоко ставят реализм интеллигентов, изображавших нам народ вообще, беллетристов-народников в частности. «Как можно больше правды в искусстве»—цитирует Рескина один из них. Писатель должен, по его мнению, отражать жизнь, как она есть, только как она есть. К сожалению, однако, «писатели — это в большинстве случаев люди с более восприимчивой душой к страданиям ближнего и из сострадания способны уклониться иногда от правды»—вот что, видите ли, не надо упускать из виду.

Читатель наш, *хотя крестьянский тип в чистом виде не представлен им*, все же по признаку связанности с землей распадается на две группы. Одна часть приславших мне свои суждения об Успенском — промышленная молодежь, уже не связанная с землей; жизнь их с детских лет прошла в ремесле, на фабрике, на заводе, за прилавком. *Другая же часть — та же рабочая среда, но живыми нитями связанная* с годов детства по настоящий день *с поэзией земледельческого труда*. Различие это не надо забывать, так как *отсюда различная оценка* элементов творчества Успенского. Вопрос, который стоит перед нами здесь, вопрос о том, как следует и как не следует изображать жизнь деревни, еще не вызывает разногласий среди обеих групп. С единодушием высказывает та и другая сторона неодобрение тому, что так долго казалось авторитетным в области изображения деревни.

«Я, как сын деревни, вынесший жизнь крестьянина на собственных плечах, несу ее и теперь в известной мере, по-

ложительно скажу: не много сказал про нее Тургенев в своих знаменитых «Записках Охотника». Он не сказал, например, что тот же мужик, который отказался солить похлебку, чтобы приютить сироту, способен на завтра же избить до полусмерти свою жену». Вот, например, пожар в деревне Жуково («Мужики»—Чехова). Мечутся около изб бабы, не знают мужики, за что приняться; жутко становится за их беспомощность, и приходят в голову полу-крестьянина, полу-пролетария, пишущего эти строки, «Крестьяне-Присяжные» Н. Н. Златовратского. Это были разумные крестьяне. Они, вероятно, не растерялись бы и справились и с пожаром и с многим другим, с чем не в состоянии справиться мужики Чехова. Но где же, где разумная деятельность *этих подлинных крестьян?* Почему грядущее поколение, которое должно бы быть еще «разумнее», сыновья этих присяжных, не знают, за что приняться, и ломают в отчаянии руки? Почему в житье-бытье деревни решает дела не совесть, не здоровый смысл, а бутылка? Конечно, каждый знает, что и среди подлинных крестьян найдешь известный процент толковых, дельных и развитых людей, но это либо особо одаренные от природы, либо попавшие в другую атмосферу. Обобщать интеллигенцию из народа нельзя, когда речь идет о массовом крестьянстве. В чем же дело тут? А в том, что «герои Златовратского это только воображаемые крестьяне, не существующие, такие, какими их хотелось видеть писателю». К сожалению, «идеал шестидесятника валится с пьедестала и разбивается о суровую действительность».

Конечно, писатель эпохи народнического движения «хотел приподнять мужика в глазах интеллигенции». Златовратский, Засодимский и др. были сами свидетелями рабства, видели, как пороли мужика, словно бессловесную скотину, как их на собак меняли и пр., и «вслед за падением крепостного права хотели научить общество уважать человека в мужике, отыскивая в нем качества, свойственные всем людям». «За такое отношение к народу они заслуживают, конечно, великой благодарности со стороны последнего, но не с той стороны заходили они. В искусстве их все-таки оставалась фальшь».

Златовратскому и Засодимскому — «идеалу шестидесятника»—читатель противопоставляет Чехова с его рассказом «Мужики». Вот произведение, которое они ставят очень высоко. «Мужики Чехова показались нам далеко не теми, какими их знали мы по произведениям шестидесятников». В чем же достоинства Чехова в их глазах? «Он показал мужика во всей страшной наготе,—читаем мы—все его недостатки и больные места, дабы видно было, как он нуждается в перерождении, и с какой стороны лучше начать это перерождение; он мастерски обнял все язвы крестьянства и показал их всему образованному миру: вот, мол, вам тот могучий кит, на котором земля то держится. Видите, как он непригляден, а между тем вы им живете, и неблагодарно держать его в таком страшном виде, да и не безопасно».

Михайловский, разобрав под своим углом зрения «Мужиков» Чехова, склонен, видимо, упрекать Чехова «в глумлении над народом, но я этого не вижу»,—читаем мы далее. Критик говорит, что в рассказе нет никакой идеи. «Я не знаю, в чем собственно должна заключаться идея». Защитник Чехова не берется судить о Михайловском, как о критике вообще, о посредничестве между наукой, философией и обществом «этого блестящего ума», «потому что сфера эта выходит за пределы его понимания», но, прочитав статью, он вынес убеждение, «что жизнь деревни немного Михайловскому знакома». Насколько это так, убеждает его уже сравнение Николая Чикильдеева с слугою из рассказа Гл. Успенского «Развеселил господ». «Неудачное сравнение,—замечает он,—ибо тот и другой правдоподобны каждый на своих местах», и «сопоставляя их, одним другого оспаривать нельзя»; они находятся в различных условиях: герой Успенского все время связан был с деревней, всецело жил интересами деревни, герой Чехова одичал по отношению к ней, забыл ее, в Москве женился, забыла и деревня про него.

Чего же наш читатель требует от бытописателя деревни? «Ни преувеличений, ни искусственной идеализации, чем грешили прежде народники». Все до мельчайших подробностей должно быть передано точно: «обстановка обрисована такой, какая есть она в действительности, герои говорить и думать так, как они это делают на самом деле, и вместе с тем это должно быть не сухое описание голых фактов, а художественное воспроизведение жизни». Умственный кругозор, психологический мир крестьян, конечно, бьют по нервам. Но другого ничего нет. Далеко ли ушел теперешний мужик от мужика добрых старых времен? Все то, в чем Россия двинулась вперед за эти десятки лет, почти исключает мужика. Такова натура, и пусть будет верен ей писатель, и, описывая мужиков, «не выслеживает, когда они проявляют какое-нибудь геройство или великодушие», а отражает жизнь, как она есть.

VII.

Это—то, что мы видим у беллетристов из народа, пришедших на смену народникам-разночинцам. Чапыгин и Касаткин, Под'ячев и Иван Вольный, изображая мужика, еще менее жалеют реалистические краски, чем Чехов или Бунин, а то и Родионов, автор книги «Наше преступление».

И вот любопытно, что читатель, так невысоко ставящий народника-интеллигента именно потому, что слишком интимно знает то, что тот ему подносит, что этот самый читатель не только выделяет Успенского из ряда «писателей народнической эпохи», но ценит его необычайно высоко. «Никто не написал таких верных и простых слов о мужике», «никто не был для нас так прост и ясен в деревенском обиходе», «ни с кем, решительно ни с кем не чувствует себя простой человек так попросту своим» и—понятно, вместе с тем: «ни о ком другом не думаешь с такой любовью». Вот выражения, которыми начинаются оценки Успенского, как знатока деревни, ее психики, ее духовных свойств: писатель, освещающий своим мягким светом все, что с детских лет иногда так близко и понятно

интеллигенту из народа, органически слит со всем этим в его глазах.

«Когда я читаю Глеба Успенского,—пишет оренбургский пролетарий—мне вспоминается мой отец, волостной писарь, и мужики, с которыми он говорил от раннего утра до позднего вечера и никак не мог договориться. Мужик еще допускал злоупотребления со стороны земского или исправника, но дальше мысль его не доходила... Царь напечатает этих самых бумажек—вот и деньги, слуги верные... Отец толковал, что такое деньги, а мужик чесал затылок и начинал сначала, и так по тридцать-сорок человек ежедневно, а я, малый, летом на крылечке, зимой на стуле, сидел и слушал мужицкие их жалобы. Чего я только не слыхал! Были в уезде бунты из-за земли,—являлись, рассказывали; писали просьбы, отправляли ходоков до самого Петербурга. Были болезни, холера, голод,—опять являлись. Был обман в неправильных сборах, убийства... являлись. Вот вся эта махина слышанного и виденного самолично и встает предо мною, облитая светом народолюбца, когда я читаю Глеба Успенского. Это такое близкое, постоянно происходящее перед глазами, правда, почти не находящее разрешения».

Воспроизведение деревни, какое даст Успенский, особенно по душе *полупролетарию.* На заводах, на фабриках, не говоря о мелкой торговле, таких гораздо больше, чем принято считать. Быть может, земли уже и нет у человека, но всей психикой, всем внутренним миром он еще тянется к земле. Из этой именно среды и вышел самый «нутряной» читатель Глеба Успенского. С первых слов заметите вы, что говорит он о Глебе Успенском в отличие от того, что говорит рабочий, не умеющий и косу в руки взять, рабочий, выварившийся в котле города.

«Все нутро, всю механику крестьянской жизни раскрывает мне Успенский,—пишет конторщик из крестьян, бывший лично знаком Н. Н. Златовратским.—Но полюбил я безгранично, глубоко я больше всего его, (т. е. Успенского) за «Власть земли». В подробности я не могу вдаваться. Скажу лишь:

никто другой не мог так передать «Власть земли», как Глеб Успенский. Вот основной нерв Глеба Успенского, главный стимул его творчества. Мне близок особенно герой Успенского Иван Босых, который, отбившись от деревни, от власти земли, спился и сделался «слабосильным», хотя физически был здоров и полон сил. Правдив и верен под'ем Ивана Босых, который, возвратясь в деревню, говорил: «И уж принялся же я в ту пору. И все-то мне мило—и пашня, и соха, и борона, и дровни, и телушка, и сарай, что покосился, и забор, и колода... Все, точно родные друзья дорогие, кровные».

Стрелочник московской железной дороги иллюстрирует это своим жизненным положением: «В каждом писателе-народнике я ищу и вижу только общественного деятеля. Но когда в октябре 1904 года прочитал Глеба Успенского, то нашел ответ на запросы самой души («Власть земли»). Ясно, почему мы, городские, равнодушны к делу, делаемому нами: делаем мы не по вдохновению, «не поэты дела», если можно так выразиться, ибо делаем чужое дело, нас не захватывающее. Вот мне самому, например, в силу обстоятельств, приходится делать то, к чему «не лежит душа». С удовольствием бы уехал в деревню, где мои братья занимаются земледелием. Они свежее меня, хотя и старше, не так, как у меня слабы их нервы, и, мне кажется, бури житейские сломят их не так легко, как меня—жителя городов. Я бываю у них, слежу за их трудом и вижу, что они делают «свое дело». Счастлив тот, кто трудится по призванию. Так я понимаю «Власть земли» Успенского». Позднее тот же стрелочник пишет мне: «Приходится заниматься «не своим» делом по должности ремонтщика. Я был бы полезнее в деревне. Ведь настоящим трудом (на железной дороге) я только добываю средства к жизни, а хочется такого труда, с которым был бы связан кровно, в котором жил бы. Это что то в роде Ивана Босых («Власть земли»). Так люблю Глеба Успенского. Взгляд его—человек должен делать то дело, в котором живет его душа («Власть земли»)—такой правильный... Но Иван Босых не из сознательных. Михайловский прав, упрекнув Успенского за то, что он не изобразил людей, больных честью. Я думаю порвать с постылой службой не посредством «начальнического леща по загривку»—подобно Ивану,—а по своему почину».

Еще две-три выдержки. «Не могу не любить Глеба Успенского,—сам вышел я из крестьянской ремесленной среды, а все то у него, до языка, подлинно народное. Описываемое он знал, как самого себя, а не на глаз да по догадке« (портной из Белоруссии). «В произведениях Успенского вижу всю правду крестьянской жизни. Мне кажется, никто еще так не понял своего народа, как Успенский. Идеализм народников шестидесятых и семидесятых годов мне представляется пародией на народ. Для них крестьянин это ребенок, которым они тешатся, потому что к нему не пристало еще ничего дурного. Успенский показал нам нашего крестьянина без выдумки, показал не с одной, а со всех сторон» (рабочий патронного завода). «Жизнь просила новых писателей, не сочинителей, а таких, которые сказали бы правду о народе. И явился он... Глеб Успенский... за чистой правдой и с чистой правдой»... (столяр).

Полу-крестьянин этого типа нередко уверяет нас, что понять Успенского «вполне» может лишь тот, кто испытал хоть в детстве сладость деревенской жизни, красоту ржаного поля; что пролетарию, который родился и вырос при машине, Успенский может быть понятен, но не вполне. «Среди нас, читателей из крестьян, хотя и оторванных от деревни,—пишет маляр из провинции,—я полагаю, едва ли когда-либо пропадет интерес к таким произведениям, как «Власть земли», «Крестьянин и крестьянин труд» и многое другое. Они должны быть радостью для сердца каждого интеллигента из крестьянских масс. Для городских рабочих Успенский чужд, хотя *по своему* и понятен. Сознаюсь, среди них интереса к Успенскому не замечается—хватаются за то, что более подходящее ко времени настоящего момента».

Едва ли, конечно, это так. Если Успенский, воскресавший духом только тогда, когда перед ним выплывала фигура

мужика, *ближе* читателю, сохранившему связь с мужицким миром, то читает, не хуже понимая, и пролетарий, для которого власть земли уже не более, как звук пустой. И—что, в свою очередь, любопытно,—ценит знание народа Глеба Ивановича так же высоко, как и выходцы из деревни. Разница, очевидно, в том, что в одном случае Успенский больше говорит чувству, в другом—уму.

От суждений «фабричных» в начале веет нередко холодком. «Глеб Успенский не может быть назван писателем рабочей демократии,—начинает рабочий экспедиции заготовления государственных бумаг свою оценку.—Да, живя в свою эпоху, он ни в коем случае не мог и быть таковым. Человек другой эпохи, он, сообразно этому, и писатель другой господствовавшей идеологии». Но прочтите еще несколько строк, и холодка этого уже как не бывало. «Это не значит, что для нас, рабочей демократии, Глеб Иванович—чужой писатель. Нет, это сказать нельзя, и никто этого не скажет. Ведь Глеб Успенский это зеркало деревни». Этот читатель окрашен в *марксистский* цвет.

«Власть земли» и по его мнению гениальна, гениальна особой правдой, которой она проникнута от первой до последней страницы. Но правда эта представляется ему не в свете чувств. Поэзией прошлого он нисколько не обвеян, и правда Успенского для него правда об индивидуализме мужиков. «Большинство его героев или «типов»—народ от'явленно индивидуалистического склада с сильно развитой наклонностью к анархизму,—пишет рабочий из Самары.—Это анархически-индивидуалистическое налегание одного типа на другой, ему подобный, во имя личных целей и стремлений, проходящее через все характеры Успенского—самое ценное в его книгах. Так живет и действует действительный мужик».

Любопытна параллель, которую проводит между Успенским и Решетниковым рабочий-печатник: «Широта миросозерцания, помимо большого обхвата жизни и таланта, давала Гл. Успенскому возможность наблюдать не только картину взаимного пожирания, но и проникновенным взором всматриваться, как

по песчинке, по крупинке, медленно, неслышно перестраивается на новый лад забитая и запуганная, забывшая себя русская душа—перестраивается во имя самой строгой правды». Возьмите героиню рассказа «Неизлечимый»—учительницу Абросимову—и сравните ее с Дарьей Андреевной из романа «Свой хлеб», и вам будет отчетливо ясна широта устремлений первой и примитивное понимание жизненных задач у второй. Глеб Успенский, с глубоким пониманием жизни замечающий крупицы человеческой правды, давший незабвенную фигуру болеющего о человеческой правде Михаила Ивановича в «Раззореньи», яркими штрихами обрисовавший обаятельного фельдшера Кузьмичева, не мог написать такие строки, полные безнадежности, какие мы находим у Решетникова в романе «Где лучше». Будучи в высокой степени правдивым бытописателем жизни страждующих, Решетников не в состоянии был охватить сложного процесса жизни. Отсюда та безнадежность его выводов, которая не только для нас, но и для его времени являлась неполной и незаконченной истиной». У Решетникова не только пьяный и забитый народ, но и кроме того распыленное человеческое стадо, где каждый думает сам за себя. У Гл. Успенского же медленно и неслышно, но перестраивается на новый лад забитая и запуганная русская душа.

И для выходцев из деревни правда Успенского достаточно сурова. Но в них Успенский будит мечту о недалеком прошлом. В рабочих же фабричных никаких иллюзий уже не будит он. Они знают, что их жизнь навсегда расчитана по звонкам и по свисткам.

VIII.

Как преломляется в головах наших читателей социальная судьба Ивана Ермолаевича?

Даже интеллигент из рабочих, жизненным образом связанный с чаяниями и упованиями деревни, не склонен смягчать то, что писал кровью сердца своего Гл. Успенский. Он, как и промышленный пролетарий, знает, что Иван Ермолаевич так

же вот живет и умирает, как колос в поле, и это образ прошлого. Знает, что «переходное время» ежеминутно создавало неожиданное, и мужик двоился, и двоилась наша община между кулаком и общинными корнями.

Земля теряла власть над мужиком—кругом проценты, обороты и нажива, и исчезает стройность извнутри, как и стройность внешнего уклада. «Положение Глеба Ивановича в переходную эпоху не могло не быть трагическое»—замечает рабочий с паровой мельницы (Екатеринослав). Все влекло его к идеализации деревни: и настроение эпохи, и теоретические учения друзей, и весь склад личности писателя с ее жаждой правды и гармонии. Но от фальши спасал его здравый смысл, художественный смысл, который в нем был сильнее тех иллюзий, которые ему так хотелось рисовать. «Когда мы переходим к его очеркам из деревенской жизни,—пишет слесарь с Кубани—делается нам ясно, как дорога Успенскому община, и все, что связано с общинным миром. Но как опровергает он сам себя! Возьмем хотя бы произведение «Из деревенского дневника». Здесь поражает нас отсутствие связи между членами общины. Это ряд примеров, показывающих одиночество крестьянина и его семьи, одиночество души крестьянина». «Успенский пошел в деревню, утерявши в своей личной жизни все цели и весь смысл, но зная почему то, что только мужик с его общиной может вернуть здоровье его больному духу,—читаем мы в другой рукописи.—Вышло же совсем другое. Никто так резко не воплотил своих сомнений в такие образы. Община есть, но она падает». Отсутствию однородных средств существования отвечает отсутствие нравственной связи, и яркими чертами рисовал Успенский картину этого разложения, «хотя ни в чьем сердце разложение земледельческих идеалов не вызывало такой боли, как в сердце самого Успенского» (железнодорожный оффициант).

Забота о рубле внесла разладицу, и никакой силы сопротивления уже нет, и значение этого факта читатель понимает так, как понимал это Глеб Успенский. «Мрачную картину рисует нам художник в очерке «Бог грехам терпит»,—

пишет рабочий ситце-набивной фабрики (Москва)—рисует кулачество, жизнь, отданную в кабалу. Вы видите, что это не случайное пятно на мужике. Мужик сам идет навстречу тому, ставит крест над общинным духом. Нет, кулак Успенского не случайная болезнь, а органический недуг который победить трудно. Это Успенский знал и понимал великолепно».

Да, Ивана Ермолаевича уже нет, нет цельной, стройной красоты крестьянской жизни, мужик выделяет из своей среды кулаков, мироедов, хищников, но наш читатель, *связанный с землей*, не теряет веру в мужика. Вот ведь и Успенский знал все это, тем не менее чувство слияния с деревней ему не изменяло. Так и он, *полукрестьянин*, знает все это, всю эту сложность знает, но в этой сложности все-таки есть то, что дороже для него всех благ, какие он получит в другом месте. И скептик Успенский убеждает его в том, «что везде все-таки мужик», что везде все-таки эта громадная, никому неведомая стихия, от которой все зависит.

Ничто так не раздражает полу-рабочего этого склада, как речи о том, что не им, крестьянам, создать свою культуру, хотя бы и деревенскую, речи о вырождении деревни. Это «поклеп и клевета». «Настанет день, когда мы освободимся от всего наносного». «Ведь русский народ—единственный народ в мире, дающий такое множество самородков. Россия, по справедливости, называется страною самоучек. А откуда это все? Конечно, из деревни». «Нужно побывать в деревне, чтобы видеть и слышать, как крепка вера у народа в свое будущее».

Судьбу Ивана Ермолаевича так же представляет себе и промышленный рабочий, но без этого романтизма, разумеется. Угол зрения у него «пролетарский». Успенский—говорит наборщик одной из крупнейших типографий—понимал, что путь идет через социализм. «Но, как сын своей эпохи, он мог воспринять только тот социализм, который все усилия возлагает на крестьянство». Иван Ермолаевич, «который делает для себя все сам», явился выражением еще не изжитого натурального крестьянского хозяйства. Но симпатии эти были

опровергнуты жизнью, «ибо в авангарде движения выступило не крестьянство». Да и могло ли быть иначе? Даже очерк «Власть земли» имеет значение для выяснения психологии крестьянства «лишь в смысле отрицания ее». «Вся поэзия земледельческого труда в семье среднего крестьянина Ивана Ермолаевича не дает совсем места для каких-либо переживаний положительного характера: кроме своей телушки Ивана Ермолаевича не интересует ничего. Тщательно ища внутренних пружин психологии крестьянства, Гл. Успенский приходит к выводу, что у мужика все нравственные и безнравственные поступки диктуются той властью земли, которая ставит в хозяйстве лошадь или корову выше человеческого существа».

Наши пролетарии отрицают даже, что крестьянская жизнь — стихийная жизнь ржаного поля — была когда-либо хороша. Жизнь, продиктованная ржаным полем, жизнь без своей воли, без своего ума не может быть хороша с их точки зрения. Недаром и имела она место в расцвете крепостного права, когда ничто и никто не вносили в нее разлада, и мужик слепо, бессознательно, хотя, может быть, и «гармонично», строил свою жизнь. Нет, этот начальный пункт, по их мнению, не более, как миф.

Чего же тут ждать, на что тут надеяться? Крестьянская жизнь подносила Успенскому такие перлы звериного отношения мужика к своему же несчастному собрату,—читаем мы,— что писатель едва успевал их отмечать. «Весь цикл очерков «Из деревенского дневника» наполнен грустными и безобразными явлениями крестьянской жизни. Резюмируя свои впечатления, он в очерке «Малые ребята» приходит к выводу: «крестьянское хозяйство держится соблюдением внешнего ритуала, а внутренней правды тут мало». За эти очерки народники упрекали Успенского. На это он отвечал в своей автобиографии: «я видел, до чего может дойти бездушный мужик при деньгах.., Я писал, какая он свинья, потому что он творил преподлейшие вещи».

Но жизнь шла, не останавливаясь. Уже в рассказе «Книжка чеков» Успенский рисует превращение распоясовского

мужика в «человека-полтину». Полу-пролетарий, головой обращенный к фабрике, сердцем к оставленной полосе в деревне, так радостно переживает возвращение Ивана Босых в свою избу, к своей телушке, к своему навозу. Рабочий же, выросший при машине, по этому случаю лишь недоумевает. «Скажите, какая может быть тут радость,—пишет рабочий завода Айваз.— Стремление этого человека, не совсем порвавшего с землей, туда, где дед и бабка век прокоротали, вполне понятно. Но что же ему там делать, в этой мужицкой жизни, которую «не перехитришь, как не перехитришь ни ветра, ни солнца, ни дождя»? Первая недоимка, первый рубль, который надо уплатить, становится для него колом. И может ли вывести Распоясово к огням, так усидчивое во тьме, как до, так и после крепостного права? Глеб Иванович не дает ответа на вопрос и потому, кажется, направляет свое едкое перо против канцелярий и палат, заведших крестьянство в такой тупик».

Итак, романтика земледельческого быта не исчезает с горизонта полу-пролетария, не смотря на все шипы, которыми этот быт усеян. Пролетарий же индустриальный машет на мужика рукой, не видя тут ни талантов, ни искры, из которой возгорится пламя.

IX.

Столкновение двух умонастроений достигает еще большей остроты, когда Глеб Успенский выдвигает антагонизм между городом и деревней, и во весь рост встает перед интеллигенцией из народа «греховодник—капитал», дуновения, одного дуновения которого достаточно, чтобы все тысячелетние постройки мужика разлетелись в прах.

Для рабочего, что тянется к земле, капитал олицетворяет город, и, лишь знакомясь с моими материалами, я убеждаюсь, какой значительный процент рабочих, казалось бы, раз навсегда втянутых во всякого рода городские предприятия, ненавидит, жутко ненавидит город. Зло, гибель, по их мнению, именно там, где зло и гибель настигали Ивана Босых: «Кре-

стьяне, сыны земли, ненавидят города и густо-населенные места. Только страх голодной смерти гонит их в проклятые омуты, где они погибают». «Посмотрите на народ, покинувший землю и переселившийся в город, посмотрите на рабочих». Это та «легкая жизнь», которую рисовал Успенский, «в которой не участвует душа».

Один полу-крестьянин излагает свои впечатления от предместий таких огромных городов, как Петроград, Москва и Киев. Вот этот «пролетариат», «с которым носятся социал-демократы», «эти незванные и непрошенные радетели рабочего люда». «С каким то остервенением пьют водку и, что называется, не мытьем, так катаньем изводят друг друга. Погибать так всем—вот лозунг современного пролетариата. Как сыну народа и рабочему, мне больно это писать, я страстно желал бы, чтобы этого не было, но тем не менее рабочий класс разлагается. Разве не о разложении говорят эти ежедневные драки «на ножах» в рабочих кварталах, эти ночные убийства, насилия, разбой? Мне известно несколько рабочих семей, в которых мужья посылают на гнусный промысел своих жен и дочерей, а сами бездельничают и пьянствуют». «Да, у тех, кого засосал город, нет зари, нет надежд—и не будет». Недаром кончает самоубийством преимущественно тот, кто «отравлен смрадным дыханием каменного города». Даже хулиганы и босяки возможны только здесь, «где нет простору человеческой воле». И Глеб Успенский этим людям близок тем, что убеждает их своими наблюдениями, как развращают, как губят народ города.

«В одном из своих очерков Глеб Успенский рисует картину, как крестьяне по проселочной дороге везут тяжелый локомобиль кулаку. Широко разинув свою чудовищную пасть, он вот-вот, кажется, все проглотит, что попадется на его пути. Медленно движется он по пути, и даже рухаются и трещат под ним мосты. Так Глеб Успенский почти символически рисует шествие города в деревню. Да,—говорит приказчик из Екатеринодара — «привалили деньги», и пришел новый гость, который выварит мужичка-земледельца в фабричном котле, в котле города. Тем дорог мне Глеб Успенский, что он обнажил нам корень зла еще в славную эпоху семидесятых годов».

Здесь вы слышите ноту, — пожалуй, новую,— по отношению к народничеству. Тот полу-пролетарий, который так низко ставит бытовую правду народника-разночинца, превознося «Мужиков» Чехова, как образец таковой правды; тот полу-пролетарий, что косился на Михайловского за то, что тот не нашел идеи в рассказе Чехова, здесь вступается за народническую литературу так энергично, проникновенно. Эта литература не раскрыла ему психологического облика народа, но «она была близка нам по духу, дорога по идеалам и доступна по понятию. На ней мы воспитывались, под ее углом вырабатывали свое мировоззрение, и она положила первое и прочное начало зарождению народной интеллигенции, которая в настоящее время разрослась до широких размеров». Когда умер (1912 г.) Н. Н. Златовратский, этот самоучка из крестьян, работавший в Москве приказчиком, говорил на его могиле: «Пускай после семидесятых годов в литературе наступила реакция; пускай эта славная эпоха сменилась годами уныния и хмурых людей; пускай народничество вырождалось в марксизм, и вместо мужика литература заполнилась босяками, но брошенные семена на ниву народную не пропали даром: они хотя медленно, но верно несли свои плоды. Те мужики, о которых ты всю жизнь печалился, теперь сами продолжают твое дело. На смену тебе выступают новые силы из недр того самого чернозема, над возделыванием которого ты так усердно работал всю свою жизнь».

Конечно, Успенский сказал нашему читателю и правду, «подлинную правду» о народе, но потому то и стоит этот писатель особняком в сердце его.

Ничего похожего не скажет вам уже рабочий, всем строем чувств и дум связанный с городом, *с машиной*. Он отдает должное наблюдениям Успенского и в сфере греховодника-капитала. Так, хотя течение, к которому принадлежал Успенский, отвергало положительное значение за капиталом, все же

Гл. Успенский,—по словам наборщика,—«как правдивый и непосредственный наблюдатель, не мог не остановиться на некоторых явлениях, противоречающих этому резко отрицательному взгляду. В рассказе «Петькина карьера» мы видим, что даже ужасный труд на спичечной фабрике вдохнул в забитого, загнанного, пришибленного Петьку «живую душу». Предполагая ранее, что только в крестьянстве может быть «поэзия труда», он вдруг видит, что даже каторжный четырнадцатичасовой труд работниц, занимающихся чисткой шерсти, дает «живое проявление молодой и свежей души, решительно устраняя впечатление машинности и однообразности того дела, для которого этот труд закабален капиталом («Письма с дороги»). Конечно, менее, чем кто-либо, мы будем спорить, что капитал высасывает соки из рабочего, но наблюдения Успенского подтвердили тот факт, что фабричный труд может и не обезличивать человека. И Глеб Успенский сам признавал в «Письмах с дороги», что чернорабочий уступает капиталу только руки. «Душу, совесть, мысль купон-молох еще не захватывает в свои лапы так».

Глеб Успенский видел и «факт нарождения мыслящих рабочих», но то, что этот факт не случаен, а симптоматичен, Успенский еще не видел. Этим,—по мнению наших пролетариев,—объясняется то, что отмечено в свое время Михайловским: в то время как мотивы больной совести так разработаны Успенским, мотивы больной чести у него занимают не много места. «Людей возмущенной чести, под которыми мы понимаем, главным образом, борющийся пролетариат, тогда в шестидесятые и семидесятые годы еще не было. Капиталистическое развитие находилось еще в зачаточном состоянии. Поэтому Глеб Успенский обратил главное внимание на людей с больной совестью». Только единственный раз Глеб Успенский обрисовывает, — по мнению наборщика—представителя возмущенной чести. Это в очерках «Наблюдение Михаила Ивановича». «Михаил Иванович это представитель первой зачаточной стадии развития. Чувство против неправды развито у Михаила Ивановича в сильнейшей степени, но мысль его сдавлена тисками темноты».

«Живи Успенский в наше время, сомневаюсь, был ли бы он идеологом крестьянства, певцом власти земли—пишет рабочий завода Айваз,—но для умов того времени, когда жил писатель, капитализм был вопросом, который не разрешила история». «Первый особенно хищнический период капитализма» не разрешал этих противоречий. «Светлых сторон было мало». «Одну из петель для народа Успенский видит,—пишет, рабочий вагоностроительных мастерских—в книжке чеков Ивана Кузьмича. Она ужасает автора рассказа тем, что она новая петля, которой еще народ не нашивал на своей шее... а больше потому, что не видел он силы, могущей ослабить ее тиски, все подчинявшие своими чеками капиталу. Михаил Иванович не борец, а мечтатель, он не в состоянии даже сделать шага в сторону противодействия Ивану Кузьмичу. Но Глеб Иванович не заметил, что Михаил Ивановичи были везде, пока капитализм делал свои первые шаги. Складывались Иваны Кузьмичи, складывались и Михаил Ивановичи. Последний это прототип борца—пролетария, которого мы видим на сцене революции в наши дни. Не видя этого, Глеб Иванович боялся Ивана Кузьмича, и страх его вылился в мужицкий вопль—держись крепче за землю».

Мучительный разлад, душевную драму Успенского пролетарии объясняют тем, что два человека боролись в его груди: публицист чертил воздушный замок, художник сводил эти чертежи на нет.

X.

Раз гармония мужицкая—зоологическая, лесная, вопрос был в том, как внести в эту гармонию свет истины, как поднять власть земли до власти человеческой, но так, чтобы она сохраняла в то же время свой гармонический характер, т. е. поднять на высшую ступень, какую мы только знаем. Эту роль,—роль людей, которые должны устроить так, чтобы строй деревни не зависел от какой то капельки или песчинки,

которой достаточно выпасть, чтобы все рухнуло в один день, Успенский отводил, как мы знаем, интеллигенции. Знает это и читатель наш.

«Продолжая в очерках «Разговоры с приятелями» развивать те же идеи о власти земли, Успенский говорит о той миссии, которая выпадает на долю интеллигенции. Он полагал, что интеллегенция подарит светом знания крестьянскую массу, уничтожит начало звериное и оставит нравственное и гармоничное в жизни крестьян. Есть, говорит Успенский, фигура Платона Каратаева (идеальный тип крестьянина у Толстого), есть «хищник», т. е. кулак. «Третьей фигуры—человека, который бы мог заикнуться о той правде, которую бог видит, нет и в помине». И Глеб Успенский упорно повторяет мысль о необходимости помощи со стороны интеллигенции. Во «Власти земли», в очерках «Скучающая публика», в «Письмах с дороги», в очерках «Из деревенского дневника»—везде проводится мысль о роли интеллигенции: сохранить общинный строй, осмыслив его идеалами братства и справедливости».

Читатель отдает себе отчет и в том, что Успенский понимал под этой интеллигенцией. Прямое вмешательство в жизнь деревни со стороны людей, перестроивших свою жизнь на началах «строгой правды», было невозможно при тогдашнем политическом строе, и неизбежна была героическая борьба. Но на эту борьбу способно было лишь небольшое меньшинство. Остальная же масса интеллигенции состояла только из «сочувствующих». «Всю эту интеллигенцию Глеб Успенский окрестил словом «неплательщики», т. е. людей, не платящих податей, но аккуратно получающих каждое двадцатое число. Раздумывая над судьбой такого интеллигента, Успенский восклицает: «Кто и что превратило его в интеллигентный гвоздь, который вбивает в известное место посторонняя рука и который оказывается способным держать все, что посторонняя рука на него не повесит» («Неплательщики»). Единственная отрада такой интеллигенции это «бесплодное» чтение хороших книг. И какие уничтожающие строки есть в этом рассказе Успенского по поводу этой прочитанной «прорвы» книг господами «неплательщиками». Успенский внимательно и с ужасом всматривается в тип праздношатающегося интеллигента. Всего более возмущало мятущегося в поисках правды писателя—это «гуманство мыслей и дармоедство поступков».

Таким образом, речь идет не об интеллигенции вообще, а об интеллигенции в «героическом» смысле этого слова, той, которая шла в народ. Как же преломился этот момент в голове нашего читающего рабочего?

Даже те, что сохранили добрую память о народничестве и его доктрине, держатся того взгляда, что Успенский в этом пункте как бы побивал самого себя. В самом деле, ведь сам Успенский говорил: «Разве в этой жизни, основанной на власти земли, власти, все проницающей, все устраняющей, все в народной жизни уясняющей, разве там есть место какой-нибудь книжке, какой-нибудь науке? Зачем она тут? Зачем сюда соваться и разрушать удивительную стройность, ни в каких указаниях, кроме указаний природы, не нуждающейся жизни?» Не суйся,—вот что говорил мужик интеллигенту, непонятный для него и непонятый мужиком сам. Ясно, казалось бы, что из сего следует. Между тем Успенский тут же начинает звать в деревню интеллигента,—хотя и героически настроенного, но ненужного деревне, с которой он двух слов по настоящему связать не может. Читатель полукрестьянин не умаляет качеств интеллигенции тех дней, но к роли интеллигента нашего типа относится скептически, еще чаще с недоверием.

«Об отошедшей интеллигенции шестидесятых годов — пишет полукрестьянин,—я не могу вспомнить иначе, как с чувством глубокого благоговения». Однако, эволюция интеллигенции, даже и той, которая когда то шла в народ, показывает ему, насколько наивно возлагать на нее надежды. Нынче интеллигенты заявляют (1912 г.), что они не признают народных идеалов и считают их предрассудком. «Справедливость требует отметить, что заступничество за народ интеллигенции шестидесятых годов было искренне и бескорыстно, чего нельзя сказать об интеллигенции нынешней. Правда, есть и в ее среде люди самоотверженные, всецело отдавшиеся народу, но

они составляют исключение, и речь не о них, большинство же интеллигентов добивается свободы лишь постольку, поскольку стеснена их личная деятельность, их личная жизнь». «Если бы интеллигентам предоставлена была полная свобода действий, они дальше проповеди о «материалистическом» учении не пошли бы и, разрабатывая реформы, меряли бы их на свой аршин, то есть заботились бы прежде всего и раньше всего о том, что необходимо им самим». Вот почему, отдавая должное интеллигенту-разночинцу, этому пришлецу во вражий стан, который он хотел разрушить, наш полу-пролетарий видит в нем лишь эпизод из истории интеллигенции нашего круга. «Грешный человек, я никак не возьму в толк, чем собственно помогла интеллигенция народу».

Конечно, в корень смотря, Успенский был прав и тут, но это было «лишь одно его предвидение». То, что он должен был сказать, но что договорил за него—по мнению одного конторщика—Н. Н. Златовратский [1]).

Значение интеллигенции в глазах этого читателя огромно, но не той, которая идет из привилегированных кругов, а той, которая идет из среды народа. «Вот, где мечта, которую принес Успенский, не умерла и не умрет; если же заглохла, то лишь временно, среди мещан, среди банкротов духа. Во времена Успенского ее не было и не могло быть. Теперь же она—очевидный факт», и знамя, которое нес Успенский, «попадает в более верные, в более сильные руки, из которых вырвать его не так уж легко».

Сопоставляя с этими выдержками то, что говорит на эту тему человек фабрики, отметим одну любопытную черту. Марксизм, наложивший печать на его мышление, был тем учением, которое принижало роль интеллигенции в России. Однако, мы видим, что интелигентоедство свило себе гнездо, главным образом, в среде полу-пролетариев, полукрестьян, не определивших себе ясно, с городом или деревней связана их

[1]) Н. Н. Златовратский возлагал большие надежды на интеллигенцию из народа.

социальная судьба, людей, в глазах которых авторитет марксизма стоит невысоко. И в среде фабричных в тесном смысле слова это явление, конечно, имеет место. Но не в том объеме, не так темпераментно работает их мысль в этом направлении.

В роль интеллигенции в деревне, по мнению последних, верил Успенский-публицист, но не Успенский-художник. «Успенский как будто думал: вот-вот придет в деревню человек, который спасет от разложения общину. Но вот тот, кто пришел спасти общину, восклицает в «Овце без стада»: не сольешься с вами, а сопьешься» (рабочий завода «Вулкан»). «Развить духовно и поднять на высшую ступень интеллигенция смогла только пролетариат России, ибо в то же время организовывала его—буржуазия» (рабочий завода «Айваз»).

XI.

Итак, ощущение близости, интимности дает Успенский читателю, волею обстоятельств вынужденному жить вне деревни и круга интересов ее; пытливый анализ читателю, отошедшему от нее всем своим прошлым. Один более сердцем, другой более умом воспринимают писателя, разрывающегося на части и благодаря обстановке, в какой он пишет свои очерки, статьи, заметки, и благодаря индивидуальной своей впечатлительности.

Однако, просмотрев и исчерпав все их суждения, оценки, я убеждаюсь, что важная черта,—то, что связывает сочинения Успенского в одно целое, что делает его художником в высшем смысле этого слова,—остается невыраженной у нашего читателя. Что же это за черта? Эстетизм Успенского, столь солидарного с людьми своего течения в остальных вопросах.

На это указывал еще Михайловский в своей замечательной статье о своем друге. Какое же это такое дело,—спрашивал критик,—ради которого Успенский надел вериги аскета и давит в себе все цветное? «Я, может быть, удивлю вас ответом,—отвечал он.—Общий принцип, к которому могут быть сведены все волнения Успенского есть принцип

гармонии, равновесия». Критик хорошо знает, что это звучит парадоксом. «Столько тревоги и волнений из-за какого-то отвлеченного начала, холодного и далекого, как всякое отвлечение: столько аскетических подвигов и жертвоприношений на алтарь метафизического прицита» [1]). И притом у человека, пустившего такие корни в живую жизнь, которая не ждет, не ждет. Но это было так. Красота действовала на Успенского так, что он не только примирял народничество и эстетизм, но это было для него одно и то же. Гармония, равновесие были для него тем, перед чем Успенский стоял не скомканный, как старая перчатка, а неожиданно совершенным, как Венера Милосская.

Великое художественное произведение и укрепило его в «тогдашнем желании итти в темную массу народа» и итти именно для того, чтобы хотя на одну ступень поднять начинающий жить народ к тому божественному совершенству, которое представляет «каменная загадка», воплощенная в Венере. Вот в этой самой красоте, которая была в одно и то же время и нравственной стихией произведений писателя, и силой любящего сердца его, не отдает себе отчет наш читатель.

Из рядов народников-разночинцев он выдвинул Успенского, как единственного в своем роде, ибо он с'умел *подлинным образом* проникнуть во внутренний строй души и быта мужика. Это так. Но ведь еще больше отделяет Успенского от разночинцев-народников, с которыми он вместе выступил в ту эпоху, этот светлый, плодотворный эстетизм. Время народнического радикализма так мало места оставляло тому, что не исчерпывается властью «идей». Из статьи Михайловского мы узнаем, с каким удивлением в свое время был встречен очерк Успенского, в котором он с такой гениальной простотой выразил эстетическую природу всего своего «я» [2]). Но дело не в очерке, поставившем в тупик читателя Успенского. Дело в основном смысле жизнепонимания, точнее говоря, народничества этого человеколюбца, и вот в этой плоскости к нашему читателю приложимо то, что много лет назад А. Г. Горнфельд писал о русском читателе вообще: «читатель, знакомый с произведениями Успенского,—писал он—знает хорошо что особым интересом к эстетике он не грешит» [1]).

[1]) *Н. К. Михайловский.* Собрание сочинений. Т. У. „Жестокий талант".
[2]) Там-же.

Правда, рабочий—печатник И. Н. Кубиков в своей статье о Глебе Успенском, напечатанной в журнале рабочих печатного производства, говорит об этой «жажде человеческой гармонии». «Трактовка Венеры Милосской Гл. Успенским очень глубока и оригинальна», пишет он. «По Гл. Успенскому Венера Милосская не просто женщина. Нет, это общечеловеческий тип красоты. Это сочетание лучших сторон физического и духовного облика человека. Таким образом, Венера Милосская «зарождает в сердце живую скорбь о несовершенстве теперешнего человека». Люди только тогда «выпрямятся», когда исчезнет все, что мешает развиваться человеку и свободно творить жизнь». Однако, это пишет пролетарий, высоко стоящий над уровнем своей среды. К тому же и он «путь к этому гармоническому человеку» не связывает со всем обликом Успенского. Суждение как то стоит особняком от других суждений, вызываемых творчеством художника-аскета. Читаю я и в другой рукописи: «Всю свою жизнь стремился Успенский обрадовать нас «видимой возможностью быть прекрасными», весь свой век на земле искал какой то гармонии. И вот тем дорог он нам, интеллигенции из народа, что он знакомил нас с «ощущением счастья быть человеком», стремился к этой гармонии» (Рабочий завода «Айваз»).

Но остальной материал на эту тему не говорит нам ничего. Правда, нужно слишком бегло читать эти писания, подчас примитивно изложенные, чтобы не видеть, что не все то пишущие выражают, что они чувствуют, хотя бы уже потому, что не привыкли, совсем не привыкли они на бумаге выра-

[1]) *А. Г. Горнфельд.* О русских писателях. Эстетика Успенского, т. I. (Изд. „Просвещение").

жать впечатления от прочитанных ими книг, даже книг, наложивших неизгладимую печать на их мышление, на их душевные переживания. Если же это верно вообще, то тем более верно, когда речь идет о такой сложной черте писательского облика Успенского. Вчитываясь во все эти оценки, в самом деле, нельзя не согласиться, что иные из тех, которым оценки принадлежат, *чувствуют* Успенского во всей его многогранной полноте, и этим именно писатель и открывает себе дорогу в тайники их душ. Но и это отмечаю я по отношению к немногим лишь.

Теория разрушения эстетики особенно понятна полукрестьянам—многие из них с захватывающим интересом читают и теперь еще статью Писарева о Пушкине. Интеллигент из рабочих ближе к быту, чем интеллигент нашего круга, говорящий: «прекрасное есть жизнь», но от жизни столь же далекий, как и от прекрасного. Когда же дело касается так называемых высоких материй, первый нередко выглядит тем же рационалистом, что и последний. Интеллигенция рабочая формировалась у нас в России под влиянием интеллигенции верхов и в городе, и в деревне. Жизнь шла все вперед и вперед, все внимание отдавалось тому, что «нужно», что «полезно» в переживаемый момент; Успенский и читался под этим углом зрения, тем более, что сам же писатель, без сомнения, показавший нам, что прекрасное есть жизнь, но жизнь, преломленная сквозь художественную призму, в то же время в каждой строке своих писаний боролся с таким представлением о себе.

Общественный радикализм.

В. Г. Короленко.

„Писатель выростал в моих глазах в великого и славного мужа, который всецело подкупил, очаровал меня своей личностью. И я не знаю, перенесу ли я ту утрату,—утрату уважаемого Короленко, если только рок заставит меня пережить ее. О, я не допускаю и мысли об этом. Как хотелось бы мне быть чудодеем, чтобы я смог обессмертить живую совесть моей родины, ибо что тогда будет стоить родина! Где найдет таких сынов?“.

Кожевник *Д. Жилунович.* 21/VIII—1913 г.

I.

Накануне революции, в январе 1917 года, В. Г. Короленко указывает нам на «тысячи людей из народа, подымающихся стихийно и инстинктивно с развитием народной школы и проникновением книги», тех, что «летят, как стаи птиц, на огонь маяка из глубины темной ночи и часто встречают, вместо тепла и света, гибель». Это уже не Яшки, не ищущие осязательных результатов, не «убивцы», не правдоискатели больших дорог, — словом, не та нравственная стихия, которую когда-то так интимно рассмотрел художник сквозь тьму и ненастье нашей серой сермяжной Руси. Это—интеллигенция из народа, которая формировалась после 1905 года, отличительные черты которой—как метко определил писатель—«живой и восприимчивый ум, большая, чисто мужицкая энер-

гия, преклонение перед просвещением и его орудием—печатным словом» [1]).

Лучших представителей ее Владимир Галактионович Короленко знал по писателям из народа, никому в такой степени не обязанным своими первыми шагами, как ему. Лишь слегка погрешив против перспективы прошлого, можно сказать, что современные самородки, которых так неудержимо влечет литература и к литературе, идут от «Максима Горького». Но кто открыл дорогу самому нижегородскому мастеровому малярного цеха? «Известно,—пишет Горький,—что в большую журнальную литературу я вошел при его помощи». Сперва имел он «редкое счастье услышать четкую уничтожающую критику». Впрочем, следя за его работой, Короленко, удивлявший молодого Горького простотой и ясностью речи, и впоследствии нередко говорил ему: «ну, это вы плохо сочинили», «черезчур увлекаетесь словами» или «не прикрашивайте людей». Но советы и указания писателя «были как-раз те указания, в которых я нуждался», с поразительной ясностью, образно и кратко говорили ему о том, «как плохо и почему плохо» написал он. «Первая вещь Горького,—«Челкаш»,—напечатана Короленко в журнале «Русское Богатство». «О многом я умолчу, вспоминает теперь Горький — из опасения быть бестактным в похвалах и благодарности моей этому человеку» [2])

Известна и роль Короленко в судьбе Семена Под‘ячева, попавшего в печать через Короленко. А. П. Чапыгин о первых шагах своих сообщает мне: в 1897 г. Н. К. Михайловский, которому была передана рукопись его, пригласил Чапыгина письмом к себе и познакомил с Короленко. Рукопись, хотя и понравилась ему, «не могла пойти из-за цензурных условий и недостаточной литературной отделки». Но Короленко уже не оставляет его своей заботой, и, спустя несколько лет, первый очерк маляра, исправленный писателем, попадает

[1]) *Ив. Горячев.* Обманчивые огни. (Автобиогр. — исповедь писателя из народа). „Вместо предисл." Вл. Короленко. „Русск. Записки", 1917 г. № 1.

[2]) „Жизнь и творчество В. Г. Короленко". Сборник статей и речей к 65 летнему юбилею. *М. Горький.* Из воспоминаний о В. Г. Короленко.

в печать. Однако, Короленко, которого так влечет к человеку и его нуждам, далек от мысли, что прибавление магических слов «писатель из народа» может само по себе придать ценность рассказу или повести. Когда он начинает замечать в этих стремлениях в литературу «все элементы трагедии, глубокой и печальной, которая повторяется теперь так часто и губит много жизней с хорошими задатками и возможностями, но направленных ошибочно за «обманчивыми огнями», то дает на страницах своего журнала рассказ, имеющий интерес такого трагического человеческого документа, — простой и бесхитростный рассказ самоучки-столяра Ив. Горячева о мечте такой неудавшейся жизни.

«Однажды,—пишет Горячев, — посылая рукопись известному писателю N., я написал ему о моих неудачах и тяжелом положении». Конечно, речь идет о Короленко, который «немедленно ответил и убедительно советовал заняться мастерской и не запускать обычной работы из-за литературы». Горячеву, как и Сивачеву, как и многим другим в его положении, казалось, что его просто не хотят допустить в литературу. «И я (грешный человек) вместо благодарности писал N резкие, грубые, чуть не ругательные письма». Что же отвечал на это Короленко? Писатель почти каждый раз отвечает на его «отчаянные письма», нередко вместе с тем «выручает из страшной беды, предупреждая при этом, что он помогает мне для поправки моего столярного дела, а не для поощрения литературного запоя»... «Неосторожный вы человек,—пишет он,—и не хотите слушать добрых советов. Был бы рад написать что-нибудь отрадное, но какая от этого польза»!

О талантах интеллигентов из народа можно быть разного мнения. Но нет двух мнений о том, что интеллигенция из народа, из которой к нам идут эти Чапыгины и Под‘ячевы, которая после 1905 года растет и вглубь, и вширь, не только читает и знает наших писателей, но и подходит к ним со своими вкусами, со своими критериями. Эти критерии, эти вкусы, мало-по-малу, создавали такую скалу оценок, которой ни в своеобразии, ни в цельности отказать нельзя.

Какое же место занимал в скале этих оценок В. Г. Короленко, знавший народ не по книгам, а по дорогам и тропинкам жизни? Вопрос этот тем большего значения, что, по мнению самого писателя, самый красный и самый черный русский интеллигент несравнимо менее различаются между собой, чем они оба с одной стороны и народ, живущий физическим трудом,—с другой [1]).

Мы пытаемся почерпнуть ответ на поставленный вопрос из материала, который составляют, главным образом, анкетные листы, рукописи, переписка по вопросам литературы, рукописные журналы, издававшиеся *на фабриках и заводах*— (все это собиралось мной в течение многих лет) и лишь отчасти *рабочая* печать, т. е. органы профессиональных союзов, «Народная Семья» — продукт народного творчества в подлинном смысле этого слова, и т. п. издания.

II.

Каким-то теплом, чувством связи веет от всех этих нередко малограмотных, но всегда прочувствованных писаний,— это бросается в глаза с первых строк.

В убогой лачуге при свете лучины,
Средь горьких укоров мужицкой судьбе
Не смолкнут, не смолкнут, писатель любимый,
Сужденья крестьян о тебе.

Пишет крестьянин-портной; стихи посвящены Короленко:

В ком чутко сознанье, кто родину любит,
Тот светлое имя твое не забудет.

«Нужно с грустью признаться,—пишет Короленко в одном месте,—что реальная (подлинная) личность писателя, художника, артиста редко совпадает с тем представлением, какое

---

[1]) *В. Г. Короленко.* Полное собрание сочинений. Издание т-ва А. Ф. Маркс. 1914 г. т. III. „Современная самозванщина". „Мысль еретическая и кощунственная с точки зрения революционного народничества, — говорят А. и Е. Редько, приводя этот взгляд, — но Короленко ее утверждает без колебаний".

мы составляем о них по их произведениям» [1]). И любопытно то, что еще до художника, до общественного деятеля рабочую интеллигенцию занимает то, что выше в ее глазах и самого таланта—индивидуальность, личный облик писателя.

«Очень часто приходится слышать и читать,—пишет работница-швея,—что не должно интересоваться личной жизнью писателя, хвалить его или осуждать за его дела, что он интересен только, как автор своих произведений. Нет, это не так. На деле мы никак не можем отрешиться от мысли, что такой-то писатель говорит одно, а делает другое. Как я могу верить словам твоим,—хочется сказать ему, — когда личность твоя не согласуется с ними. Этот тяжкий упрек не раз приходилось выслушивать великому Л. Толстому». Едва ли я ошибусь, если скажу, что то, что какие-то незримые нити протягивает к читателю-пролетарию, еще до произведений писателя, это

Живое горячее сердце поэта,
Влюбленного в правду и честь.

Заметка, из которой взята мною цитата, носит заглавие: «Писатель-человек»; другая, принадлежащая перу провинциального рабочего, озаглавлена также: «Художник-человек», и нет, бесспорно, ни одного анкентного листа, где бы не была обвеяна настоящим чувством самая личность Короленко,—тем чувством, мимо которого не пройдешь, не остановив на нем внимания. Прежде человек, а потом художник, публицист, общественный деятель.

Вот тон, который делает музыку во всех этих суждениях:

1. «Люблю его от всей души,—человека, ищущего справедливость» (ткач).

2. «Читая Короленко, всегда чувствую, что предо мною лежит творение человека с большой душой» (наборщик).

3. «Редкий писатель-художник, которого любишь не только за его произведения, но прежде всего любишь и уважаешь его самого. Близкий писатель, потому что человек родной» (бывший слесарь, увечный).

---

[1]) *Вл. Короленко.* „Отошедшие". 2-ое издание „Русского Богатства".

4. «Надо быть бесчувственным и иметь черствое сердце, чтобы не проникнуться горячей любовью к Короленко-человеку. Но я даже и не верю, чтобы нашлись такие люди» (приказчик из крестьян).

Беру эти выдержки, так как в них наиболее просто выражено то, что иллюстрирует мою мысль. Но и в заметках, более сложно сконструированных, то же место занимает «обаятельная личность писателя».

Этот интерес к «личности писателя, художника, артиста» нужно понять в перспективе времени; уже здесь нельзя упускать из виду характера момента, к которому относятся цитируемые суждения о Короленко (как слова самого Короленко).

Это было уже после того, как «пролетариат и народ не оправдал надежд», в момент интеллигентского разброда вообще, писательского в частности, когда в литературе запахло Передоновым (Соллогубом) и Саниным (Арцыбашевым), в писательском быту—афинскими вечерами и кошкодавством.

И с первых слов убеждаетесь вы, что читатель чувствует психологическую метаморфозу русской интеллигенции вообще, нашего писателя в частности. Вот как представляет он себе дело. Более ста лет прошло с тех пор, как «истинные интеллигенты печалились о судьбах народа». Движимая состраданием, интеллигенция семидесятых годов геройски бросилась в атаку, но народ не понимал ее. Интеллигенция далеко отстояла от народа, была чужда его психологии. Но вот 1905 г. Если до 1905 г. народ лежал с закрытыми глазами, то теперь, правда, он еще не встал, но открыл уже глаза, прислушивается, узнает свое близкое. «Мы, авангард великой армии, стараемся, насколько хватает сил, уменья, приблизить к народу истинный интеллигентский идеал Белинского, Герцена, Чернышевского, Михайловского». Но что же открывает русская действительность теперь, когда сближение с народом уже так близко, так возможно?

«Теперь, когда мы, дети народа, начинаем создавать исторические явления, прикладывать ко всему свой критерий, то роль интеллигенции выясняется с довольно-таки нелестной

стороны. Те же рудинские пышные фразы, те же слова и... больше ничего». Вот какой рисуется роль после-революционной интеллигенции вообще, а писателей тех дней в особенности. «Ну, где же теперь чистый, светлый образ русского писателя?—читаем мы.—Неужели и его готтентот слопал, как всю нашу интеллигенцию? Нет, не готтентот виноват в том, что пропал прежний чистый, светлый идеальный писатель. Понизился этический уровень современного писателя, вопросы «правды-истины» и «правды-справедливости», вопросы чести совсем отсутствуют у сегодняшнего писателя школы К. Чуковского, А. Каменского и... Куприна то-ж»...

Так это или не так, факт тот: за годы, о которых идет речь, традиционный тип писателя поддался,—по мнению читателя,—еще более, чем в восьмидесятые годы, отмеченные вступлением в литературу декадентов, — вот что обостряет интерес читателя к «личности писателя, художника, артиста». «Вон эти господа уж очень распинаются за тайну личности писателя. Писатели — это особь статья, а литература их особо... Читайте нас, наслаждайтесь—это для вас, читатель,—а мы, писатели... Эх, господа, не вам бы писать и не нам бы читать».

Вот почему наши пролетарии у Короленко прежде всего ищут и находят «личность». Конечно, материал мой носит характер случайный. Говоря о Короленко, «авторы» стояли вне каких-либо юбилейных комплиментов. Тем не менее, в любой рукописи бы читаете: «вместе с миллионами таких же, как и я, от всего сердца пожелаю ему долгих счастливых лет», «счастливая страна, могущая назвать в числе своих граждан имя, подобное имени Короленко, как благодарила его группа лиц во главе с Репиным за его прекрасную жизнь». «Я заходил дальше—сообщает рабочий (завода «Вулкан»)—мне хотелось знать, где живет Короленко, даже думалось-мечталось побывать у него и хотя бы посмотреть на живого. Я говорю «посмотреть на живого», потому что портрет я его добыл с первого знакомства с ним, и всегда он висел у меня на стене». «Да, в наше время уныния и застоя в настоящем

и отсутствия надежды в будущем,—вторит работница-швея,—нужна *личность*, подобная Короленко»...

Заметьте, *личность*, не писатель, не деятель.

III.

К читателю Короленко — я говорю о читателе-рабочем — не надо подходить с меркой «количества», если вы стремитесь нащупать сердцевину этого читательства.

В свое время я следил за статистикой читаемости бесплатных народных библиотек и библиотек рабочих просветительных обществ. Короленко — по числу выдач — стоял не только позади Горького, но и позади Леонида Андреева и Куприна. «Многие совсем не читали Короленко (между прочим, ваши хваленые петербургские рабочие)—пишут мне из заводской местности,—а кто читал, так... не привыкли люди мыслить, и заставить их сделать это чрезвычайно трудно». Вот «впечатления и заметки» дежурного одной библиотеки для рабочих .Спрос на книги Толстого, главным образом, на «Анну Каренину» и «Войну и мир». Нарасхват Некрасова стихи. «Приятно и то, что читаются новейшие писатели: Горький, Андреев и Куприн. Но совсем не радовал меня большой спрос на романы Золя. Иногда я предлагал взять вместо слабых романов сочинения Короленко. Мне было досадно, что книги эти редко сходят с полок; наш рабочий отворачивается от художественных рассказов Короленко» [1]).

Разумеется, резко это выражено здесь—рабочий не отворачивается от Короленки, но в интересах истины надо расшифровать это явление. Да, читателя-рабочего в широком смысле этого слова,—того, который, как мне пришлось убедиться и писать об этом, есть у Максима Горького [2]),—этого читателя нет у Короленко, как нет такового у Глеба Успенского, у Щедрина. Психологическая правда Короленко, его

[1]) „Металлист“, № 10, 1913 г.

[2]) „В. Европы“, 1913—декабрь. *Л. Клейнборт* „М. Горький и читатель низов“.

лиризм, его органический взгляд на жизнь, его пантеистический интерес к человеку и природе, —все это вплоть до новых приемов изображения народа может запасть глубоко в душу и быть усвоено уже человеком с тем или иным опытом душевной жизни. И читает Короленко, без сомнения, лишь верхний наиболее интеллигентный слой нашей народной демократии.

Мы видим, что первое знакомство с Короленко не дает того впечатления, той связи с писателем, которые даст первое знакомство с Горьким; и должны пройти годы после этого чтения, чтобы читатель, поднявшись за это время и умственно, и душевно, почувствовал уже на этот раз могучую и непобедимую потребность в страницах Короленко,—ту, которая даже смутные черты, проведенные в душе первым прикосновением к этим страницам, вдруг как-то просветляет и углубляет.

Вот в двух-трех примерах,—более или менее типичных,—этот психологический рост читателя Короленко. Рабочий кожевенной мастерской, житель белорусского местечка, о Короленко, как писателе, узнал, когда ему было шестнадцать-семнадцать лет. Ему как-то попалась в руки книжка «Без языка», которую прочитал он с живым интересом, до того проникшись состоянием ее героев, мытарствующих на чужой стороне без языка, что еще до сих пор не расстался с ужасом при одной мысли, что бы он сам почувствовал в чужой стороне без своих, понятных ему людей. Этот страх стоит поперек дороги его желаний отправиться в какую-либо страну, «заграницу, где бы он смог найти большую возможность доступа к культуре и цивилизации»... Кроме этого рассказа, уже несколько спустя, довелось ему прочесть «Слепого музыканта». «Но, признаться, все эти произведения,—отмечает пишущий,—не дали мне и половины того, что я извлекал в то время из рассказов Максима Горького и крестьянина Семенова. Многое в них *казалось мне темным, скрытым* [1]), и в лице моем Короленко не только не стоял впе-

[1]) Подчеркнутые слова не мешают в то же время находить, что „простота“ есть одно из свойств короленковского мастерства.

реди других писателей, но скрывался даже за ними из моего внимания». Но вот прошли годы. Он кое-что узнал. Окружающая действительность «улыбнулась ему иной улыбкой», и, наученный жизненным опытом, начал он искать как в жизни, так и в литературе иного. И вот, когда «моя мерка и оценка людей и жизни совсем приняла другой характер и форму, вместе с тем и взгляд мой на Короленко коренным образом изменился... Полузабытое впечатление от ранее прочитанного из его произведений воскресло в моей памяти, и я с жадностью и непонятной любовью следил уже за каждым словом Короленко и о Короленко». С каждым промежутком времени в нем, «как и в любом человеке», происходили изменения как в области психики, «так и в точке зрения на жизненную действительность». Романтизм настроения начал «вытискивать» реализм, и «вновь привились другие цвета и вкусы». И чем больше расширялось его сердце и углублялись его умственные горизонты, тем больше он вникал в произведения Короленко.

Другой пример—москвич, рабочий электрического предприятия, который с произведениями Короленко познакомился «довольно-таки поздно», ибо «нам, детям народа, перлы классической литературы недоступны, и чтобы получить какое-нибудь произведение крупного писателя, приходится пройти немало мытарств». Но вот издательство «Донской Речи» выпускает в 1904 году ряд дешевых брошюр, и «на полку пролетария попадает богатое идейное наследие прошлого». В это-то памятное время он знакомится с произведениями Короленко. Знакомство, однако, было «случайное, мимолетное, не положившее никакого отпечатка на мою психику». «Конечно, ничего удивительного в этом нет», замечает пролетарий, но об'ясняет это причинами иными, чем те, которые приводит кожевник-белорусс. Было это, видите ли, время, когда идеи марксизма и народничества «не носились, а висели в воздухе, в домах, на уличных фонарях, в трамваях»,—словом везде, где только была жизнь. Боевые лозунги, яркие, определенные ответы на злобу дня,—все это «манило, притягивало нас,

пытавшихся осмыслить ужас положения», но «гуманизм, положенный в основу произведений Короленко, не прельщал нас, детей города, а красота и художественность его рассказов были недоступны нашему пониманию». Были и у пишущего эти строки литературные кумиры: Некрасов, Якубович. Особенно пришлась ему по вкусу гневная муза П. Я. (под этими двумя буквами был известен читающей публике Якубович). Читая, перечитывая, выучивал наизусть его «Человека», «Выше, выше, рабы, громоздите», и эта поэзия властно, глубоко захватывала его. Но «Короленко, — повторяю — был от меня в тени, я не знал, не хотел знать его в эти бурные, стремительные дни русской революции». Но вот прошли годы,— как это видим мы и у кожевника-белорусса, — жизнь вошла в свои берега. Наш пролетарий «заглянул основательно в историю литературы», научился разбираться в человеке и делах его жизни. И только теперь начинает он ценить писателя, стоящего «на славном посту прошлого». Теперь, «перечитывая вновь его произведения, эти красивые поэмы в очерках и рассказах, я не могу удержаться в пределах холодной рассудочности, а только чувствуя, *как много души* кладет Короленко в свои художественные рассказы, я мысленно лечу за ним, за его героями и живу вместе с ними».

Третий пример—плотник. Короленко он совсем не знал. «Писатели толстых журналов были недосягаемы нашим мечтам». И, конечно, лишь «назад тому шесть-семь лет», когда книгоиздательство «Донская Речь» выбросила на рынок дешевые брошюры наших писателей, ему «посчастливилось приобрести три рассказа писателя». Позднее повезло ему—пришлось «столкнуться с богатой русской литературой положительного и отрицательного характера» и пришлось прочесть много. Прочел и кое-что Короленко, но «без особого следа в душе». «Лишь после совершившегося во мне душевного переворота, когда я стал искать ответов на проклятые вопросы, Короленко пробудил во мне душу. Первое, что я прочел в то время, это «Слепой музыкант». Было кругом темно, но Короленко указал свет и далекое мерцание его. Как слепого музыканта пробу-

дила свирель простая из куска простого дерева, просто сделанная «Юфамамам», так Короленко будил во мне новые в душе чувства и понимание великого».

Характерными, ярко набросанными подчас штрихами рисуют нам наши читатели первое знакомство свое с писателем, с которым им суждено впоследствии слить свои душевные тревоги, свою мечту о жизни человека. Что же делает в их глазах облик художника (а затем и публициста, и общественного деятеля) столь обаятельным, неотразимым? Ни размаха, ни грандиозных замыслов... Ни сложных типов и волнующих фабул... Напротив, тяготение к простому, обыденному бытию... Бродяги, ссыльно-поселенцы, сектанты разных толков, полуинтеллигенты—все то, что так органически ушло в родную почву русской жизни со всеми свойствами ее национально-бытового существа.

Каковы же, в самом деле, те дары, которые обретает у Короленко рабочий и полу-рабочий интеллигент?

Прежде чем дать посильный ответ на это, нельзя обойти молчанием те критерии и вкусы, о которых мы упомянули выше, с которыми низовой читатель подходит к литературе вообще, так как оценка им Короленко—и художника, и публициста, и общественного деятеля—лишь в этих рамках приобретает свою законченную цельность.

IV.

Трудно было бы указать другой слой читателей, который в такой степени стоял бы на страже старых форм и заветов русской литературы, печальницы за униженных и оскорбленных, как читатели-пролетарии.

Трагедия литературы, по их мнению, была в следующем. Русскую литературу знал весь мир, потому что в ней лежит глубокое захватывающее очарование. Но русскую литературу не знал, да и не мог знать свой родной народ. Уже между аристократическим языком литературы и природным языком народа, на котором он говорит, нет ничего общего. Особо одаренные, энергичные простолюдины уже стали понимать литературу и разбираться в ней; за последнее время таких людей выдвигается все больше, но для массы, для всего многомиллионного народа она все-таки остается чуждой, далекой, как ни одна литература в мире от своего народа. И нет более потрясающей трагедии, по мнению интеллигента-рабочего, чем писатель, который, имея возможность отдаваться творчеству благодаря народному труду, поймет, что он чужд и даже не нужен народу, как это понял в восьмидесятые годы Л. Н. Толстой.

Чего же хочет наш читатель от литературы? В те памятные годы, о которых у нас речь, Леонид Андреев где-то сказал, что старая реалистическая литература завершила свой исторический путь; что теперь, без сомнения, нужно придумывать новые формы искусства. «Мы, представители народной интеллигенции, не разделяем этого взгляда,—отвечают на это последние.—Мы смотрим на литературу, как на насущный хлеб для ума и для души. Мы требуем от нее, чтобы она быстро знакомила нас с переживаемой действительностью и воспитывала здоровый взгляд на жизнь».

Если бы все то, что создано до сих пор литературой, стало достоянием всего народа; если бы народ вырос уже из этой литературы, тогда и мы сказали бы вместе с Л. Андреевым: «Да, существующее искусство сделало свое дело. Спасибо ему. Теперь нужно придумывать новое. Но время ли для литературы упражняться в искании новых форм, когда народ задыхается от невежества, от нищеты?» Время ли «облекать живое слово, как барскую мебель, в стиль-модерн», когда три четверти государства не знают, на чем растет азбука? Время ли? Писатели-разночинцы прежнего времени так и понимали свои задачи. Для них вопрос об искусстве был нравственный вопрос. И вот со времени Белинского прошло семьдесят лет. Что же за это время изменилось в русской жизни, что потребовало нового искусства? Нищих, что ли, убавилось в России, или тюрьмы перестроили на школы? В смысле божьей правды в России или ничего не изменилось, или почти ничего, и «го-

ворить, что реалистическая литература отжила свой век там, где более семидесяти процентов иаселения неграмотных, не только нелепо, но и преступно».

Но что же, тем временем, имеет место? После того, как разночинец потерпел поражение и героизм отчаяния был разбит, писатель погрузился в создание такого искусства, которое не имело ни места, ни времени. «Русский быт и в особенности быт народа и здоровый русский язык изгонялись из обихода литературы. Литература как-то стала особняком от жизни и сделалась достоянием только избранных». Господствующее положение в литературе заняли декадентство, модернизм, порнография, а жизнь, действительная жизнь, кипучая и трудовая, осталась в стороне.

«Вот, например, символисты—парят все в небесах да в небесах, не удостаивают своим вниманием многострадальную землю. Почему? Неужели о жизни на земле сказать стало нечего? Они «ответят на эти жгучие вопросы, что им нет дела ни до действительности, ни до народа с его грязью и его стонами. Но позвольте, господа хорошие, на каком основании отмежевываетесь вы в какую-то касту земных фантазеров? На каком основании вы прячете от всего народа ваше искусство, замыкая его в эзоповский язык и делая достоянием только избранных? Кто дал вам такое право? Теперь уже каждому известно, что пока вы проходили среднюю и высшую школу, вы стоили русскому народу по пятьдесят тысяч рублей. В переводе на язык народной действительности, означенная сумма составляет целую тысячу крестьянских коров. Иными словами, чтобы дать образование и развить таланты господ символистов, надо было оставить без молока десятки тысяч пролетарских детей».

И вот заключение:

«Почтенные, мы не затем жертвовали вам по тысяче коров... У нас еще слишком много невысказанного горя, много непонято чувств и желаний, много неразгаданных стремлений, но помогли ли вы нам высказать, понять и разгадать все это? Нет, вы не хотели знать, что позади вас стоят миллионы людей, имеющих право на человеческую жизнь. Вы не хотели понять что, называясь русскими писателями, вы не имеете права не знать, что перед народом лежат более глубокие интересы, чем ваши упражнения в стилизациях и витании в мире грез и фантазий».

Но пусть целая плеяда писателей умышленно обходит жизнь, не отвечает на жгучие запросы народа... Пусть...

Народ, тратя нечеловеческие усилия, «создает свою собственную интеллигенцию, выдвигает своих представителей мысли и слова, и эти силы народные произведут переоценку всех интеллигентских ценностей и дадут встряску так называемому новому искусству».

И глаза его устремлены на Короленко, в чьих руках знамя, поднятое разночинным интеллигентом, остается незапятнанным и светлым. За традиционный реализм чтит наш интеллигент-пролетарий Короленко. Короленко — художник не только по приемам мастерства, но художник во всем, во всей своей жизни — с этой высоты продолжатель художественных традиций «Отечественных Записок» с их социальным, вернее, социологическим реализмом.

V.

Есть ли Короленко—реалист? Едва ли в литературе о Короленко сколько-нибудь установился взгляд на этот предмет. М. Неведомский держится того мнения, что даже позднейшие очерки и рассказы, в которых «больше быта и реализма», все же вместе с тем «далеко не бытовые» [1]). По словам А. и Е. Редько, «Короленко—реалист по форме, но столь же определенный романтик по содержанию» [2]). Мы лично считаем склонность оставаться верным факту основной чертой художника, как и интерес к живому человеку, что бы писатель ни видел перед собой. Ни одной черты, идущей

[1]) *Мих. Неведомский,* Зачинатели и продолжатели (Петроград, 1919 г.).
[2]) *А. и Е. Редько,* Реалист-романтик. („Летопись Дома Литераторов“, № 1).

в разрез с фактом, черты вымышленной или выдуманной, нет в произведениях Короленко, не отступающих ни на шаг от реальной жизни, по крайней мере, от очертаний, в каких жизнь представляется писателю. Короленко может и должен быть назван реалистом, связанным наличностью натуры, хотя его «правда» — со всем ее громадным содержанием — сохраняет свое значение, значение художественного обобщения, вне связи с натурой. Но вот только что существенно не упускать из виду. В основе своей реализм этот был новшеством в литературе по сравнению с тем, что представлял собой реализм шестидесятых и семидесятых годов (хотя бы реалист такой величины, как Глеб Успенский). Тот трактовал не столько тип, не столько индивидуальное, сколько умонастроение групп, целых социальных напластований. Короленко от социологии обращается к психологии, от групп и наслоений к живым лицам, к личностям и личным особенностям их бытия.

Впрочем, едва ли в интересах темы останавливаться на этом здесь. Дело в том, что читатель наш, обнаруживающий такое боевое тяготение к реализму, не так понимает реализм, как мы его понимаем. Для него реализм не столько школа, прием художественного мастерства, сколько умонастроение. Едва ли я ошибусь, если скажу, что „реализм“ и «правдоискательство“ — „переводя на язык народной действительности“ — одно и то же в применении к произведениям Короленко.

Вот как читатель наш воспринимает реалистическую живопись Короленко, эту действительность, которую он так высоко ценит в литературе вообще. Рабочий стеклянного завода, уже пожилой, но не победивший в себе жажды света, рисует „ошеломляющее впечатление“, какое на него произвел „Сон Макара“. „Не могу сказать, приходилось ли что-нибудь читать лучшего, — пишет он. — Этот Макар... кто же был? Как вы думаете? Мой отец, брат и сам даже я... О, боже, какие искренние и горячие слезы вызваны были этим рассказом. Все, что переживал Макар, все его доброе и плохое, это было моею собственной жизнью. Гнет, невежественная мгла... для меня не тайна была. Все хорошее, светлое, ум и даже

силы высосал злой татарин—корчмарь-хозяин. Двадцати-часовая работа, голод, холод, слезы... и проклятия, и стремление к высокой горе. Так и думается, что Вл. Короленко с нас это писал. Сколько близкого, своего я узнал в этом родном рассказе и как горячо и искренно полюбил этого великого писателя“.

Такое впечатление наблюдаем мы от всего, что написано писателем о народе. Что бы он ни изображал — религиозные искания народа, своеобразный процесс его мышления, запросы совести или явления бытового порядка — все, начиная с Макара и кончая Тюлиным, душа которого точно так играет, как расходившаяся река, кажется им преисполненным реализма, трогает и волнует потому, что не иначе как „с нас это списано“.

Вот еще два отрывка. Крестьянину, уже основательно порвавшему с деревней, пришлось прочесть вслух перед семью-восьмью слушателями, кое-что прочитавшими парнями, „Сон Макара“. „Я не в состоянии передать, — пишет он, — какое действие произвел рассказ на деревообделочников. Большинство из них буквально плакали в том месте, где старик упрекал Большого Тайона в творимых на земле несправедливостях. Один пожилой рабочий по окончании чтения рассказа поднялся со своего места и, вытерев кулаками глаза, спросил меня:

— Скажи ж мне, голубе, кто гэта гэтак важна и праўдива написау аб нас?

Я ответил, что есть такой писатель в России — Короленко.

— Караленка? Ах, каб ен здароу быу, каб ен да сто годоу жыу.

Долго после этого не хотели разойтись мои слушатели и все говорили о Макаре и о себе самих, повторяя наперерыв каждую фразу и не будучи в состоянии отделаться от произведенного на них рассказом впечатления. После этого при каждой встрече со мною, мои слушатели всегда спрашивали меня:

— Ну, кали-ж ты яшчэ прачитаешь нам того Караленку? Вельми б мы хацели яшчэ послухать такое аб себе.

В другом отрывке о рассказе „Лес шумит“ пишет рабочий, переменивший не мало профессий в своих скитаниях по городам. „Молодость, чувства, любовь... все эти лучшие спутники жизни должны быть уничтожены капризной рукой бездушного живого трупа. Слезы, муки и месть,—разве это не переживали я, моя среда, все мученики труда и насилия! Нет, жаль, что я не обладаю даром слова. Я бы многое мог рассказать, да не одолевали бы слезы“.

Читатель-рабочий,—при всем сходстве своих идейных построений с построениями интеллигенции нашего круга,—воспринимает тот подход к народу, какой имеет место в произведениях Короленко, несколько иначе, чем некоторые круги последней. По словам Максима Горького, круг „радикалов“, который он знал в Нижнем-Новгороде, высоко ставил „Сон Макара“, но тот подход к изображению народа, который мы знаем по рассказам „Река играет“ и „За иконой“, изобличал в авторе, по мнению радикалов, „вредный скептицизм“. Раздражал Тюлин, лентяй-ветлужанин, в котором активное отношение к жизни пробуждается лишь в момент опасности, но который так не похож на литературного мужичка, на Поликушку, дядю Миная и других мучеников, которыми „литература густо населила нищие и грязные деревни“. Вообще, поправки, вносимые писателем в привычные устоявшиеся суждения и мнения о народе, казались чуждыми и враждебными традиции. Явление, отмечаемое Горьким, имело и, бесспорно, имеет место и по сей день. Но здесь (в среде людей, говорящих не только именем, но и от имени народа) определенно могу сказать: следов *этого* рационализма нет. Ничего, кроме настороженности, одинаковой и к таким вещам, как „Сон Макара“, и к таким, как „Река играет“, даже таким, где фабулы нет, а драматизм скрыт в покровах серенькой будничной жизни...

Горький сам,—мнение его преисполнено здесь большого интереса,—крайне высоко ставит диагноз свойств и качеств

русского народа, какой находим мы в произведениях Короленко. Ставя на вид, что за двадцать пять лет литературной деятельности видел он и знал почти всех больших писателей, имел высокую честь знать и колоссального Толстого, Горький все же сознает, что Короленко стоит для него где-то в стороне от всех. «Мне лично этот большой и красивый писатель,—пишет автор воспоминаний,—сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать. Он сказал это тихим голосом мудреца, который прекрасно знает, что всякая мудрость относительна и вечной правды нет. Но правда, сказанная образом Тюлина,—огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан исторически верный тип великорусса» [1]). Было бы вне соответствия с действительностью предполагать, что таково понимание нашего пролетария вообще, равно как и то, что он чужд рационализма вообще. Совсем напротив, как увидим мы потом.

Но потому, что плоть от плоти этого народа не может не чувствовать всю неоспоримость и короленковской натуры, и короленковского живописания, и короленковского взгляда на народ, вы видите живейший интерес, не ослабляемый этим рационализмом. Говоря о рассказе «За иконой», местечковый ткач (из крестьян) пишет: «Короленко стал для меня любимым и дорогим писателем, как психолог души народа и народный богоискатель. Его образы так очаровательно близки читателю, в особенности читателю из народной демократии, что, кажется, автор сам лично проник в душу читателя, выведал все тайны ее, проникновенными глазами обшарил все уголки и обо всем, что нашел светлого в этой душе, громко поведал миру; слабости же, зло—не то, чтобы смягчил, а смешал с хохлацким юмором». А вот суждение об очерке «Емельян». «Он (Короленко) так верно, так правдоподобно рисует жизнь и народ, что идеализм, которым писатель окрашивает свои рассказы, как-то на месте, только в пору живому человеку, как, например, деду Емельяну».

[1]) „Жизнь и творчество Короленко“, сборник статей и речей к 65-летнему юбилею. Выше цитированная статья Максима Горького.

Таков писатель, как «реалист», как «фанатик правды». Но это еще не значит, что сам по себе поразительный под'ем созерцания у Короленко дорог нашим читателям. Полу-крестьянину дорог этот реализм в сочетании с народническим романтизмом. Будь писатель чистого типа реалист, характерный лишь по приемам изображения, которому любезен быт как быт, этот реализм был бы в их глазах неполон, беспризорен. Все дело в том, что художник-реалист видит то и слышит то, что видел реализм традиционный. Лишь пролетарий индустриальный отдает себе отчет в новом подходе писателя к народу и его изображению; большинству же важен тот факт, что народ, мотивы народнического художества составляют содержание этого реализма. Вся острота зрения, вся интимная правда Короленко для них в этом факте.

Вот, что для них важно в реализме Короленко.

«Меня в особенности привлекала и привлекает,—пишет рабочий завода Вулкан,—свойственная ему натура и психология непоколебимого борца чистой и великой идеи народничества. Надо признаться, что я, будучи пролетарием и марксистом чистейшей воды, сильно пристрастен к народничеству и многое разделяю в его идее и философии. Причина этому—еще не порвавшаяся у меня связь с деревней, ее психологией, экономикой и мое знакомство в молодые годы с передовыми деятелями движения. Так радостно для меня, что идею таких хороших людей, как народники, разделяет и непоколебимо несет их знамя тот самый писатель, чей рассказ «Река играет» я с таким увлечением читал». Точно так кончаются все рассуждения полукрестьян о реализме Короленко. Любопытна параллель, которую проводит рабочий-токарь между Л. Н. Толстым и Короленко. Никто, по его мнению, так глубоко не заглядывал в душу, как автор «Анны Карениной». Он не иначе именует Толстого, как «этот колосс», «этот титан». Но все же правда Короленко для него выше правды Льва Толстого. «На Толстого я, рабочий-токарь, смотрю, как на барина, хотя и высоко его уважаю. Короленко же это наш».

Воспринимать так, в «народническом» свете, реализм Короленко значит укорачивать художника-пантеиста. Многое и многое сближает творчество писателя с традициями семидесятых годов, художественный суб'ективизм его в том числе. В юношеской повести своей [1]) он сам нам рассказал, что влекло его к народу, как он подходил к психике его. Но не «социологический» это реализм семидесятых годов, и не в том сила Короленко, что об'ектом его наблюдений служил народ; исключительным предметом наблюдений писателя народ и не был. Но такова уже психология читательства. Если в данной среде повлиял данный писатель, то, конечно, значение имеют здесь и чисто умственные особенности читателя, но главное это то, что формирует его угол зрения вообще, понимание же писателя в частности—социально-психологическая ткань.

VI.

Нам скажут: какова бы ни была эта психология, она не есть нечто однородное даже в среде пролетариата; это знает всякий, кто становился лицом к лицу с одной стороны с прилавком, фабрикой, с ремесленным миром, с люмпен-пролетариатом с другой.

Бесспорно, разность социальных оценок налицо у наших читателей, высказывающих все эти суждения; но далеко не так осязательны очертания этих вкусов и построений. Есть оттенки чисто индустриальные. Есть полурабочие, полукрестьянские, люмпенпролетарские. Однако, дифференциация идей,—поскольку речь идет об искусстве, о литературе—относительно слаба. В общем, можно—и методологически это правильно,—выделить те нотки, которые родственны низовому читателю вообще, вызывают так много, в общем, ассоциаций, словом, указать те тропинки, которыми идет к писателю и его личности смешанного типа интеллигент-рабочий.

[1]) „Эпизоды из жизни искателя" („Слово", 1879 г. № 7).

Так об'единяющая нить, которая вела нас к реализму Короленко, ведет нас дальше к более углубленным элементам творчества писателя.

Выше цитировалось нами мнение, согласно которому писатель наш—романтик, но романтизм его на месте, не мешает ему быть правдивым, документальным. Другие идут еще дальше. В том, что Короленко привносит от себя, от своего жизнеощущения, они видят тот же реализм, то же служение «правде». В этом сочетании реализма и романтизма—основное очарование для них Короленко, как художника-сердцеведа. Короленко нигде не отрицатель жизни, но того и требует здоровое понимание ее; писатель везде утверждает радость человеческого бытия, но утверждает это в согласии с природой человека—вот их подход.

«В то время, как современные писатели Федор Сологуб, Ан. Каменский, В. Винниченко вытаскивают наружу у людей все отвратительное, грязное и говорят, что реальная личность такова, Короленко инстинктом великого художника нащупывает человеческое в человеке и показывает его миру». Конторщик из Самары, которому принадлежат эти слова, знает, что от писателя не скрылись темные стороны человека. По «Марусиной заимке», по другим рассказам ему известно, что и народ Короленко видит с самых дурных сторон его. Однако, «несмотря на тот преступный мир, среди которого он жил и который ему пришлось знать, он не нашел того, что находят в людях те писатели. Вера в человека живет все время в душе Короленко. Он сам верит в эту правду и невольно заставляет верить в нее людей, потому что его правда убедительна».

Трудно указать что-либо иное, иной момент художественного творчества Короленко, который бы так неотразимо западал в душу наших читателей, как это понимание природы человека, даже самого дурного. Мягкость стиля, язык тщательный и меткий, богатство красок и образов, лиризм, мастерская передача явлений природы—все это, в связи с бытовой тканью, не отступающей ни на шаг от реального живого человека, создает в них иллюзию неразделимой слитности ре-

ализма и романтизма Короленко. «Каждое прочитанное произведение Короленко вселяет в меня какое-то особенное чувство,—пишет переплетчик из провинции,—совсем непохожее на те чувства, какие вызываются чтением других русских писателей. Читая любое из произведений Короленко, *невольно и незаметно для себя* проникаешься высшим благородством, вместе с автором веришь в людей даже самых темных, отверженных и забитых. Как-то верится, так и чувствуется, что в человеке крепко живет правда, живая правда, готовая восторжествовать над злом. Хорошо делается каждый раз на душе после чтения Короленко».

Наборщик останавливается на той сцене в рассказе «В дурном обществе», когда мальчик очутился в критическом положении и Тыбурций является к судье, отцу мальчика, выручать его. «Здесь Тыбурций является в тоге героизма,—читаем мы.—Но разве 1906 год не показал нам «истинную природу» босяков и бывших людей?—скажет всякий, кто настроен трезво. Но будет ли тут вся истина в определении человеческой души? Черствы чувства этих босяков, преступны отношения их к жизни и к человеку, но вот в этот преступный мир попадает ребенок с чистым сердцем, с радостно удовлетворенным чувством приносит в этот мир облегчение в их страданиях, и душа этих людей выступает с лучшей стороны своей. Отсюда тот героический шаг, на который идет Тыбурций, отправляясь в дом судьи. «Вы узнаете, кого и чего можно ожидать от человека. Убийца не все же только убивает». Так говорит Тыбурций, и хорошо делается на душе. Теперь явились другие люди, с другой моралью. «Современный человек должен уметь все делать, — говорит Модест в повести В. Брюсова «Из дневника женщины»—и писать стихи, и убивать человека». Этим людям чужда и непонятна та вера в человека, которую дает нам в своих произведениях Короленко».

Что следует из такого подхода к человеку? Раз человек рождается с золотым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное на земле, раз до последних глубин своей природы открыт он на все хорошее, а зло, как таковое, есть лишь

налет социальной жизни, то «жизнь может быть радостна, должна быть радостна», как твердит писатель в каждом произведении. Отсюда «точка опоры необходимой душевной бодрости». «Конечно, человек создан для счастья, как птица для полета, и недаром сам писатель так любит жизнерадостных», и недаром—по прочтении любого из его рассказов—так светлеет на душе нашего интеллигента-пролетария.

Это чувство, ласковое чувство веры, ценишь во все моменты жизни. Но во много раз дороже оно в момент апатии и упадка, в момент, когда эти суждения о Короленко высказывались на бумаге. Насколько это так, видно из того, что редкая рукопись об этом ничего не говорит.

«Извозчики имеют обыкновение, когда они сильно озябнут,—пишет о себе босяк-нижегородец,—согреть себя стаканчиком вина. Точно так же и я, когда у меня начинает застывать душа под морозами жизни, когда на дороге жизни слякоть и ноги мои уже стынут в грязи; когда с неба моросит мелкий дождик и не видно солнца, закрытого тучами: люблю отогреться стаканчиком Короленки. Он любит жизнь и верит в человека. Я люблю слушать сказки Короленко о счастье человека. Сказки эти (а это сказка, ибо мечта о солнце в осенний пасмурный день—сказка) вливают в жилы мои огонь бодрости».

«Мне хотелось бодрого, живого, — пишет токарь по металлу,—и это я находил у Короленко. В мой период душевного развития жизнь, как и литература, пошатнулась к распаду. Читать мне приходилось все, что только попадало. Читал Леонида Андреева и Сологуба, тоже не без интереса. Но там какой-то больной в душе осадок оставался. В этот момент русской жизни, когда мы так ныли, Короленко дорог для нас тем, что дает нам бодрость и светит во тьме, как светят его огни». «В дни уныния и упадка—вторят другие—читайте, товарищи, Короленко».

Вот еще выдержка. «Его душа, как сфера небесная, реагирует на звуки земные. И все, что проходит перед глазами Короленко, находит сочувственный отзвук в его душе.

Но на этой арфе полнее и звучнее всего отдаются песни счастья и мучительной тоски о нем. Почти все его герои об‘единяются в одном чувстве, в стремлении к свету. Вот слепой музыкант тоскует о свете, которого он никогда не видел, но только «мучительно чувствовал». И многие его герои стремятся к свету, которого не видели, но мучительно чувствовали И это стремление к чувствуемому свету выбивает людей Короленко из колеи обычного. Она толкает искать праведной веры «Убивца», бросает Микешу в тюрьму вместе с бродягами. Полубезумный Диац не смог устоять против мощного призыва бунтующегося моря и бросился на скверной лодчонке рыбака в бурную ночь искать своего счастья. И тот же бессознательный порыв толкает Яшку и саратовского мещанина претерпеть мученичество. Счастья, счастья! Кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябания, думает офицер из «Мгновенья». И, как заключительная фраза этого порыва-вопля, раздается задумчивый голос феномена: «человек рожден для счастья, как птица для полета».

И — что, может быть, характернее всего—это то, что, по мнению этого читателя, сочувствием земному счастью, верой в то, что счастье—естественное право человека, а зло только налет на душе человеческой, этой нераздельностью реализма и романтизма писатель отдает все ту же дань народу. Может быть, дороже всего во всем этом нашим пролетариям то, что слова «человек рождается с ясными открытыми глазами и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное на земле», читают они в «Сне Макара».

Потому, что они вышли из народа, пережившего безличие крепостного права, что их личность калечили так, как не калечили личность ни одного человека, принадлежавшего к привилегированной среде, нравственное вдохновение Короленко приобретает для них весь свой интерес, всю свою значительность в связи с вопросом о статике и динамике русского народного характера. Ведь и в их жизни не одно смирение и тьма, есть в ней не мало действенно-высокого — гораздо больше, чем это обыкновенно думают и видят. Не народ ли,

из которого они происходят, создал богатейший былинный эпос, создал песни, которым подобных нет? Не он ли выказал не раз праздничные стороны своей природы? И вот в каждом человеке из народа, даже самом забитом, умеет писатель отыскать золотое сердце: найдет, осветит светом своего дарования, и станет вам так понятна и ясна и темная душа полудикого якута, и стихийный, просыпающийся лишь в минуты опасности от своей созерцательности Тюлин. Заметить незаметное, элементарное и массовое, вдруг сделать незаметное значительным и важным силой художнического своего внимания,—вот «традиционно-гуманная задача» Короленко и вот эта-то способность проникнуть в тайники серой глубины, сделать незаметное заметным в широком фарватере русской жизни,—в народе,—и покоряет нашего читателя, овладевает лучшими сторонами его души, заставляет отдаваться тем чувствам, которыми жив сам автор. Потому и верит автор в красоту души народной, что «всюду хочет видеть жизнь и все воспринимает, как живое. Живой у него лес, живое небо, звезды, ветер, трава—все живо. Жива душа народная»; но не в смиренной наготе, а с теми атрибутами личности, без которых нет счастья, а есть летаргия духа, отравляющая душу народную. «Потому-то я люблю читать его, — пишет бывший слесарь, увечный,—что его голос в минуты упадка и слабости поет мне о грядущем дне... Дерзай, пролетарий, уже близко.. Не сонные, не робкие созидают будущее, а люди, в которых кипит пламень веры».

Итак, реализм Короленко «человечен», «народен», исполнен красоты в своем снисхождении к простому человеку. Тут художник полностью слился с человеком: как видел, как чувствовал Короленко, так и писал он. И потому писатель умеет извлечь все светлое, поднимающее ввысь из души человека, что таков уже склад самой писательской души. Недаром так откровенно, так доверчиво выявляет он свою личность в своих произведениях, недаром при всех условиях и сам «старается найти какую-нибудь светлую точку, обращается к ней всем существом своим и говорит о вере в человека и его счастье».

VII.

Тяжелое и мрачное этой жизни не ускользает от ласкового глаза Короленко,—это знает наш читатель твердо. Конечно, человек создан для счастья, как птица для полета,—цитирует он,—только счастье не всегда создано для него. Подрезаны крылья у этой птицы... Вопреки привлекательной природе человека, в современной жизни человек человеку волк, и в народе в такой же степени, как и во всякой другой среде. И вот писатель вскрывает перед нашим пролетарием драматизм процесса искания счастья человеком, его искривления и выпрямления, его борьбу, отдавая скорби о несовершенстве жизни и людей ту же дань внимания, что и привлекательным тайникам души.

Конечно, читателю здесь ближе всего в Короленко то, что сливает творчество писателя с музой Некрасова. То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть,—говорит поэт. И то же слышится им у Короленко. Через годы ссыльных скитаний, через ледяные тундры пронес Короленко свою любовь. Любовь к человеку есть особенный талант писателя. Надо видеть не просто то, что есть, а насквозь с любовью. Короленко так именно и «созерцает» человека и природу, стараясь найти в этой любви опору художнического равновесия своего. Но еще лучше то, по мнению нашего читателя, что—наряду с великою любовью—не забыл писатель и про ненависть, как забыл Лев Толстой. Вне этого сочетания активное, действенное отношение к жизни невозможно.

«Если тебе когда-нибудь придется судить вот его,—говорит Тыбурций сыну судьи, показывая на своего мальчика,—то вспомни, что еще в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе, что уже тогда ты шел по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем-бесштанником и с тощим брюхом». Процитировав это место из рассказа «В дурном обществе», конторщик одной московской фирмы продолжает от себя: «эти два пути, два обособленных мира не дают художнику уйти

от земли, подняться в небо и оттуда смотреть спокойно на жизненную борьбу. Это два стана: у одних есть все—и деньги, и силы, и закон, у других ничего нет, кроме правды, и автор на стороне последних».

«Стоит только перечитать,—читаем в другой рукописи,—его чудный «Лес шумит», как вы встанете опять на стороне тех, у кого правда, справедливость. Вам не жаль ни помещика, убитого в лесу, ни его верного слуги, оставшегося там же, но вы невольно будете с Романом, у которого отбивают радость жизни, счастье любви; и с Иваном, у которого хотят отнять мечты о любви... Несомненно, эта легенда взята из жизни. Много было такого во время крепостного права... Шумит лес, шумит и днем, и ночью, шумит зимой и летом... Шумят в голове мысли, уносятся далеко назад в ту старую старину, и перед глазами, как живые, стоят обиженные Роман и Иван, у которых все-таки хватило силы защитить свои элементарные права».

Важно не одно то, что Короленко «на стороне униженных и оскорбленных». Толстой тоже был на этой стороне. Но Толстой создал теорию непротивления злу в восьмидесятые годы, когда эта теория так пришлась по времени. Короленко же уже тогда говорил нам, что мир не может быть куплен иначе, как борьбой, что боевая ненависть имеет не меньший смысл, чем самая высокая любовь. Оттого-то «художник-человек,—по словам одного рабочего,—человек с расширенной душой и с расширенным сердцем, вместил в себе больше самого себя. Несмотря на мягкость свою, на углубленное понимание человеческих поступков, не опустился он до оправдания злого. Возьмите хотя бы «Убивца». Вложил в него автор душу мягкую, разрыхленную христианской моралью. И все-таки убивец совершает насилье, дабы помешать насилью. И в художественной деятельности Короленко—великий воин против всего, что калечит душу человеческую, что гасит в ней огонь бодрой творческой жизни. Я люблю его потому, что не залила в нем волна мерзости людской огня. И он, как светильник во тьме, светит всем желающим выбраться из мрака».

«Человек рожден для счастья», читаем в другом месте.— В чем же счастье? Драгоценнейшее надо оберегать—свободу. И чтобы оберечь свободу и добиться ее, Короленко из поэта, подслушавшего сказки природы, понимавшего говор леса, ветра, трав и звезд, из поэта мирного счастья, мечтающего о всеобщем братстве, которому ясное небо нашептывало о «вечном законе мира» и «люди—братья, а божий свет хорош», преображается в льва пустыни, у которого отняли добычу. И великая любовь его к людям раздувается ветром ненависти к угнетателям; и несется вдохновенный призыв-песня к борьбе и мятежу. Голос его становится подобным грому. Устами Менахема, сына Иегуды, он обращается к «смиренным», увещевающим покориться угнетателям и прощать их: да, воду не заливают водою и не тушат огонь огнем. Но камень дробят камнем, сталь отражают сталью, а силу силой. И в глубину темнеющих небес, к лучезарным далеким звездам несется скорбная и страстная молитва поэта-миролюбца, осененного скорбным пониманием великой трагедии борьбы».

Этот активизм — действенное отношение к жизни—Короленко противопоставляет не одному Толстому восьмидесятых годов. И «в разгар вульгарного индивидуализма», когда в воздухе запахло новой теорией непротивления, он зовет к протесту и борьбе. «В то время, когда после ухудшения всех надежд начался развал в русской литературе, и различные порнографы, кошкодавы и проч. стали героями дня,—пишет самому писателю группа двинских рабочих 37 чел., — в то время, когда почти вся русская литература модернизировалась, и эти господа стали глумиться над священными заветами старой русской литературы, вы твердо с гордостью защищали старое знамя. Рабочий класс оценит по достоинству ваши заслуги перед родиной. Желаем вам и в дальнейшем продолжать борьбу, которая найдет отклик и активную поддержку в среде передовых рабочих». «Возвышенный завет семидесятых годов,—вторит им крестьянин-портной,—пронес писатель в целости и сохранности и через эпоху восьмидесятых годов, и через черную полосу 1906—10 годов, когда большинство

интеллигентов отрекалось от того, чему они недавно поклонялись. В этом его великая натура».

В этом смысле толкует читатель и короленковские «Огоньки». «Мы вместе с вами верим,—писали Короленке рабочие-печатники г. Петрограда,—что огни не только впереди, но и близки. Наляжем сильней на весла и доедем мы до этих «огней». Пусть же ваш талант и вперед горит разноцветными огнями, которых потушить никому не дано». Редко, кто не пишет об этих «Огнях». «Где-то в глубине его души,—полагает рабочий-ткач,—поселились «огоньки», яркие, живые, которые освещают ему и мир, и людей. И всякий, кто прочитал произведения Короленко, будет всегда с ним, так же, как он, будет налегать на весла—на огни, ибо хотя жизнь течет все в тех же берегах, а огни еще далеко... все-таки... все-таки впереди—огни». «Эта дивная поэма «Огни“...—пишет рабочий стеклянного завода, посвящающий свои досуги поэзии,—что может быть лучшего для тех, которые стремятся до гроба вперед и вперед к солнцу и свету. Разве я, бедный песенник, мог бы что-нибудь написать, если бы не эти огни, которые так неудержимо манят собой и заставляют позабыть ночи работы и дни унижения, мрачные скалы и пороги, которые целую жизнь давят нас своей бесчувственной громадой».

«От любви к ближнему Короленко переходит к любви к дальнему», читаем мы в одной рукописи. Однако, эту любовь к дальнему читатель упрощает. Какой другой писатель—да еще традиционный—в такой степени свободен от рационализма, как Короленко, умеющий так подняться и поднять своего читателя до сознания чего-то более важного, чем отвлечения нашего рассудка? В одной из публицистических статей своих писатель говорит, что человек живет не для того, чтобы служить материалом для тех или иных схем, и весь *художественный* облик Короленко говорит о том, что не столько важен процесс жизни по тем «конечным целям», которые мы себе строим, сколько сам по себе; что дорог человек, а не его доктрина. Наши интеллигенты-рабочие ставят вопрос о том,

какова перспектива ближнего и дальнего у Короленко,—об этом можно говорить и применительно к художественным произведениям писателя,—но углубленного подхода мы не видим.

Итак, Короленко учил читателя не только любви, но и ненависти. В наши дни, однако, из писем и заметок о Короленко обратила мое внимание статья рабочего-печатника, строящего это положение наоборот. Великий смысл произведений Короленко оказывается для автора в том, что он учил не только ненависти, но и любви. «В сердце Менахема»,—героя «Сказания о Флоре»—любовь и ненависть горели вместе, как яркое пламя,—читаем мы.—Любовь была пламенем, а ненависть ветром. Ибо по мере того, как ненавистный гнет усиливался, Менахем отдавал свое сердце народу,—сердце, горевшее любовью. Если же сравним ненависть с пламенем, то любовь была бы ветром. Эта вторая часть формулы преобладает в настроении писателя-гражданина и, к сожалению, в очень малой степени разлита в нашей жизни с ее жестокими нравами».

VIII.

Короленко представляется нашему читателю художником-аскетом, для которого то, что отвлекает от «служения народу», не существует.

Конечно, писатель имеет свои взгляды и убеждения, но в то же время он не только «знает», что психология сложна, но умеет интимно, проникновенно нащупать эту сложность. Отсюда его дар постижения *всего* человека. Недаром он сам, писатель, принадлежит к числу натур, ощущающих в себе закал души, данный заранее, с большей непосредственностью, чем то, что они приобрели от среды, от духа времени. Инстинктивно-органическое не вырабатывает среда и воспитание. Вот эту-то сторону художника, над которым краски и тона имеют такую силу, этот процесс углубления в себя, это раскрытие тайн индивидуального бытия, всю эту сложность Короленко, свободную от власти запретов аскетизма, слабо воспринимает

наш читатель. Фигуры Убивца, Яшки и других представляют глубоко психологический интерес, но как-то глухи к иррациональным силам жизни и психики наши пролетарии, к тому, к чему так насторожен глаз Короленко.

В одной заметке находим мы параллель между Убивцем и толстовским Акимом и Каратаевым. Пишущий находит, что Убивец глубже, драматичнее последних в своих исканиях правды. Но противоречие правды божеской и неправды человеческой он об'ясняет лишь тем, что мысль народа бьется «в тисках невежества, незнания». Для него религиозность, как психическая категория, которая выработалась и укрепилась в человеке тысячелетиями, кризис верующей души лишь в том, что она не знает, где «правда». Вот почему идея отрицания, когда правдоискатель говорит: «Бог-то! Давненько я с ним, с богом-то, не считался», для читателя нашего убедительна и разумна: она ведь плод упорных дум над «неправдой русской жизни». Мысль народа, путем таких усилий, ищет выхода из противоречий жизни. Когда она разберется, в чем идеал «справедливой жизни», будет конец этой нестовщине и нигилизму. Конечно, это так, но все же в этом не *весь* образ Короленки с его живой интуитивно-психологической сердцевиной.

В одной лишь рукописи нашли мы своеобразное толкование драматизма в короленковском творчестве. Писатель не склонялся перед неотвратимым роком, — напротив, как мы видим, он убежден в том, что историческая необходимость ведет к счастью человека. И в литературе о Короленко установилось мнение, что он не был склонен к концепции трагического. И вот как откликается на эту тему один из наших рабочих-интеллигентов. Конечно, рок, внешний или внутренний, предопределение,—все это понятия, чуждые, и по его мнению, Короленко. Он борется с ними, оспаривает их, эти понятия, но все же это не равносильно тому, что писатель трагической концепции совершенно чужд. Совершенно наоборот: «Мне приходилось читать у Чуковского, что у Короленко отсутствует трагизм. Не знаю, откуда это взял Чуковский. У Короленко

чувствуется гораздо более трагизма, чем у прославленных создателей трагического. Это недоразумение я об'ясняю тем, что у Короленко нет ямы, нет безвыходности; весь он одарен верой в победу жизни и солнца. Но разве оттого, что будет солнце, переживанья мокнувшего и мерзнущего под дождем и снегом жизни менее трагичны? Да, солнце будет. Свет и тепло наступят. Но пока гибнут люди, и нет им спасения от холода жизни. И в торжественную песню веры в грядущее, в солнце врывается скорбная нота великой печали о настоящем. Как-то я читал статью о трагедии Софокла «Царь Эдип». Клянусь вам, что весь ужас царя пред свершившимся роком, когда он узнает, что предсказание оракула сбылось, кажется мне пустяком перед великой трагедией «убивца». А разве не полна живого драматизма сцена «В дурном обществе», где мальчик, ожидая от отца наказанья за пропавшую куклу, чувствует, что, свершись это, он будет ненавидеть отца всю жизнь? Чуковский поместил в трагическое почему-то только трагедию разрушения души и совершенно просмотрел трагедию созидания. А рассказы Короленко именно и полны трагедии созидания. Он с особенной любовью останавливается над трагическим самосозиданием надломленных душ, над процессом, когда искривленное от каких-то причин деревцо медленно оправляется и выравнивается. Нет, книги Короленко полны трагизма. Но только он знает не одни провалы ужасного и злого, а и вершины горения и надежды. Ужас смерти и разрушения преодолевается у него глубокой верой в жизнь и воскресение. И его собственная трагедия, трагедия поэта, чувствующего и призывающего жизнь, во имя жизни сражающегося с смертью, примиряется глубокой верой в живого человека, созидающего живое».

Я уделил этой заметке место целиком. Этот человек имеет все права на наше внимание по вопросу о трагическом. Жизнь его самого представляет собой если не трагедию, то глубокую бытовую драму. Это бывший босяк, большую часть жизни проведший по ночлежкам. Обстоятельства жизни его сложились вместе с тем так, что он рано пристрастился

к книге, а воображение и память, которым мог бы позавидовать и художник, и философ, делали свое дело безостановочно и ярко. И вот в итоге—ясный, благородный ум и неискалеченное сердце и организм; мысль, сознающая «не одни провалы ужасного и злого, а и вершины горения и надежды»; может быть, и талант, даже наверное талант и вместе с тем—яма, в которой не только мысль о таланте, но и какая бы то ни была мысль, как у калеки из «Парадокса», превращается, в лучшем случае, в «пародокс». Да, наш люмпен-пролетарий с неменьшим правом говорит о трагедии, чем Залусский о счастье человека...

IX.

Интеллигент-рабочий — насколько он представлен нашим материалом—высоко ставит литературу, ту художественную литературу, которая вдунула в него душу, учила мыслить, чувствовать и понимать. Правда, не все ценности свои донес до него Короленко, не все огни, которыми сверкает этот глубоко художественный талант. Но для него ясно, как для всех, кто любит литературу, что даны крылья писателю для того, чтобы творить нетленное. И вот вопрос, который стоял перед многими и многими каждый раз, когда писатель откладывал в сторону кисть художника, чтобы браться за перо публициста—вопрос о прекрасных, но ненаписанных произведениях, о неродившихся литературных детищах Короленко стоит и перед нашим читающим рабочим.

«В этот промежуток времени,—пишет рабочий-белорусс,—я только читал его «Огоньки», которые служат символом разделяемой мною идеи национально-культурного возрождения моей родины. Но одних «Огоньков» для меня становилось мало, и я ждал новых произведений. Но в силу судеб,—лучше или хуже это для нас, отвечать я тогда затрудняюсь,—великий писатель как бы оборвал нить своей беллетристической деятельности и перешел к публицистике и служению родине. Чтобы следить за ними, я не переставал доставать журнал «Русское Богатство». Место же, покинутое им, заняли другие мало любимые и уважаемые мною беллетристы», с грустью добавляет белорусс.. Но шли годы. В нем, разумеется, происходит перемена. Он «больше начал уделять внимания газетам, журналам, публицистике, отражению современнейшей действительности». И вот, чем больше он углублялся в «действительность», тем понятней ему становилось то, что происходит с Короленко. Если бы писатель родился не в России, а где-либо за границей, он не забыл бы,—по мнению белорусса,—для чего даны ему крылья. Неродившиеся его детища родились бы, ненаписанные произведения были бы написаны, и биография его была бы биографией художника. Но родился Короленко в России, и биография его есть не только история его художественных творений, но и история тех дел, на которые не может не откликнуться Короленко и как публицист, и как гражданин и деятель.

Нельзя сказать, чтобы Короленко, как публицист, в такой же мере был знаком пролетарию, как Короленко-художник. Но кто вдумывается в публицистику его, в один голос говорят, что близоруко видеть в Короленке лишь художника, и не потому, что и публицистика занимает место в литературной деятельности его, но потому что это художник и публицист равной величины и равной силы выражения.

Это, впрочем, не мешает им и публициста, как и художника, воспринимать не во всей сложной полноте. И нам это понятно: интеллигенция рабочая формировалась в рамках наших программных настроений, и им ближе то, что говорит писатель, чем то, *как* он это говорит.

Отличительная черта, придающая прелесть публицистическим статьям Короленко, состоит в том, что он тот же в них, что в своих очерках и рассказах, что нигде не видим мы упрощений. Подобно тому, как жизнь претворяет он в образ, так всякую идею укладывает он в рамки жизни, эластичной, неугомонной, ибо это человек борьбы не предначертанной, не партийной и программной. Это не значит, что Короленко-публицист исходит лишь от фактов, явлений действительности, не поднимаясь до «идей». Нет, в публицистике Короленко не

мало идей высоких, плодотворных... Но как бы ни были эти идеи высоки и плодотворны, публицист всегда стоит как-то выше идей своих. Это, бесспорно, самый почвенный, самый жизненный публицист в России, независимо от основ его мировоззрения. Оттого-то от поучения, от рационалистических предначертаний он так же далек в своих публицистических статьях, как и в художественных произведениях. Вот этот-то дух статей, делающий их столь же высоким искусством, как и создания его художественного гения, не отразился в суждениях наших читателей.

Здесь—в области публицистики—сгущается уже та дифференциация, которая имеет место в среде интеллигенции пролетариата. Короленко характеризуется как«боец, хотя и не стоящий на классовой точке зрения» В этом, например, духе редактировано приветствие общего собрания рабочих печатного искусства, посланное В. Г. Короленко. Приказчик обувного магазина пишет: «Читать его статьи есть истинное наслаждение, но они не овладевают с той силой, с какой захватывают статьи и рассказы Максима Горького». И это потому, что Максим Горький стоит на «пролетарской точке зрения», а Короленко «не ставит перед читателем тех широких мировых вопросов».

Разумеется, и в публицистике—как и в художественном творчестве Короленко—читатель наш угадывает не мало настоящей души писателя. Так, «его статьи,—говорят они,—вносят те же краски и переживания в будничную жизнь людей, манят к той же светлой дали, что и художественные произведения Короленко»; это «та же любовь и ненависть», «та же вера в человека». Еще одна особенность. В статьях своих писатель кажется им «умереннее», чем в своих художественных творениях. «Демократически настроенный писатель», «писатель-демократ»—вот выражения, в которых видится им публицистический облик Короленко [1]). В наши дни такая оценка

[1]) Цитаты из него берут преимущественно такого рода: „Огромная мужицкая Русь требует постоянной, дружной и напряженной работы, а мы, общество? Что же мы сделаем, чтобы осветить эту тьму?“ („Павловск. очерки“).

едва ли представляет собой нечто «лестное». В те же времена это и ценили наши пролетарии в публицисте-Короленке. И как еще ценили!

Мы все помним, как плакал Лев Толстой, читая «Бытовое явление» Короленко. А вот рассказ о том же, как передает нам плотник: «Его своеобразность демократа-публициста *проста, понятна, близка душе*. Помню, какое впечатление было произведено на меня его статьей «Бытовое явление», как я дрожал от ужаса и злобы, давившей всю душу, читая *то*, что *художник нам нарисовал* своей мощной кистью, заставив взглянуть на ту картину ужаса, творимого людьми, к которой мы уже привыкли, смотрим, как на бытовое явление, на рок судьбы людей».

Приказчик из Самары рисует момент, в какой появилась эта статья, чтобы оттенить еще рельефнее значение ее. «Казалось, все живое умерло, попряталось по закоулкам, и только хищные шакалы тянулись к трупам жертв, чтобы справить свою черную тризну...

Пусть жены ждут расстрелянных мужей,
Но плакать вслух не смеет побежденный,—
Не смей смущать, о город покоренный,
Святого сна владык и палачей.

И вдруг «Бытовое явление» Короленко. Среди этого безмолвия только Короленко, будучи верным сыном своего отечества, говорил громким голосом и языком. Администрация не пришла в трепет от этого шума. Но ее ухо привыкло уже к безмолвию и тишине. И постарались зажать рот писателю-демократу. Отдельный выпуск «Бытового явления» конфисковали. Но «Бытовое явление» от этого не потеряло свое значение в глазах рабочих и крестьян». Когда писатель был оштрафован как редактор журнала «Русское Богатство», в котором печаталась статья, читатель не остался равнодушным. «Как рабочие отнеслись к писателю, видно из того, что штраф, наложенный на Короленко, был уплачен подписчиком журнала. Рубли и копейки присылали в редакцию и рабочие, кто сколько мог и кто сколько имел».

У нас в России нередкость услышать снисходительное слово по адресу Короленко: он о таких вещах хлопочет, совсем элементарных. Но интеллигент-рабочий понимал это элементарное, что защищал в своих статьях писатель. «Разбудить общественную совесть, расшевелить гражданина в человеке—такова задача Короленко-публициста. Там, где совершается беззаконие, произвол и насилие, там, где нарушают элементарные права человека, там и горячее сердце Короленко. Писатель повсюду поспевает» (рабочий Обуховского завода). Что особенно импонирует нашему читателю, так это то, что Короленко не меняет взглядов, как и средств и способов борьбы.

X.

Хочется благодарить Короленко, как благодарила его группа лиц во главе с Репиным, «за его прекрасную жизнь»,—цитировали мы выше.

Да, и за жизнь благодарит наша рабочая интеллигенция, за *дела* несокрушимо бодрого и неисчерпаемо волевого человека. Не потому, в свою очередь, что литература его—одно, а поступки его—другое, а потому, что нет произведения, которое не говорило бы о делах писателя, и нет дела, которое не говорило бы о произведениях его.

Когда писатель отрывался от рассказа, чтобы подойти к жизни, в качестве боевого публициста, наш читатель еще задавал себе вопрос: хорошо ли, правильно ли, что писатель приносит эту жертву, которой требует от него жизнь с ее кровавыми пятнами; хорошо ли, правильно ли, что его место занимают мало любимые и мало уважаемые беллетристы. Но когда писатель отрывался от стола, оставляя свой домашний кабинет, чтобы защищать евреев, вотяков, сорочинских крестьян, чтобы «кого-то непременно защитить», нашим читателям и в голову не приходило, чтобы единый, цельный Короленко чем-нибудь здесь нарушался. Так и должно быть, ибо, в их глазах, это писатель, вознесший звание литератора так высоко, как никакой другой, ибо это писатель-деятель в истинном смысле этого слова.

Это, полагаю я, имеет в виду молодой слесарь, когда пишет: «Я молод, я только начинаю вступать в жизнь и делать свое дело. Мне нужно изучать, присматриваться ко всему, что есть в жизни, и прежде всего к людям. И когда присматриваешься к тем людям, которые стоят на видном месте, то есть среди них один, на которого я смотрю с уважением и любовью. Этот человек—Владимир Галактионович Короленко. Он—мощный. Когда слушаешь его звучные слова, то уже светлее кажутся темные будни и бодрее начинаешь глядеть вперед. Но еще бодрее становится на душе, когда думаешь о делах этого человека. Когда наше время отойдет в область воспоминаний, то будущее поколение его определит как время, в которое жил писатель Короленко, который как писал, так и жил. Много у нас есть писателей, и многие из них пишут хорошо, но чьи дела так очаровывают, как и произведения?»

Нашим читателям симпатично, что писатель не стал петербуржцем. «Короленко—деятель провинции и деревни. Он не любит больших столиц и их жизни. Его тянет туда, где «река играет», где «лес шумит», где движется толпа богомольцев по пыльной дороге, «за иконой»... Кто не помнит Мултанского процесса вотяков в Вятской губернии, когда писатель взялся защищать бедных, невежественных язычников и добился их оправдания? А голодный год в 1891—1892 году? А филоновское дело? *И все это—во глубине России*» (артельщик). Все это местные дела, но дела, которым писатель сообщил характер всероссийский. Это не «культур-трегерство» в глазах интеллигенции рабочей. «Все передовое русское общество невидимыми нитями связано с ним, как с Толстым, и чувствует его близость»; «Короленко в настоящее время является таким же, как был Лев Толстой, но вносит в свою деятельность больше здравого смысла»—параллель с Л. Н. Толстым вы встречаете неизменно все время, что идет речь о Короленко как общественном деятеле. Оттого-то «вошло в привычку» обращаться к Короленко и, прежде всего, к Короленко

и в Петербурге, и в Москве, и в Нижнем, и в Полтаве. Оттого-то к «голосу Короленко прислушиваются не только люди одинакового с ним образа мыслей, но даже и враги его—такой это светлый деятель, и так хороши его дела, его «не могу молчать» на всякое «бытовое явление» наших жестоких дней».

Оценку этого размаха человеческих деяний, непрерывной цепи воплощений слов в общественные дела, дает в особенно трогательных выражениях кожевник-белорусс:

«Когда Россию, мыслящую Россию,—пишет он,—постигло великое несчастье—смерть Льва Толстого,—я, хоть и не разделявший его воззрений на жизнь, мораль и философию общественных отношений, побледнел и испугался: будто бы подо мной дрогнула почва, и задал я себе вопрос: что будет теперь без Толстого? И горькую неведомую никому слезу уронил на мокрую, грязную землю. Стало жутко, и я начал искать людей в литературе, нравственный авторитет, на кого бы опереться. Но искать долго не пришлось—я вспомнил, что жив и бодрствует Короленко. Короленко, как бы получивший великий дух в наследство от Толстого, во всем своем величии воснесся над Россией, и—я чувствовал—к нему тянулись руки со всех концов, сердца всех ищущих людей. В это время мощный голос Короленко, окрестив непрекращающиеся казни в России бытовым явлением, обрисовал весь их ужас. Вслед за тем выплывал на сцену кровавый навет на евреев. И первым протестантом поднял голос Короленко... Писатель вырастал в моих глазах в великого и славного мужа, который всецело подкупил, очаровал меня своей личностью. И я не знаю, перенесу ли я ту утрату, утрату уважаемого Короленко, если только рок заставит меня пережить ее. О, я не допускаю и мысли об этом! Как хотелось бы мне быть чудодеем, дабы я смог обессмертить живую совесть моей родины, ибо что тогда будет стоить моя родина? Где она найдет таких сынов?»

Слова эти были писаны в 1913 г., за восемь лет до смерти Короленко.

СВОЙ.

Максим Горький.

Очерк первый.

Издалека (1912—13 г.г.).

I.

Нововременский фельетонист, предсказавший еще перед войной, что в «один прекрасный день мы узнаем что-нибудь неожиданное о Горьком», оказался пророком в своем отечестве. Давно ли Максим Горький был «кончен», и шаблонное мнение по отношению к нему было так прочно, что верить в его воскресение—по крайней мере тем людям, о которых еще Щедрин говорил: «глуп—глуп, а культурность свою тонко понимает»,—было трудно. Нынче же «второе пришествие» певца творческой дерзости.

И—что именно примечательно—это не каприз читателей нашего круга, который вчера потерял в сердце своем, сегодня нашел писателя, не то поветрие, которое Н. К. Михайловский вышучивал: «сейчас брюнет, сейчас блондин». В то время как констатировалось, что в библиотеках, в читальнях, предназначенных для привилегированных кругов читателей, везде и всюду на первом месте—Вербицкая, (впереди Толстого Вербицкая и спорит с ней один Амфитеатров), в это время в рабочей среде было не то. Мы имеем в виду 1912—13 г.г. Согласно отчету рабочего общества «Наука», на первом месте Горький (затем Чехов, Толстой). Согласно отчету библиотеки рабочего просветительного общества «Знание», впереди—М. Горький (затем Л. Толстой). Согласно отчету библиотеки

рабочих металлического производства, опять-таки впереди Горький с Толстым. В отчете бакинской воскресной школы Горький рядом с Некрасовым (выше их Толстой, Чехов). Что же касается г-жи Вербицкой, то ее в рабочих отчетах нет ни впереди, ни позади. И везде, где масса имеет возможность поднять свой коллективный голос, Максим Горький на первом плане. Много лет читатель-рабочий наружу не вылезал, но едва стал вылезать на свет божий, первая членораздельная речь его: берите, кто хочет, «Ключи счастья», нам оставьте—«Мать».

Давно ли чуть не единственным выражением отношения к художнику со стороны рабочих кругов являлось «Открытое письмо», напечатанное в 1908 году в «Труженике»,—письмо, в котором рабочие приветствовали в авторе «бывшего рабочего, а теперь певца расцвета и радости жизни не в мистически исковерканном виде, а во всем ее грандиозном об'еме, начиная от былинки полей и кончая эфиром неба»? Правда, в это время тянулись к нему с своими рукописями крестьяне и солдаты, извозчики и прачки, трубочисты и горничные,—та подлинная Русь, которую именно имел в виду поэт, говоря: «ты и убогая, ты и обильная». Но об этом мы узнали в 1911 г. Теперь же нет рукописи рабочей, в которой бы не упоминалось имя Горького, нет газеты рабочей, печатной или рукописной, в которой бы рабочие не сообщали о нем сведений, не разбирали его произведений вдоль и поперек, не выражали того доброго чувства, которое так окрепло за долгие годы безмолвия. Не состоялось собрание—достают последний рассказ Горького, и затевается чтение вслух. После чтения—споры. Составилась рабочая группа—начнут с «Мещан» либо «На дне»[1]). То и дело наталкиваетесь на коллективные письма, в которых рабочие и группами, и в одиночку изливают ему свои сомнения, свои боли.

И любопытна та связь, в какой стоит это «оживление» писателя, отпетого и похороненного в некоторых верхах, с

[1]) См. нашу статью „Рабочая интеллигенция и искусство“ (Вестник Европы 1913 г. № 8).

оживлением низов. Чем громче голоса, идущие из рядов тех, кто предоставил «почтительно нам погружаться в науки, в искусства», тем яснее возврат к Горькому.

Горький—писатель, который не только лицом к лицу подошел к самому дну народной жизни, прильнул к ее психологии, но и пережил всю глубину вопроса, как дальше жить. Вот почему как раз в момент, когда реакция опускала свой покров на Русь, убогую и обильную, Горький был наиболее бодр, наиболее жил трагической мощью низов, нащупывая тот пульс, который — вопреки мертвой поверхности, усеянной костями — все-таки бился в мятежной глубине. Растет Русь прежде всего психологически, и вместе с нею растет Горький—прежде всего психологически. И кому же, как не читателю-другу — читателю рабочему — не почувствовать самое важное в эволюции Горького: ее психологическую ценность, ее органический характер, в силу которого такой художник, как М. Горький, не может не остаться художником даже в самых сложных переживаниях.

И вот в низах опять веянье духа живого, и опять М. Горький окружен ореолом. И здесь знают, что художник перестроил свои симпатии, свои антипатии, что, приспособляя свое художественное существо, художник метался и горел. Хотя читатель-рабочий с известной высоты, можно сказать, «варвар», но простое чувство подсказывает этому «варвару» оценку властителя дум его. Здесь дорого и удачное, и неудачное; здесь и страдают, и радуются с писателем. Здесь непосредственно, не мудрствуя лукаво, чувствуют, что то и другое психологически важно для писателя и, как без пятен не бывает солнца, так без неудач нет Максима Горького.

Если это так, то особый интерес возбуждает вопрос о том, что же пишут, что говорят читатели-рабочие в отличие от мнений, установившихся в интеллигентских кругах. Правда, точный ответ на этот вопрос невозможен. Для этого нужна анкета, детально разработанная, широко поставленная; но точный ответ и не важен. Как я говорил уже, полу-крестьяне, рабочие, приказчики в своих писаниях то и дело трогают

Горького, как бы тема мало общего с ним ни имела. То и дело либо ссылка, либо цитата, либо мнение о нем. Если к этому прибавить, что рабочая интеллигенция в иные моменты одержима какой-то манией писательства — факт, констатируемый всеми наблюдателями,—то достаточно извлечь из рабочих писаний, рукописных и печатных, относящееся к М. Горькому, чтобы дать представление об отношении к нему рабочих и крестьян.

Нижеследующие строки и представляют такую сводку. Мнения, приводимые мною, отчасти взяты из статей и писем рабочих, опубликованных в печати, но, главным образом—из рукописей, накопившихся в количестве свыше 200 в моих руках [1]). Иные всецело посвящены писателю, иные частью, иные вовсе случайны. Но, без сомнения, одно соединяет их в целое, в ту песню, из которой, по поговорке народной, слова не выкинешь: типичность. Достаточно беглого взгляда, чтобы почувствовать, что это мнение не Сидора, не Карпа, что так настроены, так думают целые ветви того крепкого дерева, которое именуется рабочей массой.

II.

У читателя из крестьян свои вкусы, свой «образ мыслей», у читателя-рабочего—свои. Если на данного читателя повлияла данная книга, то, конечно, не следует игнорировать индивидуальные его особенности; но гораздо важнее здесь та обстановка, с которою стоит в существенной связи психика читателя. Данная книга не может не подействовать на него в данных условиях, и наоборот. Горький в деревне—иллюстрация этой мысли.

Просматривая списки книг, имевших распространение в деревне в последние годы перед войной, убеждаешься, что произведения Горького, в числе «нужных книг», пропагандируемых молодежью, переходят из деревни в деревню. Редкий

[1]) Не привожу статистики: не цифровая, повторяю, а идейная сторона меня занимает.

представитель молодежи не знает Горького, не говорит о нем. Более развитой дает его менее развитому, делает посильные указания, популяризирует писателя. Однако, было бы иллюзией думать, что в деревне *чувствуют* по Горькому, что обстановка деревенского житья-бытья с его «правами и делами», с распространенностью «власти тьмы»—почва для тех настроений, которыми жив Горький. Как бы крестьянин ни зачитывался Горьким, последний все-таки не зажжет его души, не завладеет им безраздельно.

В отзывах крестьян и бросается в глаза сдержанность. Нет тех словечек, которые родятся, как искра от удара стали о кремень. Конечно, не все отзывы в этом смысле верны себе. «В моей памяти—слышите вы, например, от крестьянина,—много осталось живых и умных речей этого дорогого и близкого моему сердцу писателя», «мило и просто звучат его слова, единственного защитника трудящегося народа». «Сколько в них я нашел близких, подходящих к собственному своему положению мыслей—сказать нельзя». «Заразить искренней любовью темного, непривычного читателя своими произведениями может только Максим Горький». Кто так пишет, того Максим Горький, ясное дело, ударил по туго натянутой струне. Но подобные ноты редки.

Конечно, у всякого явления не одна, а несколько причин. Низка подготовка деревенского читателя. И сам по себе Горький туго проникает сюда, как бы им ни интересовались. Ведь деревни наши— многомиллионное крестьянское население, разбросанное в разных уголках нашего отечества, — вопреки всему недавно пережитому,—все еще маленькие островки обширного водного пространства. Ничтожно общение между ними, не слышно духовного пульса, который бьется в каждом более или менее промышленном центре. Учитель не получает Горького, священник — тоже, просвещенные люди деревни—тем более. Только благодаря особо благоприятным условиям книга в деревне может играть какую-нибудь роль. Наконец, сколько-нибудь поднявшаяся умственно молодежь стремится уйти из деревни на фабрику. Это не надо упускать из виду; тем не

менее крестьянская психология остается крестьянской, с ее узко-практическим кругозором.

Еще дореволюционные наблюдатели отмечали этот практицизм. В деревне всегда много охотников именно на практические книги. Без сомнения, аграрное движение бурных лет, в связи с последовавшей земельной реформой, слишком растрясло весь строй власти земли для того, чтобы сквозь этот строй не пробились современные черточки. Теперь уже на всех ступенях деревенской жизни люди переживают—под напором неудовлетворенных требований жизни—какие-то волшебные превращения. Но в то время, как неизмеримой важности перемена совершается в настроении масс, даже мирных, заурядных, дух прежней эпохи еще жив. И старое, и новое перемешано в читателе в странных, на первый взгляд грубых комбинациях.

Нет отзывов из числа крестьянских, в которых бы авторы не одобряли Горького. Горький—«лучший писатель нашего времени». «Его произведения, которые я прочитал, написаны жизненно, а вместе с тем просто, без всяких прикрас, которые только запутывают ум». «Все обездоленные, ненужные люди—больное место в душе Горького». «С любовью, с горечью, ярко, характерно отмечает он все дурное и хорошее подонков общества». «Думаю, не забудет народ изгнанного певца России, из поколения в поколение передаст его здоровый ум». Вот выражения, в которых деревенский читатель оценивает достоинства писателя. Тем не менее, убеждение, которое красной нитью проходит через писания рабочих, убеждение, что М. Горький—свой человек, *родной* человек, здесь нет и следа.

Чтобы почувствовать разницу, сопоставьте с отзывами о Некрасове. Это—*свой* человек, *родной* человек в деревне. «Никто так не понял,—пишет крестьянин,—и верно не изобразил жизнь мужика и деревни, как Некрасов. В нем деревня видит себя и, прочитав его, начинает на что-то надеяться». «Некрасов,—говорит другой,—это все равно, что нашелся бы мужик с такими способностями, с русскими мужицкими болями в груди, взялся бы этак—описал все русское нутро». Третий свидетельствует, что—как ни затруднителен доступ поэта в народную среду—все поголовно, не исключая и неграмотных, знают Некрасова. «Когда кто-нибудь декламировал Некрасова и Никитина, вся камера вставала на ноги и хором пела. Старички-крестьяне от умиления чуть не целовали тех, которые удачно декламировали». Вот еще образчики: «когда артелью по праздникам или зимой мы собирались и читали стихи Некрасова, то многие плакали и восторженно целовали книгу, и это нисколько не казалось смешным»... «С чувством благоговения, любви перечитываешь «Мороз, красный нос», и невольно к глазам подходят слезы, спирает дыхание, и закрываешь книгу, чтобы успокоиться»... «Я с первого же знакомства с его печальной музой проникся святым благоговением к ней, и, по мере моего знакомства с Некрасовым, чувство восхищения и благоговения перед его поэзией все усиливалось».. «Простите, может быть, я преувеличиваю его значение, но я крестьянин, и в поэзии Некрасова живет моя душа; сколько он дал мне счастливых минут в жизни, за это одно будь благословенно имя его, и память о нем горит неугасимым светом в душе моей»... «Как воздух необходим для согревания, так и Некрасов необходим для масс».

Разумеется, в отзывах этих не мало сентиментальности, но подлинное чувство не подлежит сомнению. Некрасов, действительно, поэт «мужицкий» и по темам, и по настроению. Интеллигент мужицкий, действительно, не может не чувствовать в нем своего, исключительно своего. Иное отношение к М. Горькому.

Вот крестьянин Нижегородской губернии. О степени сознательности его говорит рассказ его, напечатанный, при содействии М. Горького, в одном из толстых журналов. Загляните в его излияния, посвященные М. Горькому. На одной странице он пишет: «при имени Горького я должен благоговеть». На другой—уже унижение паче гордости. Кто-то шепчет ему злое, гадкое предположение. «Оно говорит вот что: не возносись, не мечтай снискать искреннее сочувствие этих

людей. Они ищут себе подобных. Вам подавай таланты, а не простого смертного, таких Иванов, как ты... Что им до них—да... В гибели сих последних они умывают руки». Очевидно, так рассуждает читатель, ценящий, уважающий по-своему писателя, но не читатель-«товарищ», чувствующий в писателе равного себе.

В мнениях крестьян, во-первых—отсутствие анализа, во-вторых—склонность к поучению, в ущерб фактической правде. Разумеется, и здесь не без исключений. Вот, напр., впечатление, которое остается у крестьянки, окончившей двухклассное училище, от произведений М. Горького: «Являются новые мысли, новые вопросы, страстное желание помочь себе, поднять себя, раздавить то чуждое, что бессмысленно, слепо давит все порывы. Эта горькая, ничем не прикрытая правда жизни, выраженная так художественно, составляет сущность произведений Горького, и правда эта, как сказал сам Горький, есть спутник всей жизни». Но, в общем, Горький не захватывает крестьянина настолько, чтобы нарушить его вялость. В томике горьковском, как в книжке вообще, он видит нечто, не допускающее критики. Он относится к рассказу, как к проповеди, выбирая из него всякого рода указания. Нет параллелей с другими писателями. Крестьяне не отличают Горького прежнего от Горького позднейшего периода. Помните письмо 15 рабочих, которое в 1888 г. Г. И. Успенский получил в знак сочувствия его литературной деятельности? «Кто бы из образованных людей ни прочитал ваши книги, всякий подумает о нас, о нашем темном и светлом житье, если только у этого человека доброе сердце». Так вот, именно так относятся к Горькому крестьяне. Сами, в своих глазах, они люди серые, а Горький, хоть и вышедший из класса «простого», человек «образованный» с добрым сердцем. Например, крестьянин уверяет: «в произведениях Горького я часто встречал обличение собственных пороков, но не в строгой мере поповского наказа, а в задушевных словах друга», и тот же Горький оказывается «человеком, подходящим ко всякому классу культурного развития». Знакомы крестьяне лишь

с первыми его произведениями, вошедшими в отдельные издания. И что же? «Горький в этих рассказах, с одной стороны, смело и сильно показал обратную сторону жизни, на которую большинство смотрит как бы с отвращением или же совсем не обращает внимания», с другой—«верный ценитель крестьянских идеалов». Достаточно вспомнить тот жестокий разнос, какому подверглась деревня в произведениях Горького того периода, чтобы понять, о какой неподвижности крестьянской мысли, о какой вялости говорят слова деревенского парня.

Итак, в деревне Горький популярен. Письмо к нему крестьянина, в которое тот вложил полевой цветок и сделал приписку: «посылаю вам цветок родных полей»,—характерно. Но справедливость требует отметить: не здесь Горький—символ, не здесь Горький—лозунг. Здесь он просто талант, просто писатель, хотя и читаемый более других. Истинно роднит писателя-общественника с деревней разве чувство природы. Один читатель, характеризуя безнадежное положение золоторотцев, спрашивает: что же «наполняет их радостью жизни?» И отвечает: «близкое отношение к природе, к ее живой красоте, к силе». И, в самом деле, это не слова. Степная ширь, запах моря, вся разнообразная, богатая красками и звуками природа приводит крестьянина в экстаз. Быть может, иным было бы отношение к таким произведениям Горького, как «Лето» или «Хроника городка Окурова», где так «хорош есть на земле русский народ». Но до этих вещей крестьянский читатель, к сожалению, «не дошел», ни в одной рукописи они не упоминаются [1]).

---

[1]) Об'яснение отчасти в том, что нет до сих пор собрания сочинений Горького сколько-нибудь *дешевого*. Собрание девятитомное охватывало первый период деятельности писателя. Журналы, сборники деревне, конечно, недоступны. Второе собрание, одиннадцатитомное („Жизни и Знания“), стало выходить позднее. Даже третье собрание—нынешнее, выпущенное государственным издательством и состоящее из шестнадцати томов—дешевым назвать нельзя. Очевидно, доступ в деревню могли получить лишь отдельно изданные произведения писателя. Но таковых немного.

III.

Промышленные центры, фабрики, заводы, городские предместья—вот, где Горький может сказать: «я твой, земля». Вот где он «свой», со всем своим восторгом живым, отчетливостью, нежностью, волнующей душу. Вот где с сознанием пишут автору «Матери»: «Нам, рабочим и работницам, вышедшим, как и Павел, из омута тупого равнодушия и беспросветной тьмы на свет сознательной жизни, было обидно видеть позор и мерзость запустения на месте некогда святом». Здесь и «конец» Горького, и возрождение Горького, и Горький первого периода, и Горький второго, и Горький-художник, и Горький-деятель — все живо, все полно значения и интереса, все встречает отклик, вплоть до особенностей, выступающих лишь хотя бы в сравнительной характеристике.

Разумеется, я знаю, что и рабочая интеллигенция, в силу особых условий ее развития у нас, еще не окрепла, что и в ней не мало наносного и чуждого. И я далек от преувеличиванья тех свойств передовых слоев нашего рабочего класса, которые делают художника-борца своим, наиболее понятным. Наряду с положительным содержанием, даже среди развитых рабочих встречается и не вполне определившееся сознание, и подражание тем интеллигентам, с которыми они стоят лицом к лицу, и разное другое. В рядах низового читателя в большей степени, чем думают, жив тип бунтаря если не по принципу, то по настроению. В большинстве случаев, рабочий нигилизм—следствие перевеса чувства над логикой, которую так трудно было после 12-часового дня ввести в строгие рамки. Но, так или иначе, если хотите услышать отрицательный, подчас резкий отзыв о Горьком, обратитесь сюда. М. Горького и здесь рубят на двое. Произведения первого периода,—художественные узоры босяцкого индивидуализма,—разумеется, окружены обаянием. Горький же второго периода—художник-«интеллигент».

«Горький мне нравится за то,—пишет один рабочий,—что он первый сумел взглянуть на жизнь обитателей ночлежек

и подвалов, с'умел снять стену, закрывающую от нас, читателей, жизнь бывших людей, и показал нам, что и в них теплится искра божия, в которой мы им отказываем». «Вещи так сильно привязали человека к земле, так сковали его волю и воображение, — слышите вы от другого, — таким тяжелым бременем легли на него, что он уже не может поднять головы, чтобы увидать солнце, у него уже нет сил для смелых полетов. Только две категории людей могут вместить горьковских героев—наименее обладающие вещами. Такими категориями являются сначала босяки, а затем рабочие». «Особенно нравится в Горьком,—добавляет третий,—его презрительное отношение к вещам. Из всех прочитанных произведений Горького мне врезались его статьи «Проходимец» и два «Товарища» (?) и врезались именно потому, что Промтов и прогоревший барин не зависят от вещи и живут по-своему».

А вот что говорит о людях бывших, с их призрачными высотами нижегородский босяк Л. (позже рассыльный): «Мне кажется, в разных своих произведениях Горький зарисовывал не столько встречавшихся на его дороге людей, сколько себя и свое отношение к миру. Даже в типы, подобные Промтову, он вкладывал свою жажду полетов в надзвездную высь, свое боевое отношение к действительности. «Рожденный ползать летать не может», гордо бросает он миру пошлости и мещанства устами своих героев. Вот эта-то романтика борьбы и свободного сильного человека и делает его удивительно красивым. Когда я читаю Горького, я пьянею, делаюсь удивительно легким, а каждый мускул дрожит от острого напряжения, как туго натянутая струна»,—говаривал один мой знакомый. И это верно».

Но обратитесь от певца жизнелюбивого *отрицания* к певцу «Матери»,—и вы сразу почувствуете охлаждение. Как известно, именно в среде рабочих этого типа наиболее развито отрицание интеллигенции, убийственно злое—до того, что критика здесь ни к чему. И вот первый упрек, какой вы слышите: раздвоился Горький. «Горький сам стал интеллигентом, сам поднялся снизу вверх»,—уверяет рабочий завода

«Айваз» (печатавшийся уже в одном из месячных журнальчиков). «Писатель с пролетарской психологией оторвался от пролетариата», «творит для интеллигенции». Правда, «среда интеллигенции ему чужда», ведь «он все-таки самородок», слышите вы.—Но и «среди рабочих он интеллигент». Горький интеллигент, может быть, думать за родную среду еще может, но чувствовать за нее уже не может. А раз так, то все, что было в нем яркого, художественного, не может не блекнуть. Бессознательный, стихийный анархизм не прощает писателю отнюдь не «ходячий, уличный материализм», а простой крахмальный воротничек.

Известно, какой популярностью пользуется «Мать» в рабочей среде. Она отодвинула в свое время все нелегальные издания этого рода. Интеллигентоед же рабочий говорит: «эта вещь тенденциозная, и герои ее, начиная с матери и Павла, очень и очень надуманы, со слезой и подсахарены». «Мне думается, Горькому не достает людей, русских полезных людей, с которыми он мог бы столковаться. Если бы они снова окружили его, то он создал бы нам еще новых разновидностей Челкашей, а не святых Павлов»; «Горький похож на певца, зовущего в битву, но он не художник действительности»; «Горький красив, но красив не как писатель-психолог, а как чувствующий и стремящийся человек»—вот суждения этого рода, иногда резкие, но часто и с оговорками. «Чем это об'яснить,—читаем мы в одной рукописи о последних произведениях Горького.—Тем ли, что Горький далеко отошел от народа, или его талант начинает уже падать? Не знаю. Склоняюсь к первому предположению. Со вторым обидно как-то согласиться. Неужели Горький, наша гордость, гордость людей низовых, мог выписаться».

На «антиномию» Горького—вопрос о сочетании анархизма с социализмом — я натолкнулся здесь лишь раз. И то поставил его не пролетарий, а люмпен-пролетарий—фигура настолько любопытная, что нельзя ей не уделить внимания. Это—упомянутый уже Л. Не так давно наткнулся на нашего нижегородского босяка беллетрист И. М. Касаткин, остано-

вившийся перед ним в изумлении. Внешность—с точки зрения Кувалды—не оставляющая желать лучшего, как и жизнь прошлая, страшная жизнь: детство, отрочество, юность—«много нас сюда приходит, но уходит—никогда». Тем не менее, перед нами философ. Память феноменальная, пафос не меньший. Критики «Лета» глубокомысленно спрашивали: не читали ли герои Горького Луначарского? А вот не угодно ли критикам поспорить с нижегородским Челкашом о Ничше, об Авенариусе, о Махе. Хотя бы на бумаге. И пишет Л. так же изумительно для своего «общественного положения», как говорит: талантливо. Вот этот-то босяк «абстрактный», точно живьем спустившийся из красивых, чарующих роскошью цветов и красок очерков Горького, в которых так мало босяка «конкретного», как когда-то выразился Протопопов, и обратился к художнику-социалисту с письмом, в котором вылил свою скорбь ничшеанскую. Скорбел Челкаш наш, «свободный и сильный и на пути к своей мечте порывающий все узы», по собственному выражению, о том, как это Горький, который «устами людей, побывавших на высоте, бросал гордое, презрительное ужам жизни, копающимся в пыли повседневных мелочей», как это автор Мальвы и Коновалова попал «в тупик социализма».

М. Горький не замедлил ответом—ответом, который не мешало бы помнить и не одним философам ночлежки. «В свое время эти мысли я слышал в кабаках, ночлежных домах, *но я никогда не был сторонником их, они* всегда *были* органически *противны мне*. Я, как мне думается, достаточно определенно показал прелести животного эгоизма в очерке «Мой спутник». В соединении с жульнической философией «Проходимца», Луки и Маркушки в Кожемякине, этот эгоизм и дает то, что нас, русских, губит, с'едающую нас болезнь, которую можно назвать пассивным анархизмом». Указав мимоходом, что все сказанное Л. ныне говорят и интеллигенты, исковерканные тяжкой своей историей, Горький в заключение советовал: «Ваше письмо, очень откровенное и простое, и позволяет, как я думаю, мне сказать вам откровенно и просто: бросьте вы эту мертвую вашу философию и учитесь, читайте, никому не

доверяя, всех сопоставляя; может быть, в этом труде вы найдете себя, свое *я*. Всякое *я* вырабатывается, а не выдумывается». (Письмо от апреля 1913 г.).

Конечно, ответ Горького не убедил Л. Он «учится, читает, никому не доверяя, всех сопоставляя». Но, что касается «выдумки», он держится другого мнения, чем творец Луки. «Горький сам певец, похожий на древнего барда,—сказал мне Л., сделавший 120 верст пешком для того, чтобы потолковать о высших материях.—Сам воспевал подвиги героя, виденного во сне. Потому и не заметил, что громкое равнодушие к вещам в той среде, которая мне известна — в босячестве — не более как равнодушие лисицы, не пользовавшейся виноградом, потому что тот высоко: он зелен, и им оскомину набьешь... От культа личности героя, воплощающего в себе мечту о полетах, Горький обратился к рабочим второй категории, меньше всего обремененной вещами. От босяков он обратился к культу коллективного героя. Но как в первый период творчества, так и во второй он остается певцом героя, виденного им во сне, а не рассказывает нам просто о человеке, как психолог-наблюдатель. Он заходит в избы крестьян, в хижины рабочих бедняков, всех придавленных жизнью, всех носящих цепи унижения и—поет о виденном им во сне человеке».

Говорю подлинными словами собеседника. Однако, мнения его не характерны именно для рабочей массы. Узок круг рабочих-бродяг по духу, не говоря о представителях подлинного босяцкого царства. Скудна почва, если не для стихийного брожения, то для признанного отрицания. И рабочий бунтарь—«размахнись рука, раззудись плечо»—теряется в потоке недовольных, неудовлетворенных, кипящих гневом, но все же уже чувствующих под собой незыблемо-крепкое, нечто такое, чего жупелом крахмального воротничка не пугнешь.

Перед нами просто одиночки читающей интеллигенции рабочей. И если мы уделили им внимание прежде всего, то для того, чтобы тем объективнее, тем рельефнее выступили те речи, которые раздаются по адресу писателя-общественника в самой гуще рабочего класса.

IV.

Когда-то Щедрин, изображая читателя-друга, заробевшего, затерявшегося в толпе («дознаться, где именно он находится, довольно трудно»), оговаривался, что все же бывают минуты, когда он, читатель-друг, «внезапно открывается», а общение с ним делается возможным. Если такие минуты—самые счастливые, которые испытывает писатель на своем трудном пути, то Горький счастлив вдвойне: у него—кроме читателя-друга—еще оказывается читатель-«товарищ», который не робеет, а место своего нахождения обозначает явственно. Как не чувствовать себя бодрым, сильным, когда пламя души писателя есть пламя души читателя, и еще до произведения соединяет их нечто, что не так легко высказать. Посмотрите, в самом деле, как подходит рабочая интеллигенция к своему художнику. Он прежде «товарищ», равный и любимый, а затем уже писатель.

Рабочий не может начать речь о Горьком без лирики:

«Каждый человек,—уверяет чернорабочий,—кто бы он ни был из рабочей категории, но в душе его есть что-то живое: это память о Максиме Горьком». «Я видел сегодня Максима Горького,—сообщает каменщик с Волги. — Как хорошо, что за него опасаться нечего: я видел его на экране в кинематографе. Господи! Как это было хорошо! Как доволен я! Правда, это был миг. Сначала вилла, в которой Горький живет. Замок гномов, обращенный лицом в какую-то пропасть, может быть, в морскую синюю даль, в воспетые им грани небес с землею. Потом дорожка вдоль ограды. Идет наш царственный певец. Он почти не изменился. Сильной, бодрой походкой, салютуя своей неизменной шляпой «а-ля-Пушкин», подходит к черте фокуса аппарата и... растаивает. Я остался еще на четверть часа лишних, чтобы еще раз взглянуть в родное и дорогое лицо его. Стало легко, привольно в груди, как будто стенка света расширилась, раздвинулась, и показались новые горизонты, манящие в об'ятия. Вот и гаерствуй после всего такого своим бодрым, стойким настроением. Как

чашу хорошего вина после устатка принял, как-будто самое красавицу-Волгу вместил себе в груди—так богатырски хорошо стало на сердце. А всего-то только Максима Горького увидел, и то не взаправду. Эх, хорошо, когда есть и не умерло хорошее на свете! При воспоминании о Горьком мне жаль только одного, что не могу, в самом деле, смотреть в ясное чело его, как бы этого хотелось». Такому читателю, понятно, не до крахмальных воротничков: он их не замечает. «Все Горькому простил бы: собственные моторы, роскошь, дома, не совсем идущие к лицу бархатные куртки—все. На то он и человек особенный... ему лучше даже все это иметь, если представляется иметь возможность».

Согласитесь, так пишут о своем, родном, близком. За Московской заставой открылась читальня-библиотека имени Гончарова. Кажется, район, отставший в смысле культурных учреждений и, наоборот, побивший рекорд в отношении казенных винных лавок. Однако, даже дети требуют Горького. Вот картинка с натуры.

Приходит мальчик-рабочий лет 14. Библиотекарша предлагает ему детский каталог. Но он отказывается: сказки не читает.

— Дайте мне сочинения М. Горького,—просит он.

— Но вы еще маленький,—замечает библиотекарша.

— Я хочу Горького,—гордо повторяет мальчик.

И, получив наконец Горького, «жадно» накидывается,—по выражению хроникера,—«на этого родного и близкого рабочим писателя».

Вот рабочий-кожевник, лет 10—11, впервые увидевший два рассказа Горького: «Дружки» и «Емельян-Пиляй». До этого он уже кое-что слышал о Горьком; теперь же с радостью накинулся на эти два рассказа. С напряженным вниманием прочитал по несколько раз, пока не зачитал их в конец. «С этого случая,—сообщает он,—во мне и зародилось то зерно любви к Максиму Горькому, которое теперь выросло в кудрявое, вечно зеленое дерево. Простота повествования, магнитная тяга к широким полям, вольной жизни, под звездным небом, на зеленой траве. Помню, рассказы так подействовали на меня с товарищами, что одно время мы не в шутку затеяли пуститься в путь. Итти и итти... Конечно, то были юношеские годы. Но чем больше я мужал и вникал в жизнь, тем реже разлучался с Горьким и чтил его имя выше всех писателей. Где Горький, что с ним, как он—неотступно сидело в моей голове. Ибо я любил Горького, как вестника лучших дней и лучшей жизни». Одно чувство, один стиль везде. «Моя душа, мое чувство,—читаете вы,—в нем одном. Нет у меня других, кто был бы дороже великого и доброго Максима. На всю жизнь останется во мне то волнение, какое вошло в мою душу, прочитавши слова: «Не труся, надо плыть против течения. Как отрадно разбивать напор волн!» Да, думал я, вот где-то Горький. Значит, он наш, он мой, по крайней мере мой песняр-вдохновитель. Люди страждущие и обремененные, мы не одни! Мы с Горьким».

После того как дела печати в 1913 г. подошли под амнистию и рабочие круги с быстротой молнии облетела мысль о возвращении писателя в Россию, к нему посыпались приветствия. Вот одно из них, подписанное 60 рабочими. «Из газет мы узнали,—писали они,—о вашем намерении вернуться в Россию, глубокоуважаемый Алексей Максимович! Нас всегда удручало сознание того, что вы в числе многих других лучших сынов народа, много сделавших для развития нашего общественного сознания, остаетесь в вынужденном изгнании. Мы сознавали, что жизнь на чужбине должна быть исключительно тягостна для художника, особенно в тот период, когда художник неразрывно связал себя с трудящимися массами и вместе с ними страдает и борется». Указав, что задача их именно в том, чтобы добиться условий, в которых «достойнейшие граждане занимали бы почетные места в наших рядах», они, с.-петербургские рабочие, члены рабочих клубов, «пока» посылали «горячий любовный привет своему любимому писателю—певцу демократии М. Горькому».

Такой читатель, очевидно, не «сохранит инкогнито», не убежит в нору, как только писателя «из‘емлют из обращения»;

не утратит ясности, не потушит огня в сердце своем, лишь только читатель-ненавистник овладеет литературой и, подобно мошкаре, облепит художника, зажмет уста, ошеломит клеветой пыль людская. Нет, «читатель, заступись» означает здесь не «секретное и притом платоническое сочувствие», но и оборону. Взгляните, в самом деле, как резко, как больно реагировала рабочая интеллигенция на толки о конце Горького, о его художественном оскудении.

«Где вы—те, которые похоронили его? А, испугались нашего Максима и заживо кладете его в гроб. Конечно, для вас он страшен. Вам он чужд. Но знайте и запомните раз навсегда: он никогда не был ваш. Мы, рабочие и крестьяне, родили его из своей народной души, вложили в него дар слова, которым бы он вел нас, вдохновлял отстающих, будил спящих. Буревестник — грозной молнии подобный — свободно реет». «Горький умер. Горький затих,—писал целый ряд буржуазных критиков и публицистов. И им верили. Но кто? Все те, кто осмотрелись и поняли, где Горький, с кем пошел, где очутился». Рабочие дают чисто социальное истолкование этой кампании против писателя. Выяснилось, куда он пошел, и мещанство, которое, «может быть, темно, но все-таки любило великого босяка», по выражению, взятому из одной рукописи, «отреклось от него». Горький прошлого и Горький настоящего — это не одно и то же. Для того, чтобы понять перелом в творчестве М. Горького, нужно иметь в виду (по словам рабочего, уже печатающегося в рабочей прессе) «историческую обстановку прошлого и настоящего, дабы не быть несправедливым к этому крупнейшему русскому писателю». Авторы не ограничивались констатированием факта, но и вдавались в анализ момента для большей убедительности. Горький и 1905—06 г.г., конечно, нечто общее, нераздельное в их глазах. Но вот наступили годы упадка, когда — по словам рабочих, авторов письма по поводу «Матери»—«стали глумиться и мстить идеалам, которые хоть на минуту дали возможность взлететь соколом в небо». Реакция, как темная ночь вызывает летучих мышей, «вытянула псалмопевцев всякой низости». «Она

породила литературу, служащую молоху капитализма», «породила течение, в котором сногсшибательная порнография стоит красным уголком и убрана цветами».

Только М. Горький «остался верен старому завету»; и «в народе он жив». «Народ Горького воскрешает». Теперь— перейдя мертвую полосу упадка — приветствовала Горького группа рабочих—«мы шлем привет тем, кого ни малодушие, ни корысть не могли оторвать от общего дела. Только немногие голоса, и ваш громче других, раздавались за утверждение жизни и личности человека. Теперь похоронные напевы заглушаются бодрыми голосами пробуждающейся жизни, и мы глубоко уверены, что общение с рабочим народом, прикосновение к родной земле даст могучий полет вашему творчеству».

Ходячее мнение о литературе для народа отошло в область преданий. Впечатлительный, пылкий рабочий следит за каждым ее шагом—так, как дай бог нам, читателям привилегированных кругов — выражает свое негодование, развивает собственное понимание. В противоположность деревне, он не уважает «авторитета». И кто знает, какое количество внутренней энергии здесь не находит себе выхода из царства машины, одуряющей своим ревом и стуком, тот поймет, как подчас ничего не стоит фальсифицировать рабочие вкусы, выдав г-жу Вербицкую за М. Горького. Насколько пристально следит рабочая интеллигенция за перипитиями литературной жизни, показывают сравнительные характеристики, встречающиеся в рабочих рукописях. Старую литературу рабочие любят, но по своему. «Если Тургенев,—пишет рабочий-металлист,—показал нам, что мы такие же люди, как и они, а Лев Толстой искал чего-то высшего в народе, то М. Горький нашел в самом низком, в отбросе достойное высокого». «Горький!—восклицает другой.—Если при жизни Толстой один претендовал на право авторитета, то Горький теперь его заменяет в полном смысле слова. Чувство уважения наполняет мою душу: передо мною высокий пьедестал, а на нем Горький, поэт борьбы».

В. Г. Короленко, из современных, выдерживает марку с высоты этого критерия. «Теперь у нас великих писателей,

рядом стоящих, два, -читаете вы:—М. Горький и В. Короленко. Ищут правды и будят сердца к ней». Многим же нет прощения. В своей статье о самоучках-писателях М. Горький, указывая на случаи подражания Леониду Андрееву, тут же отмечает, что это влияние внешнее, что берут форму, а не настроение автора. Действительно, отношение к Андрееву не дружеское. Вот две строчки из рукописного рабочего журнала «Заря»: «Андреев и русский народ? Вот два полюса, не имеющие между собою родства». С высоты, так роднящей читателя низового с Горьким, меркнет и Арцыбашев, и Винниченко, и Сологуб. По мнению рабочего Калинина, автора «Мыслей рабочего» в «Журнале для всех» (1912 г. № 29), рабочий для Арцыбашева—«книга за семью печатями, ибо, будучи чужд его стремлениям, он и не мог дать правдивого изображения».

Словом, «не нужны слова Андреева», «чувственные похождения Санина», «единый наш учитель—М. Горький». Ведь даже классики многие, «ища в нас людей, все-таки смотрели, так или иначе, свысока, как барин смотрит на нашего брата»; Горький же—«родной», «знакомый», «близкий душе». «Первое скажу: когда я читаю Горького, то вижу зеркало, которое отражает мою душу»; «приходилось просиживать ночи за его книгами с внимательно слушающей аудиторией; все находили себе свое, родное». «Рабочая среда представлена у Горького не как масса. Эта среда изображена у писателя при всем разнообразии характеров и настроений». «Горького я люблю за его ненависть к мещанству, беспощадное бичевание всего того, что называется болотом жизни». «Поэзия правды»—так окрещивается его «философия». «М. Горький не тем велик, что он с. д. Нет, Горький больше, чем с. д.».

Однако, чем же светит, чем греет Горький, чем силен и крепок в широких рабочих кругах? Автор одной рукописи отвечает так: «Горький своим бытием укрепляет веру в народ. Потому—значит черная масса выдвигает такие величины, как Горький. Это не кое-что». Трудно вернее передать веянье духа живого... Горький дает именно веру человеку страшной

жизни. «Свои очки, замазанные копотью, я уже сбросил», «встряхнул всю копоть с своей души»... Желая высказаться в этом духе, один чернорабочий называет Горького «великим, могущественным человеком». «Я, как послушал эти чтения,—говорит рабочий о беседе о Горьком,—так мне куда смелее житься стало—перестал унывать... Плевать, думаю, хуже меня де дышут, не дохнут, а мне чего робеть? С тех пор куда веселее стало... А прежде все, как ущемленный, ходил, чего-то ждал и боялся, дрожал, каждую копейку считал, какой-то «черный день» вспоминал, а тут светлые проходили, не видел их. Теперь мне куда лучше, как-будто выздоровел».

— А ты скажи, в чем твоя основательность после этого?—спросил чей-то старческий голос.

— Про основательность ничего не могу сказать, а так—на душе по другому стало. И пил я, и песни слушал, и сам пел, только веселье от всего этого недолгое, а теперь... вот об этих людях вспоминать радостно... больше никак не могу сказать»... В то время как, по словам самого писателя, из самой массы возникает к жизни новый тип человека, бодрого духом, писатель является одной из движущих пружин этого процесса. Этим и силен, и крепок Горький в массе. «Герой рассказа М. Горького говорит: всех в тюрьму не пересажают. Мы также должны сказать: проходят времена, когда нас били и плакать не велели».

Было бы заблуждением думать, что рабочий - читатель просто закрывает глаза на дефекты дарования М. Горького. Ф. Калинин, выделяющий его из бытописателей рабочего класса, в то же время называет «Враги» произведением неудачным. Точно также и «Мать» не удовлетворяет его. Однако, критика его ничего общего не имеет с обычными механическими приемами. Во «Врагах»—по мнению Калинина—автор «не сумел нащупать подлинную рабочую идею социалистической солидарности». «Мать» писалась в то время, когда рабочий еще не мог определиться настолько, чтобы быть представителем своего класса со всеми присущими ему особенностями. И хотя Горький только и мог изобразить рабочего «таким,

каким давала ему его подпольная организация», но все же, по мнению Калинина, широты в романе мало [1]). Можно соглашаться или не соглашаться с этими замечаниями, но нельзя не признать, что ставит Калинин вопрос глубоко жизненно. Другой рабочий, некоторое время живший на положении босяка, затрагивает первый период творчества М. Горького. «В силу особо сложившихся условий, которые повлияли на писателя,— замечает он,—этот период страдает крепким разводом романтизма. Не существенно это для босяцкой психологии. Мне пришлось более двух месяцев прожить среди босяков, но той черты, что так ярко пробивается в героях Горького, я не подметил. Босяк слишком ползет низко, чтобы быть романтиком». «Один упрек» делает и критик «Хозяина». Дело в том, что, рассказав нам о хозяине пекарни Василии и Семенове, Горький восклицает: «ударить его надо, а приласкать хочется». Вот это-то «чувство жалости писателя» рабочему-печатнику «совсем непонятно». Чувство жалости, вытекающее из товарищеской симпатии, он, конечно, понимает. «Но жалость к кому бы то ни было», если он обладает силой ума,—вот это действительно может «обессиливать» сердце. Делая два шага вперед, как бытописатель рабочей среды, Горький, по его мнению, «делает шаг назад в сторону сентиментального отношения к такому хищнику и цинику». «Нельзя забыть его карьеры, сделанной преступлением, ибо, по справедливому завету певца народной скорби Некрасова, то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть».

Но опять-таки в то же время какая тонкость! Напр., насчет «развода романтизма». Пусть Горький первого периода— не бытописатель русской жизни, рисующий русскую жизнь со всеми ее скверностями; пусть он «рисует жизнь не такою, какая она есть, а какою должна быть», в этом «не недостаток, а заслуга писателя». Тогда, видите ли, в девяностые годы,—уверяет рабочий, автор статьи о Горьком, напечатанной

[1]) Рабочий-печатник И. Кубиков мысль Калинина передает так: „передовые рабочие увидели, что в этом романе нет изображения сложного и мучительного процесса роста рабочего сознания“.

в рабочей газете,—и рабочий класс, и интеллигенция «нуждались в бодрящих словах». В этом смысле романтизм, как направление, был «необходим и важен», а «лучшие, вдохновенные произведения Горького первого периода» остаются «поэмами красоты душевной».

В статье своей о самородках Горький подчеркивал, что «богоискательство» — течение столь нашумевшее в Петербурге — не отразилось ни в одной из рукописей. Однако, «Исповедь» рабочие знают—знают и критикуют. Критикуют, конечно, и другое. Это должно быть отмечено: рабочий, с жадностью обращающий свои взоры к литературе, критикует Горького. Но зато тем более для себя ценного, высокого находит он в писателе. В этом направлении прежде всего характерны указания на язык. Даже язык классиков не удовлетворяет читающую массу. Он ей кажется языком меньшинства. В нем ей чувствуется белая кость, литературщина, подчас подделка под народную речь. Иным представляется язык Горького в изображении читателя-рабочего: «демократичен от первой до последней строки», «кровно связан с народом, с народным творчеством». Боевой дерзостью, чувством расцвета творческих масс кажется ему запечатленным и самый язык. И то и дело авторы рукописей противопоставляют Горького тем беллетристам, которые только «блудят языком народа», а не говорят на нем.

Если так обстоит дело с языком, то в отношении содержания нет дефекта, который бы читающий рабочий не простил Горькому за здоровое активное зерно, то, которое проникает каждый жест, каждое слово певца веры в человека. «Горький— писатель - гражданин... Для нас самое необходимое, самое важное в жизни—это правда. Так и в сочинениях Горького самое необходимое, самое важное—правда». «Нам не нужны розовые слова,—дорога в Горьком любовь к людям, вера в народ». Не характерно ли это? В то время как иные критики из левого лагеря не прочь поговорить о Горьком-псевдоромантике (с тех пор, как он стал художником-пропагандистом), здесь царит убеждение, что Горький-романтик ни на иоту не погас, что и в удачах, и в неудачах он психологически верен себе.

Вот отдельные отзывы об отдельных рассказах. «Я упивался Горьким, его жаждущим Коноваловым, его Мальвой, рвущейся в открытое море. На всю жизнь останется во мне». «Когда я читаю «Фому Гордеева», мне кажется, что писатель схватил все мои душевные переживания, узнав их. Жизнью пользуйся живущий». «Без любви к людям человек не может дать в своих произведениях таких, как Челкаш. Я и давно уже читал это его произведение, но Челкаш стоит у меня перед глазами, как живой».

«Вот тут послушаешь, послушаешь рассказы Горького первого периода и начинаешь думать: как будто у этих людей душа меньше томится... Вот взять к примеру нас: мы—рабочие; работа есть,—знаем, что за работу сыты, обуты будем, не бегаем от нее, как вот эти оборванцы, а вот живем без радости: дни считаем, жизнь укорачиваем; закисаем от такой жизни... не веселит она нас... Как будто она не двигается, а изо дня в день одна и та же... А вот эти люди—в животе у них трещит от голода, выдрыхнуться им негде, а на душе, как светлый праздник... Тут же: жена — тягость, служба — тягость, начальство—и говорить нечего... Все тебя тяготит. А радости? Нет ее»...

Вот рабочий из Ростова на Дону. Кажется, он еще не вышел из стадии увлечения лубком. И все же на вопрос, какие книги у него любимые, отвечает: М. Горького «Мать». Что сливает эти мнения воедино? Писатель поднимает рабочую душу, вливает в нее воду жизни, пронизывает своим светом. Если таково впечатление, производимое на массу читающую первыми произведениями Горького, то еще определеннее действие последних. Вот, напр., что пишут рабочие о «Рождении человека»: «Рождение человека»—это драгоценнейший жемчуг. Читая его, мы не в силах не любить жизнь и ее красоту. Не в силах не пойти на борьбу за ее улучшение. Что значат тусклые перепевы несостоятельности жизни разных пессимистов!»—«Огромное впечатление на меня произвела «Мать». В этом произведении,—слышим мы от другого,—он ярко обрисовал все стороны рабочего класса, а также действие против него фабричной администрации и полицейских властей. Читаешь и видишь: нужно действовать. Итти смело, пробивая дорогу и не останавливаясь на жизненном пути». Третий изображает Сормово прежнее: «Здесь ведь М. Горький получил фабулу для своей лучшей повести «Мать». Четвертый пишет: «Мордовка»—копия моих мыслей и желаний. Люблю Горького за веру в силы человека». «Несмотря на печальный финал,—читаем мы о «Хозяине»,—остается чувство бодрости, и укрепляется вера в светлое начало жизни. Если даже у этих поставленных в несчастные условия пекарей расширяется душа при приближении человека, носящего в душе идеалы правды, то это значит, что лучи света обладают великой силой... М. Горький с поразительною яркостью показал нам драгоценные перлы в душах отупевших от тяжелой работы рабочих. Здесь нет идеализации. Достаточно одному мыслящему рабочему прикоснуться любящим сердцем к этим изнывающим от темноты и тяжелого труда людям, как сейчас же ответные душевные струны зазвучали». «Чувство одиночества с одной стороны, чувство недоверчивости с другой заменяются взаимным чувством симпатии».

О том же свидетельствует чтение «Мордовки» в рабочем клубе (вместо несостоявшейся лекции). Чтение кончено, и на лицах оживление. «Товарищи,—говорит рабочий,—такие писатели, как Горький, пишут не для забавы и не для времяпровождения. Здесь затронуто самое больное место в нашей жизни». Правда, реагируют на это больное место рабочие по разному. Пожилой пролетарий рассуждает так: «Господин Горький правильно пишет... Вот нас упрекает молодежь, что мы теперь отстали, семейные-то, теперь не участвуем. А раньше были работники энергичные... Но ведь у нас, скажем, четверо детей на руках. Я понимаю, что жена боится остаться с ними одна. Да и сам не могу махнуть на них рукой. Ведь это будущие люди, а не что-нибудь. Надо же считаться и с этим». Иной вывод из «Мордовки» делает представитель молодежи: «Все равно,—решает он,—другого выхода нет. Надо приобщать работницу к нашему делу. Только тогда станет она не обузой,

не помехой, а другом рабочего-мужчины». Однако, и пожилого, и молодого рассказ освежает, сообщая нечто такое, что выше всяких рассуждений: бодрость. Точно также и памятная повесть Горького: «Хозяин» является «крупным произведением» в глазах рабочего-печатника не только потому, что автор ее—правдивый бытописатель рабочей жизни, которого так жаждет «рабочая демократия». А вот отзыв о «Сказках»: «Главный герой сказок, тот, кто своей богатой жизнью и всеми своими стремлениями окрашивает жизнь сказочными лучами—народ. О нем только Горький и говорит. Все чувства, повседневные стремления, своеобразные переживания различных групп трудящегося итальянского народа любовно охарактеризованы М. Горьким в ряде ярких очерков. Пастухи, крестьяне, моряки, рабочие проходят стройными рядами и восхваляют жизнь, красоту ее. Отчаяния, глубокого пессимизма мы не видим. И это несмотря на то, что итальянскому народу живется не легко, несмотря на тяжелые экономические условия... Порой кажется, что этот народ близок нам и давно знаком, ибо слишком родственны переживания, стремления его и русскому народу».

Кажется, убедительнее выразиться нельзя. Читатель низов оглушен машиной, сдавлен со всех сторон всеми рычагами фабричного абсолютизма. Но ему нужна вера, что это не все, что не должна быть жизнь так устроена. Печальна обстановка, в которой приходилось бороться за каждую мысль, за каждое слово правды, но еще печальнее рабочему человеку, уже нащупавшему какую-то точку опоры, вдруг потерять ее. «Я не знаю, что это со мною было,—пишет конторщик,—как я мог ее (веру в жизнь) потерять. Как была сильна и глубока моя вера! Ведь лучше было бы погибнуть, нежели потерять то, что выше жизни». Произведения же Горького,—одинаково и первого, и второго периода,—источник бодрости для читателя-рабочего.

Как только рабочий уяснил себе, что не кабак, не кинематограф, а рабочий театр есть место, где труженик фабричного станка может обрести себе радость жизни, он прежде

всего устремил свои взоры к «великому и доброму» Максиму. Так, группа рабочих, членов рабочих артистических трупп, из Москвы послала ему письмо с примерным репертуаром, выработанным на два года. Указывая на то, что рабочий театр есть средство отвлечения массы от гнета беспросветности, группа просила писателя-друга наметить ей свой взгляд на задачу театра, на его будущее, на выработанный ею репертуар.

Ни одного указания на «двойственность» Горького, на «интеллигентские натяжки». Чувствуется, что рабочий-читатель и сам переживал эволюцию, близкую эволюцию писателя. Усложнялся психологически один, усложнялся и другой, и они без слов понимают друг друга. Был ли Горький толстовцем, был ли ничшеанцем, водил ли компанию с А. В. Луначарским или с В. Черновым, не все ли равно рабочему? Ибо близко, дорого ему в писателе что-то неизмеримо большего значения: не Ничше в Горьком, не Луначарский в Горьком, а именно Горький сам с его художественной индивидуальностью, довлеющей себе и неизменно окрыленной, с его страстным «дерзай», в силу которого его образы никогда не превратятся в аргументы, его гнев, его пламя, его жажда бури—в прокламацию. В этом направлении делаются попытки в двух-трех рукописях, попытки слить воедино Горького прежнего и Горького теперешнего. Так, приведя цитату из рассказа «Однажды осенью»: «Ведь я в то время серьезно был озабочен судьбами человечества, мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах», один рабочий заключает: «значит, Горьким руководило иное «чувство», чем чувства его героев». Другой указывает на то, что Горький все «учится», «учился в то время, учится и теперь», что это «особенно ценно в наше время».

Таково второе пришествие Горького. Оно не подлежало сомнению. Горький не изолирован был, не сотрясал воздух. Если это казалось так, то лишь в черные годы, пока не выяснился читатель. «В один прекрасный день» сердца понеслись к нему навстречу с такой силой, что биение их

пробивалось и сквозь толщу льда. Он снова приобрел ясность и значение, загорелся ярким светочем в читающих массах. И если деревенский читатель слишком еще неподвижен, чтобы отразить это возбуждение, слишком практичен, чтобы прямо, осязательно слиться с писателем, то фабрика есть поистине тот храм, где Горький жив нетленною красотою. Здесь «массы нового грядущего читателя», который не заробел, не затерялся в толпе.

Очерк второй.

Горький на родине (1914—1915 годы)

I.

Было бы долго перечислять все то, что писали газеты после того, как М. Горький, испытавший чашу скитаний, после восьми лет вынужденного пребывания за границей оказался «опять на родине». М. Горький «ведет нормальный образ жизни»... М. Горький собирается в театр, по котором соскучился... Деревня Нейвола осаждена репортерами... Деревня Нейвола осаждена филерами... Одно, однако, осталось в тени.

М. Горький вышел из самых недр демократии. Он отдал ей свое большое сердце, свое редкое дарование. В самые трудные годы, когда, казалось, все, что было живого на Руси, ушло в себя, притаилось, он—вопреки недугу, вопреки расстоянию—горел ярким светом. Что же, подчеркнуло ли лишний раз возвращение эту связь, связь писателя-общественника с читателем-массовиком?

Ведь Горький глубоко народен, хотя и оторван был эти годы от народа.

Каждый раз,—с тех пор, как газеты возвестили о том, что Горький, согласно манифесту, может вернуться в Россию,—имя его сочеталось с другим именем, с именем К. Д. Бальмонта. И поэт, в то время справивший двадцатипятилетие творчества, при мысли о котором так вспоминаются «храмы изо

льда», был болен не столько своим недугом, сколько недугом родины; против того и другого был возбужден ряд судебных преследований, того и другого ждала тюрьма за их сочинения в случае возвращения до манифеста. И вот вернулся Бальмонт, и те круги интеллигенции петербургской, интеллигенции московской, которые увенчали такими лаврами поэзию, расплывшуюся, как облако, в настроениях, в неясных мечтах,—поэзию, берущую начало еще у патриархального Тютчева,—именно в послереволюционные годы, заволновались. Встречи, чествования, статьи—все с убедительностью показало, кому дорог поэт, чем дорог, в какой степени дорог.

Конечно, было бы странно, если бы было иначе. Отношение к писателю не может не выступать выпукло в дни испытаний его, не может не проявиться и в дни радости. *Ведь и испытания, и радость эти в равной мере испытания и радость той среды, которая питает его своими чувствами, своими думами.* Однако, не совсем то с М. Горьким.

Разумеется, читательская среда Горького не читательская среда Бальмонта (хотя и в творчестве Бальмонта был период некрасовский,—«песен мстителя»). Быть может, утонченный эстет уже не повторял сказки о «грязной воде дешевого материализма», которая, мол, сделала из Горького «заурядного демагога», «самодовольного буржуа», «повергла в мутный источник вярварства»; не скажет: «чем больше рос в нем гражданин, тем более умалялся художник»[1]). Ведь не кто иной, как Антон Крайний снисходил до следующих слов: «По совести должен сказать, все последние романы, повести, рассказы Горького очень хорошо написаны. Сочным языком, с яркими художественными описаниями природы»[2]). Однако, надо ли доказывать, что верхние слои некогда «единой освободительной армии» почитателей Горького не вернулись к нему? Кто хоронил М. Горького, развенчивал его романтизм, ликвидиро-

---

[1]) *Д. В. Философов,* Слово и жизнь. Литературные споры новейшего времени (С.-Петербург, 1909 г.).

[2]) „Русская Мысль“, № 8, 1912 г.

вал весь горьковский период с цельной выпрямленной личностью писателя в центре, тот, правда, не так резко, но все же рубил надвое его и сейчас.

Недаром охлаждение к Горькому началось задолго до статьи «Русской Мысли», как задолго до нее Горький проявляет общественную активность. Волжский в выражениях, не менее остроумных, чем выражения Философова, хоронил «философа лжи» еще в пору увлечения дерзновенной личностью; Мережковский задолго до Волжского. И если понадобились годы социально-политической дифференциации России с одной стороны, идейно-психологического кризиса с другой, для того, чтобы «грядущий хам» заслонил лицо М. Горького не в глазах Волжского с Мережковским, а целого крыла русской интеллигенции, то это значит, что лишь в процессе общественного самоопределения люди находят свои симпатии и антипатии. Едва ли нужен пример, более ярко иллюстрирующий зависимость и писателя, и читателя от судеб тех групп, к которым они принадлежат своей плотью, своей кровью, всем социальным существом.

Любимец демократии, живший не только ее горестями, но и надеждами, возвращался как раз в такое время, когда опять ее стремления были в силе, под'ем налицо. Поворот к Горькому и был поворотом от мертвой точки, когда погас в литературе дух народных масс. Мог ли в такой момент не возбудить к себе внимание М. Горький, могло ли не получить отражения это внимание в большой прессе? Группа московских молодых адвокатов — читали мы — послала М. Горькому телеграмму следующего содержания по поводу его возвращения на родину. «Приветствуем вас, нашего любимого писателя, в годы всеобщего упадка и уныния неустанно будящего веру в народ и его светлое будущее, и желаем вам в родной почве почерпнуть новые силы для вашего славного труда». Это было внимание со стороны «общества». Однако, не могли почерпнуть газеты, взявшие на себя монополию представлять общественное мнение, ничего более характерного...

II.

«Общественное мнение» всегда было и есть мнение тех кругов, которые представлены на поверхности. Возвысили свой голос 100 адвокатов—конечно, он попадет на столбцы большой прессы. Заговорил рабочий, приказчик, фармацевт—разве это важно, разве интересно? За примером недалеко ходить. Вот инцидент: «Достоевский и Горький», возникший перед самым приездом Горького в Россию по поводу постановки «Бесов» в Художественном театре и создавший своего рода литературу около себя.

Вопрос, поставленный Горьким, так глубоко задевал современную русскую муть, и так колоритен был самый протест, что чем разнообразнее общественные слои, из которых голоса исходили, тем лучше. Однако, разнообразие что-то не сказывалось, по крайней мере, в прессе. А. Н. Бенуа нашел «самый факт этого программного вопля совершенно неинтересным». М. Арцыбашев изрек по сему случаю, что «искусство это любовница, которая никогда не прощает и мстит за себя». А почтенные литераторы с Ясинским во главе обозвали М. Горького добровольным цензором [1]). И других мнений не было как будто в нашем обществе.

Да, да, «как будто», ибо в действительности был высказан ряд иных, противоположных мнений, покрытых массовыми подписями. Чтобы не быть голословным, приведем несколько образчиков. «Мы, рабочие,—писала М. Горькому группа рабочих,—обсудив ваше выступление против постановки «Бесов» на сцене Художественного театра, искренне присоединяемся к вашему протесту. Под видом служения искусству позорно проповедывать мракобесие, позорно служить реакции». То же повторяла резолюция членов рабочего общества «Образование» (за Московской Заставой), ознакомившегося с письмом М. Горького. «Горячий привет шлем мы любимому писателю рабочей демократии за его мужественное, честное слово. Пусть никого

[1]) „Речь“ № 267 и „Рампа и Жизнь“ № 39. 1913 г.

из рабочих не смутит негодование писателей буржуазии. Под личиной служения чистому искусству писатели буржуазии скрывают усердное служение культуре капитала. Наш голос слаб, но мы вместе с М. Горьким протестуем против проповеди в театре мракобесия, хотя бы и талантливой». Члены общества приглашали все культурно-просветительные учреждения и союзы профессиональные обсудить протест Горького.

Нападки на писателя задевали рабочих так, как будто они были направлены против них самих. И вот удары, в свою очередь, сыплющиеся в «авторитетов». «Рабочая демократия несет смертный приговор буржуазному искусству,—читаете вы,—вот почему против ее певца М. Горького злобно ополчились г.г. Ясинские из «Биржевки» с богоискателями в роде г. Мережковского». «Все честные демократы должны выступить против фигляров буржуазии, вроде Сологуба». «Вместе со всеми истинными демократами мы протестуем против ничем не прикрытого цинизма всех этих лицемерных крикунов, которые осмелились перед лицом всего русского общества из-за угла напасть на вас». «Пусть на вас льют помоями те, кто утратил настоящую идейную почву, все испуганные приближением пробуждающейся демократии. Грязь, брызги от писаний литераторов из «Биржевки» не запятнают пролетарского певца-поэта низов перед лицом пробуждающегося рабочего класса». «Грязь, брошенная в вас, осталась не только на руках бросивших ее, но и на душах и именах». Словом, в верхах самые резкие выпады против автора письма о постановке «Бесов», в низах столь же страстная его защита. Конечно, «весь Петербург», «вся Москва» не считались с этой защитой и не могли считаться, ибо и не подозревали ее. Низовые мнения игнорировались теми органами, которые создавали общественное мнение, и выходило так: других, кроме охарактеризованных, мнений нет, общество целиком против Горького, расценившего великого богоборца с высоты «партийных целей», «с точки зрения текущего момента».

Так было во время инцидента с «Бесами», так обстояло дело и в момент возвращения Горького с острова Капри. Нет фабрики, где бы чувствовался жизни пульс, и в то же время не были бы устремлены глаза на писателя. Но это не глаза «общества». Это глаза рабочей массы.

Вот что бросается в глаза, как только попадете в рабочий район, как только возьметесь за рабочую газету. Приветствия шли и из групп, близких рабочему классу. Напр., интеллигент-горняк, посылая приветствие писателю, счел нужным сослаться на свое пролетарское сердце. «Мое пролетарское сердце,—писал он,— подсказывает мне, что нужно выразить свою глубокую радость по поводу приезда демократического писателя Максима Горького. Шлю свой товарищеский привет». Политические ссыльные села Манзурки, узнав о возвращении Горького, приветствовали «любимого писателя рабочего класса и демократии». Учителя народные, Петербургской губернии, откликнулись из деревенской глуши. «Высоко чтим художественный талант писателя-демократа, выбрасывающего из-под своего пера целые потоки света, проникающего сквозь вековые преграды во все «уголки» темной, бесправной и бедной России. Да здравствует Максим Горький! — (20 подписей)». Все же,—согласно моим данным,—подобные приветствия единичны по сравнению с теми, которые шли непосредственно с фабрик, заводов, мест приложения физического труда. Я этим не хочу сказать, что народным учителям или политическим ссыльным Горький мало говорил. Ведь состав ссыльных был уже более чем на половину рабочий. Но таковы данные, которые у меня под рукой. Если хотите убедиться в том, для кого полны значения жизнь Горького, его писательская судьба, обратитесь к массе.

Чаще стали лекции (культ.-просв. общ. «Образование», «Наука и Жизнь» и пр.), посвященные писателю, и достаточно было посетить такую лекцию, чтобы почувствовать внимание. В рабочих библиотеках повысился спрос на Горького, хотя он и без того был впереди. Это не только атмосфера внимания, это и атмосфера тепла, та, которая дороже вокзальных встреч; это и атмосфера ожиданий, которая вернее чествований с их застольными речами.

На редком рабочем собрании, заседании культурно-просветительного общества не вспомнят: Горький вернулся, Горький в России. И сеть приветствий тянулась отовсюду, где дымится фабричная труба—из столиц, из провинции, с Кавказа, из Сибири.

Бесспорно, мы, люди интеллигентских кругов, знаем цену приветствиям. В силу тех условностей, которыми опутаны, которыми запутаны наши чувства, умственность, вся жизнь человека нашей среды, мы давно уже вносили в свои «адреса» больше стиля, чем огня. Вот отчего они так повторяли один другой. Вот почему они не столько характеризовали того, кого величали, сколько тех, кто величал. Приветствия, телеграммы рабочих тем и трогали за живое, что искусства в них не чувствовалось. Тщетно будете искать в них стилистических украшений: как общее правило, они столь же примитивно построены, сколько скупы на слова. Из всех организаций, групп рабочих, откликнувшихся на «второе пришествие» Горького,—пришествие территориальное, —одна комиссия рабочего театра при секции фабричного и деревенского театра общества народных университетов расщедрилась на десятки строк. Остальные же приветствия состояли буквально из нескольких слов, из которых явствовало, что писали их подлинно рабочие без «посторонней помощи». Зато в смысле определенности не оставалось желать большего.

Цифры не скажут с такой убедительностью, как эти строчки рассказали о том, по какой струне, по какому месту ударил М. Горький рабочих в настоящем, чего ждут они от писателя, вернувшегося в момент напряжения сил, в будущем...

III.

В противоположность писателям привилегированных кругов, Горький и по происхождению, и по духу художник-пролетарий; значит, родной, значит, близкий—так нащупывали эту струну, это место рабочие разных профессий, рабочие разных мест.

«Приветствуем родного нам по духу писателя, после долгого пребывания в изгнании, с возвращением на родину», писали рабочие коломенского района в количестве 150 человек». «Мы, члены общества рабочих с.-петербургского портняжного дела, как пролетарской организации, выражаем свою глубокую радость по случаю приезда на родину родного всей демократии товарища, писателя Максима Горького». «Радуемся твоему возвращению из изгнания. Опять ты с нами. Опять зазвучит твой бодрящий голос к народу на многострадальной родине; польется твоя свободная песня жизни по рабочим кварталам» (слушатели-рабочие лекции Андреева в Самаре).

Общее собрание членов культурно-просветительного общества «Знание» «шлет привет товарищу и идеалисту рабочего класса после долгого вынужденного скитания за границей» (200 подписей), С.-Петербургское профессиональное общество рабочих булочно-кондитерского производства «Максиму Горькому, рабочему-литератору»: «Привет тебе, товарищ, вернувшийся из изгнания». 2 ученика-рабочих приветствовали «писателя-пролетария», 34 читателя «Новой Рабочей Газеты»—«дорогого писателя-демократа», группа металлистов выборгского района, в числе 30 человек, «пролетарского писателя, горячо любящего свою родину и свой рабочий угнетенный народ»; члены культурно-просветительного общества «Источник Света и Знания», в числе 150 человек, «писателя-демократа». Вопрос о том, в какой форме выразить приветствие художнику-пролетарию по случаю возвращения, такое разрешение получил в Нарвском районе, где он дебатировался с особым оживлением. Рабочие высказались за поднесение Горькому лаврового, серебряного венка. На Путиловском заводе открыта была подписка и сбор средств для этой цели.

Таков М. Горький в глазах рабочих-петербуржцев. И слово в слово,—точно сговорившись, —повторяли рабочие-москвичи. «Группа торговых служащих приветствует писателя-демократа по поводу возвращения его на родину, видя в его лице писателя, родного духу рабочих» (193 чел.). «Вы вышли из

нашей трудовой земли, — писали рабочие завода Ганден,— и когда сделались великим писателем, то чутко касались в своих произведениях нашей жизни. Примите же, автор «Буревестника» и «Песни о соколе», наши горячие чувства любви, а также нашу искреннюю радость, что вы опять на родине. Милости просим!» «Дорогой товарищ Алексей Максимович,—писали рабочие-артисты, — комиссия по устройству рабочего театра в Москве приветствует вас, дорогого учителя и певца о гордом и смелом человеке, приветствует ваше возвращение на горячо любимую вами родину. Ваше долгое, вынужденное отсутствие тяжелой болью отразилось в сердцах сознательного пролетариата. Но из далекого Капри искры горящего сердца Данко, факелы великой любви к людям зажигали в наших гнетущих сумерках суровой действительности великую веру в светлое будущее человека». Артисты, — наряду с приветствием,—благодарили писателя за отзывчивость и внимание к ним лично, за совет в трудном деле создания рабочего театра: «Вы так горячо откликнулись на такое к вам обращение»... Таково же обращение представителей пятнадцати фабрик и заводов Лефортовского района. Они гордились Горьким, потому что он вышел из их среды и остается в ней, по их мнению, своими художественными переживаниями и социальным существом.

Из провинции писали так же коротко и так же выразительно: «Присоединяем и наш голос к голосам всего русского пролетариата, приветствуем возвращение выразителя наших надежд и стремлений, певца жизни, труда и свободы» (профессиональное общество рабочих по изготовлению одежды в Киеве). «Приветствуем дорогого писателя-друга» (Белая Церковь). Группа работниц по организации женского дня в Киеве «шлет горячий привет писателю-единомышленнику» (20 подписей), группа организованных служащих гор. Николаева—«товарищу-писателю», 62 рабочих Новгорода—певцу «Буревестника» и «Песни о соколе», «видя в нем родного душе пролетария-писателя и последовательного демократа». «Я, один из местных рабочих,—писали из Закавказья (Елизаветполь),—прочитав в газетах о приезде товарища-писателя-пролетария, сердечно приветствую его возвращение»... «Шлем горячий привет певцу нашей жизни. Мы рады, что он снова в наших рядах» (Елизаветполь). Вот как описывал самарский корреспондент лекцию о М. Горьком. Зал был переполнен слушателями, большинство которых были рабочие, пришедшие послушать о своем любимом писателе. М. Горький лектором был охарактеризован как писатель, вышедший из рабочей среды и посвятивший себя защите интересов пролетариата. В литературно-музыкальном отделении был прочитан и продекламирован ряд небольших произведений М. Горького. Лекция закончилась хоровым пением «Солнце всходит и заходит». Своей постановкой лекция резко отличалась от других лекций, где слушатели так чужды друг другу. Она носила характер товарищеского вечера. Все передано было так тепло, задушевно и товарищески, все дышало одним духом солидарности. После лекции не было того крика и недовольства, которые являются постоянными спутниками всех общественных собраний. В ожидании очереди у вешалок отразилось отчетливо уважение друг к другу—не было никакой сутолоки.

«Писатель-пролетарий», «вышедший из трудовой земли», «родной по духу», «родной всей демократии»—вот представление о писателе, характерное для фабричной среды. Горький в этом отношении не исключение. Однако, в популярности Горького есть особенность, типичная для наших дней. Для тех, кто следит за кадрами рабочей интеллигенции, пустившей такие корни вглубь и вширь, благодаря открытым рабочим организациям, не тайна тенденция, ее проникающая сверху донизу—тенденция во что бы то ни стало выдвинуть своего брата-писателя. Это, действительно, потребность, вне удовлетворения которой не было бы ни рабочей газеты, ни рабочего журнала, ни рабочего сборника, не говоря о той жажде «гласности», которая инстинктивно живет в пролетарии, сознавшем свое я. Естественно, ломая голову над вопросом о социальных границах творчества, выдвигая поэтов, думающих думу рабочего класса, публицистов, поднимающих эту

думу на высоту теории, рабочая интеллигенция не может не видеть в Горьком прежде всего пролетария,—писателя-пролетария.

Отсюда ясно, чего ждала она от Максима Горького. Она не отделяла его от тех поэтов, беллетристов, публицистов, которые уже обслуживали рабочую литературу, рабочую прессу. Но здесь перед нами была еще только «колыбель», в которой явится писатель. Как выражался рабочий-поэт Самобытник: «мы лишь другим готовим путь». Из товарищей Самобытника по дарованию, по кругу влияния еще не было ни одного, который бы, так или иначе, уже вырос в величину.

Чего же требовала рабочая интеллигенция от писателя-пролетария вообще? Приветствия Горькому отвечают на этот вопрос следующим образом.

Рабочие портняжного дела в С.-Петербурге писали ему: «еще долго освещайте тот путь, по которому приходится итти всему трудящемуся классу к лучшему будущему»; члены Общества «Образование»: «так же верно и честно служите тому делу, которому вы служили до сих пор»,—«дорогой для нас деятельности на литературной ниве под знаменем трудящихся масс»; члены Общества «Знание»: «пусть родная земля ему станет матерью, а русский рабочий класс протянет ему братскую руку», «дабы и в будущем он мог служить так же преданно тому делу, которому служил до сих пор». «Мы надеемся,—говорили московские рабочие,—что вы еще годы послужите талантом тому народу, из которого вышли. Отмеченные таланты нужны народу». Рабочие-артисты надеялись, что в недалеком будущем «вы не преминете принять посильное участие в работе нашей». «Дорогой учитель, живите много, слагайте новые и новые песни безумству храбрых, зажигая веру в светлое будущее человечества». «Много, много лет работайте на пользу пролетарского дела» (рабочие Лефортовского завода).

«Стой на своем посту»,—выводила и рабочая провинция. «Привет тебе, дорогой писатель. Мы уверены, что впредь

знамя пролетариата будет твоим знаменем, и будущее со своими светлыми лучами будет для тебя тем маяком, с которым связаны все надежды. Все, что только мы можем выразить своим сердцем, шлем тебе» (118 подписей рабочих из Самары). «Вы, глубокочтимый Алексей Максимович, своими песнями и словами глубокого убеждения будете окрылять родной народ в борьбе за завоевание лучшего светлого будущего»; «желаем здоровья и сил, чтобы еще дольше служили на пользу рабочего класса»; «выражаем уверенность что скоро добьемся таких условий, при которых изгнание лучших людей станет невозможным».

Рабочий не чтит уже «авторитета», не относится к писателю абстрактно. Верное изображение пролетария может дать лишь тот, кто знает его радости, его печали по опыту, кто жил его чувствами, его стремлениями. То, что рабочему дорого, то, что рабочему близко, было близко душе М. Горького. Пусть же он остается М. Горьким, проводит свое я, пролетарское я. «Пусть не отрывается от нас, не сливается с образованными верхами»—вот смысл пожеланий. Источник жизни в нас самих — «сохраним же наши таланты, наши силы для себя, для своего кровного дела».

Это не единичные обращения. Это общественная волна. Разумеется, не мало было попыток остановить ее. Так, члены общества «Образование» подняли вопрос о приветствии после лекции, посвященной писателю, оценке его творчества. Едва приветственная телеграмма была провозглашена по окончании лекции, полиция потребовала, чтобы рабочие немедленно разошлись, так как обсуждения и принятия такой телеграммы она не допустит. Однако, таким путем остановить что-либо было трудно. На другой же день рабочие писали: «расходясь по требованию пристава, мы, рабочие, все же решили в рабочих газетах приветствовать М. Горького, что и делаем».

IV.

В рабочих изданиях появляются десятки стихотворений, написанных «применительно к случаю». Вот одно, начинающееся словами:

Привет тебе шлем, наш писатель родной,
Товарищ по духу и друг дорогой.
Тебя не пленила чужая страна...

Волшебно цветами одета она,—по словам стихотворца,— и солнце греет все время. Но певец жизни-борьбы вернулся обратно туда, где так холодна зима.

Опять ты увидишь: в родимой стране
Весь люд трудовой в безысходной нужде.
Здесь чуткое сердце твое заскорбит,
И вновь твое слово для нас зазвучит...

Зазвучит... над «дымящими углем заводами»... В стихах этих в поэтической форме отразилось то настроение, которым проникнуты приветствия, с которыми мы ознакомились выше. Приводим некоторые из них. Редкий рабочий, пишущий стихи, не посвящал хотя бы одного своего произведения Максиму Горькому. Но в большинстве случаев непосредственного отношения к последнему оно не имело. И здесь приводим мы лишь те поэтические отклики, в которых говорилось о самом Горьком.

В редакцию «Вестника Портных» прислан был портновским подмастерьем такой «Привет Максиму Горькому»:

Тебе, поэт земли родной,
Привет я шлю безвестный свой.
Страдал ты с самых детских дней,
Изгнанник родины своей.

Больной с усталою душой,
Приехал вновь ты в край родной,
Где все живем мы в мраке ночи,
Еще слепящей наши очи.

* * *

Но в тьме ночной, в сырых углах
Давно горит тот свет в сердцах,
Который раз тобой зажжен...
И тлится он до светлых ден...

И светоч тот несем все мы
До дня могущества весны.
Поля родные еще спят
Пока, цветами не пестрят.

* * *

Но их дыханье слышишь ты.
Их пробужденье—не мечты.
Ты веришь в близкое, наш друг,
И забываешь наш недуг.

Хотя не пели птички неба
Зорю прекрасную весне,—
Еще свободы мы, как хлеба,
Все ждем... и требуем—во сне.

* * *

И точно вестник, грач пернатый,
Слетел вдруг к нам ты с теплых мест.
И знаем мы: добром чреватый,
Настанет день борьбы, торжеств...

Для пролетариев России,
Для обездоленных ты—свой.
Не уезжай в края чужие,
Нам нужен голос твой живой.

Другой пролетарий приветствует возвращение Горького.

Там в лазурной стране, одинокий,
Ты о родине часто грустил.
Твой призыв к солнцу бодрый, далекий
Эхом гулким до нас доходил.
У подножий классических статуй,
У красивого моря, средь скал
Чтил ты родину нежно и свято
И ее в синих далях искал.

Автор этих строк счастлив, что эта грусть продолжалась недолго:

Эта грусть продолжалась недолго.
Снова ты среди близких друзей,
Снова свидишься с матушкой-Волгой,
С ширью русских просторных степей.

Нижегородский конторщик вспоминал роль Горького в черные дни безвременья. Не хлеба просили они, пролетарии, у певца, а песен могучих:

Мы ждем твоих песен. Будь в них, как пророк,
В дни черные ужасов, крови;
Вплетем иммортели тебе мы в венок
В знак истинной нашей любови...
...И вышел певец. Средь немой тишины
Струны вещие в тьме задрожали,
Но звуки их были не грусти полны,
Не черных дней черной печали.—
Казалось, то волны звенят об утес,
Сверкают под солнцем огнями...
Полны они были кипучих угроз,—
Будили покой над полями...
Могучая песня звенела в тиши,
Полна красоты вдохновенья:
В них слышался призыв мятежной души,
Зовущей на подвиг и мщенье:
„Я песню принес только смелым душой,
Сердца чьи прощать не умеют,
Кто счастье не просит с покорной мольбой,
Чьи очи от слез не темнеют;
Кто верит глубоко в грядущий рассвет
И с грозным, мятежным напевом
Прокладывать станет свой пламенный след
Под знаменем мести и гнева“...
Умолк. Был прекрасен певец молодой,
Глаза вдохновеньем горели,
И чудный венок над его головой
Сплелся из живых иммортелей...

О бодрости, которую дает ему в годину черных лет М. Горький, говорит и московский стрелочник:

Пускай летят с прощальным криком птицы
В глухую даль на светлоокий юг,—
Я верю в жизнь, в победный луч денницы,
В прекрасный мир без холода и вьюг.
Я бодр, я смел, безверьем не измучен,
Еще горят в душе моей огни,
Пусть будет сон томителен и скучен,—
Я верю в жизнь и ласковые дни.

«Люд голодный, в трудах изнывающий», читаете в стихотворении, воспевающем Максима Горького:

Я чеканил те песни не молотом,
Я отделывал их не резцом:
Заблестели твоим они золотом,
Забелели твоим серебром...

Ты—мирской неоцененный труженик,
Проводящий бессветные дни.
Я—мечтатель и горький твой туженник,
Приношу тебе песни мои.
За станками твоими железными,
За машиною, в темной норе,
Пусть напомнят, что жизнью грядущею
Не бездельники, праздно живущие,
А твои овладеют сыны...

Все это в отношении поэтических достоинств не высоко. Есть и совсем плохие строки. Вот, например, стихи, изображающие Горького уже в России:

Я смотрю неприветно, угрюмо:
Заунывные музыки звуки
Навевают мне мрачные думы,
Пробуждают все старые муки...
Я вернулся сюда из изгнания—
Из далекой цветущей чужбины,
Перенес все лишенья, страданья
И увидел родные картины...

Но как ни слаба поэзия в отношении мастерства, в одном нельзя ей отказать: *в неподдельном подлинном чувстве,* которым она согрета. Мастерством выделяется, несомненно, лишь стихотворение типичного писателя-пролетария И. М. Касаткина, которое он мне прислал по возвращении М. Горького. Насколько мне известно, стихотворение это не было напечатано. Поэтому помещаю его целиком:

Алексей человек божий.

М. Горькому.

Лишь солнце марта горячим оком
Снега иссверлит, взбурлит дороги,
В раздумьи тихом и одиноком,
Пресветлый, юный, в сермяжной тоге
Идет он Русью печальной, вешней—
Такой ей близкий, такой нездешний...

———

Пушатся вербы, и жаворонок
Чурлит, купаясь в бездонном небе.
Зрачнеют дали, ручей так звонок...
И думы тленной о дне и хлебе
Уж нет, упали забот всех цепи—
И манят долы, леса и степи...

———

Моря увидеть, измерить сушу,
Исчерпать взором и ширь, и дали...
Законов темных, гнетущих душу,
Изведать тайны, разбить скрижали...
И духом вольным, освобожденным
Взнестись высоко над обыденным.

Идут сироты земли родимой—
В алканьи правды, в тоске о боге.
А между ними, никем не зримый,—
Пресветлый, юный, в сермяжной тоге,
Всех упований вобравший токи,—
Такой всем близкий, такой далекий...

V.

В хоре голосов, шедших из рядов пролетариев, были и недовольные. Это писатели-самоучки полу-рабочего, полу-крестьянского типа, к моменту возвращения М. Горького выросшие в некую величину и все взоры устремившие на него, ожидавшие от писателя и помощи, и одобрения. И вот разочарование.

— Горький не только не увлекает меня, но положительно разочаровывает,— писал мне один суриковец; Горький дал суровую оценку его произведений.

— Я поражен его невниманием к нам, писателям из народа,—слышал я от другого.

Остановимся на отношении Горького к писателям из народа. Его такими характерными штрихами изобразил в своей книге-исповеди «Прокрустово Ложе» безработный пролетарий М. Сивачев. Пример Сивачева выпукло иллюстрирует то, что «разочаровывало» писателя-самоучку в его литературных ожиданиях от Горького. Но воспроизведем прежде всего рассказ Сивачева об этих отношениях.

Как только он прочел биографию Горького, «точно бог надежд поселился в избенке» его. «Трепетом восторга и гордости преисполнился я за Горького: из низин жизни и так высоко? И впервые у меня явилась мысль, что образование для таланта необязательно» [1]). Естественно, все чаще и настойчивее преследует его мысль: надо отнестись к Горькому— «он решит мою судьбу». И вот, узнав, что Горький в Нижнем, Сивачев продает избу и едет в Нижний с деньгами, на которые можно прожить не более трех месяцев; едет с сознанием, что теперь нет уже угла, куда бы, в случае неудачи у Горького, можно было вернуться доживать свой век, но зато с «великими надеждами»: нет, если у него окажется дарование, Максим поддержит. Такой человек. Но неудача... Горького совсем нет в Нижнем. И Сивачеву остается «кричать»: да, да, Горький! Милый человек, живет и не знает, какими мытарствами искупают веру в него... Но от этого не умерла надежда, что «где-то существует Горький», и Сивачев настигает, наконец, писателя где-то в Финляндии на даче. Посмотрел Горький на его писания и медленно пробасил: писать вы можете.

«Я смотрел на него: вот человек, в которого я питал такую большую веру, человек—моя первая и последняя надежда».—«Расскажите мне о себе подробно»,—просит Горький и пока Сивачев говорит, смотрит на него «большими, тяжелыми, буквально звериными глазами такого крупного зверя, который чувствует свою мощь и презирает находящегося перед ним маленького зверька за его бессилие». Сначала Горький говорит Сивачеву: «Из ваших рассказов я вынес впечатление, что вы будете писать, как пишут многие, но ради этого поддерживать вас не стоит». Но после того как Сивачев послал ему рассказ «В заводе», Горький пишет нашему «литературному Макару», что рассказ его много лучше первых, проще и яснее, дает ему деньги и письмо к доктору, который должен лечить его, и с этих пор поддерживает его чем только может. Сивачев находит, что он нашел то, чего искал. «Я ловил себя на тихом, благоговейном чувстве: я верил в Горького, как в ту большую мудрость, которая раскроет мне меня, даст мне ясность взгляда на все мои смутные представления

---

[1]) *Михаил Сивачев,* Прокрустово Ложе (Записки литературного Макара). Книга первая. (Книгоиздательство „Современные Проблемы". Москва 1911 г.).

и запросы». И нельзя было не ценить ту тонкую, трогательную предусмотрительность, которую писатель проявлял по отношению к больному Сивачеву. «Я говорил себе, что, получая все новые и новые подтверждения человечности этого человека, я должен откинуть все сомнения в нем, я должен в него верить без единой дурной мысли о нем».

Сивачев передает такую сцену. Горький отправлял его в Ялту, которая была для него, больного человека, необходима. Но больной решает иначе. Набравшись решимости, он говорит:

— Алексей Максимович, у меня к вам просьба: если это можно—то нельзя ли мне в Ялту не ехать? Я хотел бы остаться здесь.

Горький немного удивился.

— Почему? Ну, и человек! Там — море. Кроме моря— такая природа... А главное климат. Здесь скоро наступят дожди, слякоть; вам с таким ревматизмом плохо здесь будет.

Вновь я помолчал и тихо ответил:

— Мне хотелось бы быть поближе к вам.

«Черта хороших натур—замечает Сивачев — это очень скромно, даже стыдливо принимать выражения хороших чувств к себе и стыдливо выражать свои чувства такого же порядка. Эта черта есть у Горького. Взгляд с моего лица он перевел в сторону; лицо его подернулось мягкой дымкой смущения, и тоже тихо он сказал:

— Тогда оставайтесь здесь. Неволить грех.

Наконец, Горький уезжает, и отношения кончаются. Сивачев склонен видеть в этом «звериные глаза Горького» и так и не об'ясняет, в чем дело. Но дело ясно само собой. «Васька Богданов—пишет Горький Сивачеву о его рассказе,— великолепная тема, но написана скучно. Длинно! Скучно! Для меня несомненно, что вы будете писать и должны писать, но теперь вам нужно учиться. Нужно читать и читать как можно больше и—хорошие книги». И сам Сивачев к этому прибавляет: «я беру читанную им рукопись, просматриваю и понимаю, что страх быть покинутым висит надо мной, как Дамоклов меч; этот страх заставляет меня спешить, спешить до того, что я успеваю только выявить мысль, замысел, облечь этот замысел в нужную форму, в красивые краски... мой истощенный малокровный мозг требует на это время, а я ему этого не даю»... Отсюда—«чудовищный по силе удар», о котором пишет наш пролетарий: Сивачев не оправдал надежд, которые возлагал на него писатель, и «утонченная жестокость», «слишком отвлеченные, слишком узкие, жестокие представления о человеке» здесь ни при чем.

VI.

Горький—с первых встреч с писателями-самоучками— указывал им на трудность задачи, которая стоит перед ними: об этом говорят все письма Горького, относящиеся к моменту возвращения в Россию, с которыми мне удалось ознакомиться. Что писатель-самоучка происходит из крестьян, из рабочей среды, для него вопроса ни с какой стороны не решает. Вопрос решает дарование, та художественная культура, вне которой талант не в состоянии распрямить крылья. И Горький не льстит самолюбию самоучек, но строго, почти сурово расценивает силы их, советуя им *учиться, прежде всего учиться.* Он доказывает им, что дешевого успеха рабочей интеллигенции не нужно, что достаточно посредственностей плодят привилегированные классы, делать же это в народе «грешно и стыдно», так как в народе дремлет достаточный запас непочатых, но подлинных сил.

Но есть тип самоучек,—по складу своему мещанский,— не доросший до понимания столь простых истин. Из книг и брошюр он впитал в себя лишь фимиам, который русская интеллигенция искони курит народу, и ему кажется, что раз он, писатель-самоучка, происходит из народа, то уже тем самым он имеет большее право на признание, чем заслуживает его писательское дарование. Но Горький строг, может быть, более, чем следует,—и вот причина враждебных нот, о которых у нас речь.

Я как-то передал С. Н. Кошкарову, покойному суриковцу-поэту, лестный отзыв о нем М. Горького. Но Кошкаров отнесся к отзыву равнодушно:

— Относительно Горького скажу,—писал мне покойный,—что он в стихах не особенный знаток, и отзыв лестный его не имеет для меня особой ценности. В свое время я Горькому писал два письма, но ответа не получил. Думаю, что Горький желал бы, чтобы талант из народа шел в его созвездии.

Еще резче писал о Горьком в журнале суриковцев В. Ермилов, тоже не встретивший того приема, какого ожидал от него [1]).

В. Ермилов уверял суриковцев, что «Горький Максим, словно забыв, откуда сам вышел, и чего, каких усилий стоило ему добиться и владения литературной формой, и признания его таланта в массах читательской публики, смотрит придирчиво, строго на таких же, в сущности, выходцев из народа, как и он сам, и беспощадно осуждает страстную их обычно, конечно, по первоначалу неловкую и неуклюжую форму выступлений в печати и спешно-брезгливо выдает им всем разом, гуртом один общий патент на бездарность».

В. Ермилов вынес такое впечатление из личной беседы с М. Горьким:

— Напрасно, напрасно,—упрямо твердил он мне, когда я лет двенадцать назад открыл широкий доступ в свой тогдашний журнал «Народное Благо» писателям из народа, —напрасно вы их так легко пускаете в среду заправских писателей. Вы их тем портите и будете нравственно отвечать за последствия.

— В чем же тут вред, Алексей Максимович, —спрашивал я его, —если между нами я встречаю подчас людей способных, обладающих литературной формой, не менее, чем многие,—ох, как многие из тех интеллигентных писателей, которые легко

1) „Друг Народа". (Издание Суриковского Литературно-Музыкального Кружка. 1915 г.).

находят себе приют на страницах наших журналов? Почему же крестьянам - поэтам, ремесленникам, пишущим не хуже профессионалов-литераторов, запирать те дверцы, которые так широко раскрываются нередко даже перед заведомыми и безнадежными, неисправимыми посредственностями, бездарностями.

— А потому,—решительно, взволнованно, почти гневно возразил он мне,—что в народе распложать посредственностей грешно и стыдно. Отвлекать работников от обычной их работы ради дешевого успеха не стоит. Не хорошо развивать в них самообольщение,—это их унижает...

В. Ермилову не до существа того, что говорил писатель. Ему было обидно, что последний «выдавал общий патент на бездарность». Но что делать Горькому, если он дарования—ну, хоть в том же Ермилове—не видел, не видел и того образования, которое необходимо самоучке? В. Ермилов—«в ответ на величавую реплику» Горького — утверждал, что для наших тружеников-горемык творить, складывать песни и думы, писать рассказы в часы досуга это, может быть, единственное и целебное и великое утешение в скорбях и нравственное удовлетворение. Это, конечно, верно, как и указание на нежелание узнать и признать тихого и застенчивого массового песнеслогателя-бандуриста за полноправного собрата-поэта, обладающего теми же возможностями, а по временам теми же осуществлениями, проявлениями истинного дара, теми же, хотя не всегда, быть может, оформленными силами духа. Но от этого до признания дарования у тех писателей из народа, у которых такового нет, еще далеко.

Да и даровитым самоучкам *требовательность Горького* скорее на пользу, чем во вред. Насколько это так, видно по тому, что большинство самоучек, даже близких по кругу чувств и понятий к Кошкарову и Ермилову, это понимали.

Не Горький ли—тотчас по своем приезде—выпускает альманах писателей из народа? Не он ли открывает страницы «Летописи» для даровитых поэтов и беллетристов из народа? Конечно, суриковцам нужно учиться прежде, чем печататься

в журналах. Многие писатели-самоучки, которые, как видно из книжки «Писатели-самоучки», посылали Горькому свои произведения еще за границу,—по приезде писателя в Россию,—отдали себя на его суд. Многие услышали суровую оценку своих опытов, но вот ведь товарищ Кошкарова по кружку поэт-конторщик Семен Фомин, книжка стихов которого вышла с предисловием Н. А. Рубакина, с'умел понять и оценить суровые советы писателя.

«От Алексея Максимовича ответ я получил,—писал он мне.—Один рассказ мой он нашел анекдотичным по фабуле. Другой же мой рассказ он нашел совершенно небрежным. Указал на длинноты и подчеркнул в двух-трех местах неправильные и некрасивые обороты речи. В заключение Алексей Максимович сказал, что надо много и усердно учиться. Сначала меня письмо его ошеломило. Я расстроился и ночи две не спал. Потом я понял, что—при всей строгости Алексея Максимовича к моим произведениям—безнадежно он на меня не смотрит. И теперь несовершенства свои я вижу более, чем когда-либо. Учусь и буду учиться. Алексей Максимович строго ко мне отнесся и тем дал почувствовать, насколько серьезно надо относиться к художественному творчеству. Теперь книжку свою «Песни радости и печали» я бы в таком виде уже не выпустил. В будущем я ее переиздам, выбросив и исправив добрую половину. Особенно над рассказами своими, после замечаний Алексея Максимовича, я задумался. Мне кажется, что «порка» М. Горького за мои грехи, ошибки и небрежности окажет мне большую пользу».

Так подействовал суровый Горький на Фомина. А вот письмо другого пролетария-беллетриста В. Лазарева, тоже члена и даже секретаря Суриковского кружка.

«Алексею Максимовичу послал я два рассказа, — писал он мне.—Расщедрился. И успел уже получить ответ. Пишет Алексей Максимович так: «Нутряная болезнь»—рассказ для газеты. Он будет значительней и лучше, если вы остановитесь на противопоставлении веселого характера Кузьки с его сиротством в мире. Это следует развить подробнее. «Куриная слепота»—анекдот, несколько напоминающий самодельные рассказы актеров; это особенно бросается в глаза, когда читаешь рассказ маляра о его любви. Обратите внимание на строй вашей фразы, очень неправильный, незвучный и порой многословный. Писать надобно просто, четко, это будет правдиво и красиво». По случаю такого ответа мне и сегодня жарко, хотя я был в бане на прошлой неделе. Возможно еще такое состояние и потому, что я за ответом гонялся на станцию каждодневно, как услал рассказы. Вестимо, это глупо, но зато... суд правильный. Придется еще мне раззоряться. А все потому, что литература дорога мне. Отними ее, кажись, и руки не к чему будет приложить».

Суровость Горького, не склонного льстить самоучке-пролетарию, чаще воспринимается им так, как их восприняли Фомин и Лазарев, чем так, как Кошкаров и Ермилов. И если впоследствии и Сивачев стал «вырабатываться», не только «выявлять мысль, замысел», но и «облекать этот замысел в нужную форму», то не обязан ли он этим суровым советам Горького?

VII.

Как ни ворчали самоучки, рабочие разных взглядов и убеждений говорили лишь о том, как им дорог писатель, вернувшийся в Россию. Это был язык сердца, столь трогательный, что иное выражение и подхватывалось. Так, я цитировал в свое время выражение одного рабочего: «нет у меня других, кто был бы дороже великого и доброго Максима». Теперь студенты Московского университета (250 подписей), изображая как больно, как стыдно, что Горький был отброшен от родины, как им верится, что слово горьковское будет потрясать, учить действительному творчеству жизни, повторяли: «да не оставят вас силы, великий и добрый Максим».

Не трогательно ли этакое вот приглашение в Самару: «Уважаемый Алексей Максимович! Не надо много слов, ни громких фраз для того, чтобы вы поняли наше искреннее

сочувствие по поводу вашего недомогания и нашу радость, когда мы узнали о вашем выздоровлении. Этими немногими строками мы хотим напомнить вам, дорогой наш писатель, что мы, как организация, вопреки, может, желанию темных сил, продолжаем жить и с особой пролетарской гордостью считаем вас почетным членом самарского общества печатников, которое из года в год всегда пользовалось вашей заботой и вниманием, несмотря на вынужденное ваше пребывание за границей. Теперь, в этот тяжелый и исторический момент, вы опять на своей родине, среди нас, и мы чувствуем эту близость. Вы, понятно, не сомневаетесь в нашем естественном желании видеть вас в Самаре—на Волге, где попрежнему пролетарская трудовая песня от берега к берегу пронесет свое: „еще разик, еще раз“. Надеемся, уважаемый Алексей Максимович, что вы нас вполне понимаете, и нам незачем вам доказывать, что наше желание—не простое обывательское любопытство. Полагаем, что и демократическое население гор. Самары, несомненно, разделяет наше желание видеть вас и услышать ваше живое слово, так необходимое в переживаемое нами время».

Да, в добрый час приехал Горький.

Нет стены: масса выросла. Путь к массе найден. А сколько дарований билось в поисках этого пути, сколько теряло «душу живу»!

Не здесь ли истекло кровью писательское сердце Глеба Успенского? Вспомните его письмо в общество любителей российской словесности, оканчивающееся «радостным указанием» на массы «нового свежего любителя словесности», «нового пришельца-читателя», читателя-пролетария. Если бы это было так, быть может, с писателем не случилось бы того, что с ним случилось. Главного пути не было. Масса была чужда того живого дела, которое он делал, и живое дело превратилось в живую формулу, не дававшую сил для жизни, для борьбы.

Теперь путь, над которым бились старики, был найден. То дело, от отсутствия которого спивались, сходили с ума, теперь звало, звало тысячами голосов.

Тысячи пролетариев констатировали, чем греет, чем светит М. Горький, и как раз к этому моменту издательство «Жизнь и Знание» приурочило издание сочинений М. Горького, печатавшихся в журналах и сборниках во второй период его деятельности.

«Большого художника с большим сердцем ожидало полчище народа», тем более, что художник-пролетарий в подлинном смысле этого слова—явление этих лет, тех самых, в течение которых Горький в России не жил, но в течение которых столь многое изменилось, столь многое назрело.

Очерк третий.

„Несвоевременные мысли“ (1917—18 г.г.).

I.

Годы принесли нам военный пожар, а вслед за ним февральскую революцию и октябрьский переворот. Жизнь рабочего квартала, психика рабочей интеллигенции изменились, и вот—в чаду переживаемых событий—Горький снова в центре внимания, голоса о нем не умолкают,

Что же это за голоса? Четыре года прошло с тех пор, как его приветствовала рабочая Россия. Но в своих „Несвоевременных мыслях“, печатавшихся в 1917—18 г.г., сам писатель сознает, что он уже не ее любимец: где стол был яств полон, там нынче гроб стоит.

«Не так давно меня обвиняли в том, что я продался немцам и предаю Россию,—пишет он,—теперь обвиняют в том, что продался кадетам и изменяю делу рабочего класса». Это в одном месте. «Почти ежедневно говорят мне,—читаем в другом,—что я «откололся» от народа». «Меня уже упрекают в том, что после двадцатипятилетнего служения демократии я «снял маску» и «изменил уже своему народу».

Ему грозят даже смертью: «Истерически настроенные люди пишут мне дикие письма—грозят убить». Горький нерв-

ничает; хотя уверяет, что эти нападки его не волнуют, но все же наводят на «невеселые» мысли. «Послушайте, господа,—обращается он к своим корреспондентам,—а не слишком ли легко вы бросаете в лицо друг другу все эти дрянненькие обвинения в предательстве, в измене, в нравственном шатании? Ведь если верить вам, вся Россия населена людьми, которые только тем и озабочены, чтобы распродать ее, только о том и думают, чтобы предать друг друга». Он убеждает их, что убийством ничего не докажешь. «Наказание смертью не делает людей лучше того, каковы они есть». Сколько ни убивай людей, остающиеся в живых все-таки пойдут по тому пути, которого требует история —«смерть не властна остановить развитие исторических сил», и, хотя в наши дни убивают людей не меньше, чем убивали раньше, победит «наиболее разумное, и грозить человеку смертью за то, что он таков, каков есть, безграмотно и глупо»[1]).

Но его не слушают. Пролетарии из «Правды»—той самой «Правды», которая три-четыре года назад собирала на своих страницах все, что характеризовало любовь читателя-рабочего к писателю-демократу,—теперь печатают статьи рабочих на тему «Раскисший Горький», фельетоны в роде «Максим—не Сим»:

Упившись соком виноградным,
Сорвал с себя одежды Ной,
И Хам, с хихиканьем злорадным,
Скользил по телу взором жадным,
Глумясь над отчей сединой.
Не точно-ль так же „честный“ Горький
Во имя правды, свысока
Вонзает взор пытливо-зоркий
В „гнилое“ тело мужика?

Раскисший Горький!—восклицают пролетарии. Вместо того, чтобы учить рабочих, не согласится ли он поучиться у рабочих?

Они забрасывают его упреками. В иных из них слышится голос снисхождения. «Хочется верить, что писатель, бывший всегда глашатаем социальной революции, — пишет

[1]) „Новая Жизнь“ 1917 г.—№ 198, 1918 г.—№ 47 (262) № 48 (263).

интеллигент из народа,—и, несмотря на измену ей, написавший победные слова, не мог изменить социальной революции навсегда. Хочется верить, что Горький отвернулся от переживаемой нами социальной революции только потому, что не рассмотрел в первые смутные дни ее подлинного лица, но что он уже начинает его видеть и скоро возрадуется и воспечалится вместе со всеми, кто живет радостями и печалями нашей революции. Слишком дорог Горький социальной революции нашей, чтобы не верить, что он станет скоро в ряды ее идейных вождей, на место, которое давно принадлежит ему как буревестнику всемирной революции». Другие уже суровее: «Вы вышли из недр трудящихся масс, из народа,—пишет ему рабочий.—Вы болели его болью, вы горели огнем его надежд и стремлений. Ваш талант, пылавший пламенем души народной, вынес вас на гребни могучих жизненных волн демократии. Вы стали нашим буревестником, стали певцом демократии. Но за *последние годы и месяцы*[1])—годы жуткой войны и месяцы победоносной революции с ее безграничной силой разрушения старых устоев и творчества новых форм—вам стала недоступна песня бури. Битва жизни, которую вы воспевали, в гуще впечатлений которой жила ваша душа, ею пламенела, вам стала чужда. Вы—в стороне, вы—зритель. И в этом все ваше несчастье. От этого вы так побледнели, стали беспомощны, раздражительны, ворчливы. И это вы—автор песен о соколе, о Марко, так беззаветно погибшем, вы, гимнотворец безумству смелых! Не безумству смелых слагаете вы гимн теперь, а оправдательный приговор строчите тем, кто не с народом в дни его битв за волю, а в четырех стенах безопасности. Неужели из буревестника вы превратились в гагару, которой недоступно «счастье битвы»? Грустно, бесконечно грустно».

Наконец, третьи не останавливаются перед угрозами. Горький сообщал нам, что получил «несколько писем, в которых разные бесстыдники и безумцы пугают меня страш-

[1]) Курсив наш.

нейшими казнями». Вот одно из них, направленное по адресу писателя. «Ваш орган не соответствует настоящей жизни нашей общей,—грозили рабочие «пушечного округа Путиловского завода»,—вы идете за оборонцами вслед. Но, помните, нашу рабочую жизнь пролетариев не троньте, бывшей в воскресенье демонстрации, не вами демонстрация проведена, не вам и критиковать ее. А и вообще наша партия большинство, и мы поддерживаем действительных социалистов, освободителей народа от гнета буржуазии и капиталистов, и впредь, если будете писать такие контр-революционные статьи, то мы, рабочие, клянемся — вот зарубите себе на лбу, — что закроем вашу газету, а если желательно, осведомитесь у вашего социалиста, так называемого нейтралиста,—он был у нас на путиловском заводе со своими отсталыми речами,—спросите у него: дали ему говорить? Да нет, да в скором времени вам воспретят и ваш орган, он начинает равняться с кадетскими, и если вы, горькие [1]), отсталые писатели будете продолжать свою полемику и с правительственным органом «Правда», то, знайте, прекратим в нашем Нарвско-Петергофском районе торговлю. Адрес: Путиловский завод, пушечный округ. Пишите ответ, а то будут репрессии».

Нападки рабочих огорчают Горького, и он хотел бы просто, понятно раз'яснить им свое понимание. Но, видимо, против воли он резок, несдержан в выражениях. На угрозы он отвечает: «это глупо, потому что угрозами нельзя заставить меня онеметь, и, чем бы мне ни грозили, я всегда скажу, что путем подобных приемов нельзя добиться торжества социальной справедливости» [2]). Эта нервность говорит о том, как отзываются нападки на состоянии духа писателя, и истинная боль слышится в его словах, когда он обращается к массе, забитой до отупения, по его мнению, всем своим прошлым, когда он говорит: «Мне кажется, что я пишу достаточно просто, понятно и что смыслящие рабочие не должны обвинять меня в измене пролетариату».

[1]) С малой буквы.
[2] См. „Несвоевременные мысли“.

Но что же случилось с нашим художником в первый год революции? Чего хочет от него теперь читатель-массовик, тот самый, который так неожиданно повернулся к нему спиной?

II.

Центральный пункт выступлений и рабочих, и матросов против Горького—конечно, Октябрь, октябрьский переворот. «Мы всегда расчитывали, что этика для художников, писателей обязательна, а оказывается нет,—пишут ему солдаты.— Максим Горький, как видно, решил итти по стопам Куприна и Леонида Андреева и, закрыв глаза (или это только наивность?) утверждать, что большевики, бесчестя рабочий класс, заставляют его устраивать кровавые бойни и попускают к погромам и арестам ни в чем неповинных людей. Мы спрашиваем М. Горького, что это—наивность или сознательная ложь, а самое главное ответьте нам: кто больше позорит русскую революцию—товарищи Ленин и Троцкий или вы, т. Горький?».

Охлаждение стоит в связи вот с этой позицией, которую занял писатель по отношению к большевистской власти. Позиция эта была определенна и ясна.

«Теперь,—говорил он,—когда известная часть рабочей массы проявляет дух и приемы касты, теперь я, разумеется, не могу итти в рядах этой части рабочего класса». Он доказывал, что большевизм впал в национальную ошибку. На чем базировались успехи его, по мнению писателя, до тех пор столь родственного большевистским идеям и настроениям? На идеализации массовой стихии, на нежелании смотреть в глаза тому, что она есть в действительности. В свое время семидесятники идеализировали темную деревню.

Точно так же большевик, по мнению Горького 1917—18 годов, верит в рабочего, награждая его авансом всеми достоинствами. Но любовь к народу отнюдь не равносильна закрыванию глаз на отрицательные стороны его. Разве Глеб Успенский, говоривший, что крестьянин творит преподлейшие вещи, которого одно время обвиняли в клевете на народ, не

любил этого мужика, боялся откровенного слова правды? Для большевиков, по мнению Горького, напротив, рабочая масса не была предметом сериозного анализа. Идеализируя стихию, большевизм закоренелые недостатки их выдавал, по его словам, за достоинства.

Вот подкладка того разрыва, который об'явил писателю *красный* пролетарий; вот что оттолкнуло последнего от Горького идейно, а затем и психологически. В своих «Несвоевременных мыслях» писатель утверждал, что «превосходные душевные качества русского народа» не ослепляли его еще в 1911 году, когда он писал своих «Писателей-самоучек», что еще тогда он не преклонял перед ним колени. Тем более он не считал себя «приколотым» к нему теперь; не держался того взгляда, что народ свят и праведен только потому, что он мученик. Горький говорил, что у него есть любовь к трудовому человеку; что он «мучительно и тревожно» любит Россию, русский народ, ощущает кровную свою связь с ним; что в особенности рабочий класс он считает «мощной культурной силой» в нашей мужицкой стране. Но тем большую ответственность чувствует он за собой, когда судит о настоящем и будущем народа. Он имеет, мол, право говорить «обидную и горькую правду» о народе, ибо убежден, что лучше для народа, если он, Горький, эту правду о нем скажет первый, чем те враги, что молчат да копят злобу для того, чтобы этой злостью в свое время так же плюнуть в лицо народу, как они плюнули в 1905—06 г.г.

Какова же правда Горького? Надо прямо сказать: жестокая это правда.

Это—психика людей, согласно горьковской правде, которые все еще не могут забыть, что шестьдесят лет тому назад они были рабами и каждый из них мог быть выпорот розгами. Горький знает, что рабочий класс уже создал рабочую интеллигенцию—маленьких Бебелей, что героична была деятельность рабочей интеллигенции и до 1905 года, и после него. Но где она теперь? Война истребила десятки тысяч лучших рабочих, заменив их людьми, которые шли «на учет», чтобы избежать воинской повинности. Все это люди, чуждые пролетарской психологии, озабоченные мещанскими стремлениями к чисто личному благополучию. Верхний слой рабочего класса утонул в этой массе *швейцаров, мелких лавочников* и пр. И вот инстинкты «анархизма» нашли себе выражение в «нищенских идеях Прудона, а не Маркса». *Новому* рабочему это по душе, ибо он—человек, *чуждый промышленности*, не понимающий ее культурного значения. Разумеется, главный удар Горького направлен *против мужика* с его «дрянненькой азиатской догадкой»: «полуголодные нищие обманывают друг друга, и за это все притаившиеся враги рабочего класса возложат со временем вину именно на рабочий класс, на его интеллигенцию».

В качестве иллюстрации писатель рекомендует письмо, полученное им от крестьянки. Вы хотите знать, откуда у крестьян деньги? Вот вам пример—мой брат,—сообщает она Горькому.—В качестве солдата, он устроился в охране на железной дороге, где проходили поезда со спиртом, который он вместе с другими должен был охранять. И вот, прослужив там два месяца, он привез домой пять тысяч рублей. Вернулся он домой, положил деньги в банк, и вот тут-то самое характерное и открывается. Деревня знает, что он вор, но все довольны, все наперерыв приглашают его к себе. Сосватал он себе богатую невесту, ведь деньга деньгу любит. Ни один человек не осудил его,—пишет крестьянка, которая из боязни, как бы не поплатиться, не решается даже сообщить, в какой губернии, в каком уезде ее деревня,—только мне, сестре его, простой крестьянке, стыдно и больно, что у меня брат вор-казнокрад. А таких, как он, сотни тысяч» [1]).

Такова правда Горького. Для многих она оказалась неожиданной, и здесь, может быть, не лишнее напомнить, что высказал он ее еще до войны, если не ошибаюсь, *в 1912 году в своем «Письме к националисту»*. «Вы—народ безвольный,—писал он в этом «Письме»,—именно за это писа-

---

1) „Несвоевременные мысли“. См. отдельное издание.

тель Лесков—не революционер, как известно, а националист — называл вас «сором славянским» и «дрянью родной». Вы, считая себя представителями истинно-русского народа, представляете ту часть, в крови которой наиболее тяжко и густо выражено начало азиатское, восточное, влитое в кровь и мозг России монголами, усиленное рабством во время крепостного права». И далее: «Лесков, уже названный мною, сказал однажды: «Лет через пятьдесят-сто мы так опротивеем всем, что будем иметь дело с европейской коалицией. Придут немцы, какие-нибудь норманцы и завоюют нас. Очень похоже, что время, предвещаемое ими, недалеко, и едва ли не наступает оно. Приближается время, когда здоровые и не привыкшие стесняться люди придут к нам запросто и скажут: «Ну, ребята, довольно безобразничать. Это нам надоело. Вы в диком состоянии опасны для европейской культуры более, чем в свое время был опасен Китай» [1]). Не то же ли самое, слово в слово, повторял Горький теперь? И могло ли это найти какое ни на есть сочувствие в рабочем, фанатически поддержавшем власть большевиков?

Один матрос по поводу статьи Горького, посвященной матросскому террору, уверял в своем письме к последнему, что, читая его статью, он «болел душою». Едва ли мы ошибемся, если скажем, что это не более, как случай. В общем, конечно, матросы так же были против писателя, как и рабочие, ибо нападки на него исходили из самой гущи красных масс.

III.

Осуждение Горького, еще недавно признанного певца революции, буревестника восстания не только для России, но и для Европы и Америки, от кого деятели Октября менее всего могли ждать вражды к себе, нашло себе мотивировку в двух статьях «интеллигента из народа»: «Социальная революция и М. Горький» и «Ответ М. Горькому» [2]).

[1]) „Русская Иллюстрация", 1915 г. № 31.
[2]) „Правда", 1918 года, от 20 и 26 Января.

«Правда» предупредила своих читателей, что автор не большевик, не левый социалист-революционер; что он просто честный, любящий народ и ненавидящий его угнетателей интеллигент из народа, с которого бы не мешало взять пример самому «Максимычу». «Интеллигент из народа» выдвигал в своих статьях то, что ближе всего сердцу рабочего-большевика в его антипатиях к Максиму Горькому.

По словам интеллигента из народа, Горький напрасно упрекал народных комиссаров в том, что они пользуются рабочим классом в своих декретах, как материалом для своих опытов; экономическое раскрепощение народа достигается социализацией земли, национализацией банков, рабочим контролем, муниципализацией домов и т. д. Горький,—по мнению автора,—кричал вместе с помещиками и капиталистами: «вся власть учредительному собранию», не видя, что наука государственного права уже «бесповоротно» выбросила все парламенты в мусор истории. Горький, повидимому, не осилил элементарной истины, что крупные помещики, банкиры, фабриканты, торговцы и домовладельцы «являются паразитами», что «эти паразиты вносят моральное разложение», «испаскудили нашу культуру», и потому «преступный класс крупных помещиков и капиталистов должен быть упразднен». Насколько это так, Горький доказал своим протестом против заключения в тюрьму гр. Паниной. Не осилив же столь простой истины, Горький, «солидарный в данном случае со всеми реакционерами», «перестал верить в какую бы то ни было способность к революции крестьян, а затем не верит в революционный дух большинства рабочих». Словом, заговорив о «зоологическом анархизме взбунтовавшихся мещан», он «больше уже не буревестник революции, а прямой изменник ее».

Что интеллигент из народа противопоставлял М. Горькому? Наш народ политически растет не по дням, а по часам,—говорил он писателю,—все достоинства его теперь «спешат обнаружиться». За доказательствами недалеко ходить. Если бы слова Горького соответствовали действительности, то не должна бы иметъ место не только социальная, но никакая

политическая революция. Между тем рабочие, матросы и красногвардейцы сперва совершили политическое чудо бескровного свержения самодержавия, а затем раз навсегда упразднили господствующие классы России, лишив их власти распоряжаться. Вопрос о подготовленности нашего народа для социальной революции должен быть решен «совсем не в зависимости от нравственного и умственного совершенства крестьян и рабочих». Во-первых, если ждать той поры, когда, крестьяне и рабочие умственно и нравственно созреют для социализма, то «никогда нельзя было бы дождаться этого времени». Во-вторых, если большинство народа еще не доросло до социализма, то «стихийно тяготеет к социальной революции»; «оно переросло уже то состояние, при котором может позволить себя эксплоатировать», «примириться с паразитическим классом крупных собственников».

«Если бы Горький был прав в своей оценке политической сознательности наших рабочих и крестьян,—продолжает интеллигент из народа,—то безумными экспериментаторами и фантазерами должны были бы ему казаться не только народные комиссары, но и кадеты, проведшие закон о всеобщем избирательном праве, единственно умным политиком должен бы почитаться лишь В. М. Пуришкевич—убежденный монархист,—а еще «умнее»—те немногие наши реакционеры, которые и поныне еще жалеют об упразднении крепостного права». В самом деле, раз пролетарии чужды пролетарской психологии, политически неразвиты, лишены естественного для пролетария тяготения к творчеству пролетарской культуры; раз крестьяне еще ниже по своему социальному развитию, то не должно быть и места в России для всеобщего избирательного права.

Но, к счастью, это не так. К счастью, та оценка наших крестьян и рабочих, которую устанавливает Горький, «совершенно произвольна и в корне неверна», а «правы те, кто высоко оценивает весь русский народ, все крестьянство и весь рабочий люд». Вот Горький не перестает твердить о самосудах. Но—жалкие и презренные слепцы! Не вызывается ли неистовство низов «неистовством другой черни, черни образованной с ее «старыми революционерами», которые стали реакционерами по отношению к социальной революции»! Нет, пример России вызовет подражание и в других странах. Если бы даже в Европе никакого отзвука социальная революция не родила, «мы все-таки обязаны перед нашим народом, стихийно тяготеющим к революции, быть революционерами, а не бессильными чеховскими нытиками».

Словом, мы имеем рабочий класс, который, минуя всякие промежуточные стадии, прямо из деревни попадает на фабрику; имеем рабочий класс, который насчитывает восемьдесят процентов неграмотных в своей среде в Москве и Петрограде. Но тьмы этих истин нам дороже «стихийное тяготение» к революции, присущее нашему народу. Или народ таков, каким его рисует Горький, и тогда прав Пуришкевич, и вопрос не в творческой работе, не в напряжении всех сил, не в ближайших и не в конечных целях. Или он таков, каким его представляет себе интеллигент из народа; тогда прав революционный смысл рабочих и беднейшего крестьянства.

IV.

Итак, вначале успех в среде читателей привилегированного круга и—какой успех! Такого преклонения не видали ни Толстой, ни Чехов. Успех проходит, как только писатель меняет свой босяцкий индивидуализм на левый социализм. Но в то время как он сходит со сцены в читательских верхах, его делают своим рабочие низы, только что начинающие играть общественную роль.

Горький становится первым писателем, которого пролетариат читает, чтит и считает кровно своим. Но вот новый провал. Горький идет наперекор моменту, и слава, вознесшая его еще выше, чем в прежние годы, развеивается и здесь, как дым. x

Насколько властитель дум рабочих падает в их глазах, видно по тому, что говорили о нем писатели-рабочие, видные силы рабочей демократии, еще недавно печатавшиеся в сбор-

никах пролетарских писателей, выходивших под редакцией М. Горького.

Уже в первом номере «Грядущего», журнала, об'единившего всех рабочих-писателей большевистского направления, мы находим статью, в противовес «Несвоевременным мыслям» Горького названную «Своевременными мыслями». Не называя Горького, автор статьи поэт Вл. Кириллов «с грустью отмечал», как условия среды, оторванность от широких народных масс накладывают пелену на глаза «даже самых сильных провидцев человеческой души». «Великие события оказались выше великих людей,—писал поэт, — приходится сказать горькие, но справедливые слова: вы спели свои песни». В истории освобождения народа, конечно, будут отмечены и их имена. Но они—люди и, как таковые, они ограничены, т. е. имеют свое «начало» и свой «конец», между тем как живая жизнь в своем неудержимом движении вперед не знает ни пределов, ни границ. «Могучие волны бытия вынесли вас на поверхность жизни и снова уносят в темную пучину, чтобы в следующий раз вынести других для нового творчества, для новых достижений»[1]). Несомненно, «своевременные» мысли Кириллова были навеяны «несвоевременными» мыслями Горького, и он не столько говорил о великих людях вообще, сколько о «великом и добром Максиме», о его начале и конце.

Во втором номере журнала уже прямо выступает Самобытник, стихи которого пользовались такой популярностью у рабочих еще до революции. Отмечая, что даже самый близкий по духу к рабочему классу М. Горький больше говорил о пролетарской культуре, чем делал для нее, он об'ясняет этот факт не простой оппозицией советской власти. «Увы, интеллигенция, воспитавшаяся в капиталистических условиях,—писал он,—всегда будет ближе к буржуазии, чем к пролетариату»[1]). Горький — еще вчера близкий, родной рабочему классу—уже был для автора «интеллигент, воспитывавшийся в капиталистических условиях». Но этот упрек был мягок

[1]) „Грядущее“, № 1– 1918 г., стр. 11.

по сравнению с теми, которые Самобытник выдвигал в четвертом номере журнала.

Самобытник ставил крест над любимцем демократии после речи последнего, произнесенной в Москве на собрании общества «Культура и Свобода», в которой писатель утверждал, что «нельзя серьозно говорить о всей массе пролетариата, как о силе культурной, интеллектуальной», что «пролетариат в массе его—только физическая сила, не более», что «решительно ничего очаровательного в русском народе никогда не было». Все это в порядке вещей,—замечал Самобытник,—ибо Горький сознательно или бессознательно уже давно повернул свой руль в сторону милюковской программы, в сторону конституционной монархии или республики с преобладанием интеллигенции. «Такое «оплевание» ему необходимо, в целях «застращивания» в своей душе прежнего славного Горького - революционера, Горького, веровавшего в «народушко» и «творческие силы пролетариата». Теперь ему необходимо «подбадривание» нового Горького, великого инквизитора пролетарских масс, и «нечаянную радость» врагов рабочего класса». Самобытник высмеивал и «адский» план писателя «при помощи Кубиковых и прочих псевдопролетарских интеллигентов» проводить в рабочие массы влияние буржуазной культуры. Да, по «невежественной» народной поговорке» назвался груздем, так полезай в кузов». Горький, став организатором буржуазной интеллигенции, поневоле должен пойти вместе с нею против рабочего класса, против действительно пролетарской интеллигенции, кровью спаянной с пролетариатом, против пролетарской культуры».

Горький выдвинул «новую теорию»—культура выше политики—ибо «политика, кто бы ее ни делал, всегда отвратительна, ибо ей неизбежно сопутствует ложь, клевета и насилие». «Конечно, это говорится, вероятно, про политику рабочих масс, — высказывает предположение Самобытник,—развращенных цинической демагогией искренних фанатиков»[1]).

[1]) Тоже № 4 стр. 16.

Редкий-редкий поэт или беллетрист-рабочий, — а огромное их большинство примкнуло к большевикам, — упускает случай высказать неодобрение Горькому.

П. Бессалько, автор романов «Катастрофа» и «Бессознательным путем», даже Джека Лондона поднимает над последним. «Не будет преувеличением, если скажу, — пишет он, — что Джек Лондон для второй нашей революции был, что Максим Горький для первой. Да, поистине Джек Лондон — холодный осенний ветер для буржуазии. С умирающих стволов он яростно срывал покровы»[1]). Иван Логинов язвил:

„Петроградский Голос“ верен
Всем традициям „Листка“.
Сам Измайлов ржет, как мерин,
И лягает бедняка.
Ходит он—„спинжак по моде“—
Вечно боек и речист“.
Хоть и пишет о свободе,
Но идейно пуст и чист.
Ах, тебе я—Горький, что ли,
Чтоб культуру воспевать?
Мне милей частушки Поле
На конюшне воспевать.

В шестом номере «Грядущего» на Горького накидывается О. Золь: «Некоторые интеллигенты, например, Горький,—говорит он,—отвергают даже мысль о том, что пролетариат в период революции мог бы что-нибудь самостоятельно творить. Горький прямо заявляет, что русский пролетариат своею революцией только уничтожает всякую культуру и, следовательно, культуру социалистическую, Он защищает старую культуру от посягательства «черной толпы», но его друзья Кубиковы и Бибики даже разражаются руганью по адресу пролетарской культуры, ее деятелей и учреждений. Не грязной ли сплетней занимается газета Горького, которая—подобно всей буржуазной прессе—может лишь цинично клеветать и визжать»[2]). В своем некрологе о Н. Рыбацком, погибшем писателе-рабочем, И. Садофьев вспоминает, как, бывало,

[1]) Тоже № 3 стр. 12.
[2]) Тоже № 6 стр. 3.

покойный звал его к Максиму Горькому, но тут же оговаривается: «тогда еще не писавшему «Несвоевременных мыслей»[1]).

Подводит фундамент под эти обвинения, анализируя Горького, как художника, уже умерший в расцвете сил (как и Бессалько) Федор Калинин. Мы знаем, в каком духе Калинин писал о Горьком в 1912 году. И тогда нашего публициста-рабочего не удовлетворяли ни «Мать», ни «Враги». Но он об'яснял это тем, что в то время писатель еще не определился настолько, чтобы быть представителем свого класса со всеми присущими ему особенностями. Теперь же Калинин подчеркивал, что Горький первого периода, как художник, выше Горького последующих периодов, ибо тесная связь по происхождению с ремесленно-босяцкой средой давала ему возможность бессознательно сознавать душу этого коллектива, и он легко и свободно, сильными красками его изображал. «Как только М. Горький начал сближаться с нами, рабочими, то произведения этого периода, несмотря на нашу к нему симпатию, утеряли свою первоначальную силу и яркость. Горький не понял до конца наших задач, не прочувствовал их. Он не был затронут ими во всей их глубине». Художественное творчество,—думал Калинин,—основным источником своего питания имеет наше подсознание, которое складывается по преимуществу из окружающего быта. Чтобы преодолеть предрассудки отложившегося быта, «нужна слишком упорная и сознательная работа». «М. Горький, после первых, не вполне удачных попыток изображения рабочих типов, вместо того, чтобы итти по раз избранному пути, стал делать концентрические круги». «М. Горький предпочел более легкий путь наименьшего сопротивления,—куда влечет меня неведомая сила,—путь стихийного развития от случая к случаю. Делал и попытки изобразить старого знакомца-босяка, но он выходил уже не тот. Связь со старым нарушена надрывом расширившегося кругозора понятий, а овладеть новыми нет достаточного сознательного желания» [2]).

[1]) Тоже № 12—13, стр. 18.
[2]) „Памяти Федора Калинина“. (Изд. Петр. Пролет. 1920 г.).

Вот суждения, которые высказывали о Горьком поэты и беллетристы рабочего класса, не менее резкие, чем те письма, которые он получал и цитировал в своих статьях. Правда, это не попытка разобраться в *причинах*, которые привели Горького к «несвоевременным мыслям». Горький говорил о власти инстинктов, стихийных начал, наши поэты о пролетарской психике. Один Калинин пытался проникнуть в эту дверь. У остальных же выходило так, что вдруг как-то затемнилось сознание писателя, и произошло нечто неожиданное...

V.

Горький—«интеллигент» в глазах наших рабочих.

Чтобы понять всю невыгодность этого заключения, надо сопоставить взгляд рабочих на интеллигенцию вообще, на разные ее слои, в частности до Октября и после Октября.

Рабочий интеллигентоед прежнего времени подчас не лишен был развития, весьма солидного для человека физического труда, но все же с характерным перевесом чувства над логикой. Это был бессознательный, инстинктивный анархизм, который—в силу определенных психических предрасположений—из социалистических учений прежде всего впитывал отрицательный взгляд на интеллигенцию; анархизм если не по принципу, то по настроению, отрицавший интеллигенцию как таковую.

Иное понимание было у рабочих, далеких от босяцкого индивидуализма, работавших плечо о плечо с интеллигентами общественных организаций. И здесь о высоко дружеских чувствах говорить не приходится, и характерно, как в те, недалекие от нас времена, Н. Афанасьев, — москвич, рабочий какого-то электрического предприятия — цитировал соответствующие суждения Горького. Один из героев последнего говорит: «Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью моего сердца плюнул бы в рожу нашей интеллигенции, чорт ее побери. Я бы им сказал: букашки! Вы лучший сок моей страны! Факт вашего бытия оплачен кровью и слезами десятков поколений русских людей, о гниды! Как вы дорого стоите своей стране!» [1]) Эти слова Афанасьев приписывал самому Горькому. «М. Горький обличал интеллигенцию, — писал он, — ненавидел ее мягкую, податливую душу, презирал ее за ее расслабленность, дряхлость, а она, интеллигенция, дружно и громко аплодировала ему: «Браво, М. Горький, браво!» Как вы дорого стоите своей стране — это не фраза, кинутая в минуту пафоса, а глубокая, верная истина, истина, которой не будут отрицать и самые буржуазные идеологи». В очерке «Писатель» Горький рассказывает, как шел он однажды с народолюбивым интеллигентом по улице, который, из'ясняясь в любви к русскому народу,—заставлял и его, Горького, любить русский народ. Вдруг они—Горький с народолюбивым интеллигентом—видят «утопающего в грязи мещанина». Горький предлагает пойти и вытащить из грязи человека. Интеллигент же отвечает ему: «если я пойду, то потеряю калоши», и Горький заключает свой рассказ такими словами: «пошел я и потерял интерес к народолюбцу». А вслед за ним торжествует и Афанасьев: «так и большая часть нашей интеллигенции шумно, крикливо об'ясняется в любви к народу, печалится о его невежестве, но, понимая это умом, а не чувствуя сердцем, она боится подойти к нему вплотную: чтобы не потерять калоши и не запачкать своего платья о намазанные дегтем сапоги мужика» [2]).

Не могу не отметить здесь, что черта эта характерна не для одних интеллигентов прежнего времени. Автор этих строк,—рабочий, с которым я долго был в переписке,—во время войны раздобрел и выбился из рабочих. Об этой перемене в его судьбе мне сообщил писатель из народа, приехавший в Петроград, товарищ Афанасьева по работе. Афанасьев сам стал... «интеллигентом».

Однако, не в судьбе последнего дело, а в его взглядах на интеллигенцию в те годы, когда *он чувствовал* себя

[1]) *Горький,* Рассказы. Т. III. „Фома Гордеев“. (Изд. товарищества „Знание“).

[2]) „Народная Семья“, № 4, „Два мира“.

сознательным рабочим. И вот характерно, что вышеприведенный взгляд Афанасьев не распространял на интеллигенцию вообще. Интеллигенция, в его глазах, неоднородна. «Разве М. Горький, — писал он, — не набросал чудный, обаятельный образ Коронина? А ведь Каронин—интеллигент, правда, старый, прежний разночинный интеллигент, о котором в русской литературе осталась красивая песня. Конечно, *психологически* М. Горький никогда не может слиться с нашей интеллигенцией. Барин и мужик—две точки отправления, которые никогда не сойдутся вместе. Но как любовно относится М. Горький к прежнему интеллигенту!» Говоря про ту мечту, «которую разночинец принес в мир слуг и господ, мечту о свободной, независимой жизни», Афанасьев цитировал А. Н. Потресова, по словам которого разночинец пришел не как желанный гость, чтобы сесть за один стол с хозяином жизни, а как пришлец во вражий стан, который надо разрушить. «Он ненавидел старый мир вековой неправды»,—заступался Афанасьев, — и, каковы бы ни были трения в этой плоскости, такое понимание было типично для рабочей интеллигенции того времени.

Но то, что в те времена спасало интеллигенцию от решительного отрицания, теперь явилось доводом против нее. В самом деле, что сталось с тем разночинцем, который ненавидел старый мир вековой неправды в 1918 г. после октябрьского переворота? Он — саботажник, гражданин, который не желает работать с советской властью. Тот интеллигент, к которому рабочая интеллигенция, вслед за М. Горьким, относилась так любовно, оказался еще неподатливее, чем интеллигент, которого она именовала банкротом духа. Интеллигент старого типа, — поскольку он не разделял большевистских взглядов и надежд,—не смог изменить своей природе, несмотря на все нити, которые связывали его в прошлом с деятелями Октября.

И вот история интеллигента-разночинца—в глазах красного пролетария — уже вся в прошлом. Потомок Каронина дошел до октябрьского переворота с теми свойствами, которые

дала ему русская история, и пролетарий костил его на всех перекрестках революции, а вместе с ним *об‘интеллигентивал* и самого Горького.

Но Горький «психологически никогда не мог слиться с нашей интеллигенцией»,—в этом Афанасьев был прав. Унылое лицо носит интеллигенция в произведениях Горького, бессильно-дряблая, внутренне-противоречивая. Горький, с его поклонением силе, могуществу жизни, противопоставлял эту развинченность, отсутствие цельности, искусственность гармонии, хотя бы первобытной, но непосредственной, внутренне уравновешенному состоянию, стихийной цельности своих героев, и все его симпатии оказывались на стороне естественного состояния, этой внутренней гармонии. Интеллигенция со всеми ее ценностями, без сомнения, была писателю чужда; у нее не было согласия с самой собой. И нашим рабочим, в силу данных условий русской жизни, это предпочтение было близко и понятно.

Но в 1918 г. все изменилось, и Горький сам в их глазах—и психологически, и политически — *по той позиции, которую писатель занял* по отношению к революции—интеллигент. Горький уже не мыслит, не чувствует, как рабочий. Значит, он не Горький, сложивший песню про безумство храбрых, не художник, близкий пролетарию по духу, по крови, не народный деятель, а тот же Куприн или Андреев, который совсем «на разных полюсах» находится с народом.

VI.

Увлечение Горьким легко об‘яснимо. И так же об‘яснимо разочарование; разгадка кроется столько же в психике читателя, сколько в психике самого писателя.

Пробегая писания его, нельзя не заметить, что Горький 1918 г. не всегда уверен в себе, не всегда убедителен его суровый тон, не мешавший ему оправдываться в том, что не требует оправданий. Как бы он ни уверял нас в противном, есть что-то в нем, что не удовлетворяло ни одних, ни других в наши исторические дни. Что же это такое?

Автор «Писателей-самоучек» в предисловии к сборнику своих статей справедливо писал, что смысл всей его двадцатипятилетней общественной работы сводился к страстному стремлению возбудить в людях действенное отношение к жизни [1]). Действенное отношение к жизни—социальная ценность, выше которой нет, по мнению писателя. Но если это так, то ведь этим не все сказано. Сама по себе действенность не более как голая, хотя и активная стихия. Вопрос еще в том, на что направлена и как направлена сила. Вот тут-то нашего художника, не выпускающего из рук и пера политического публициста, и подстерегал хаос, не гревший ни одних, ни других.

Тонко характеризовал Горького рабочий-печатник, выдающийся представитель рабочей мысли. Еще в 1915 году—в разгар увлечения Горьким кругов рабочей демократии—он называл его «большим писателем», «красой русской литературы», в то же время вскрывая «неисправимый романтизм» писателя, его преклонение пред стихией в рассказе «Пожар». Если Коле Яшину или Гмырову позволительно смотреть на пожар «в радостном удивлении», то от писателя мы в праве ожидать более правильного отношения к стихии. Между тем Горький, сочетая мягкую лирику с трезвым изображением жизни, сам видел в огненной стихии творческое созидательное начало. «Жажда видеть жизнь красивой и одухотворенной—писал автор—настолько велика, что писатель поет гимн разрушающей человеческое благосостояние стихии. Он призывает стихию на помощь, лишь бы она сплотила прозябающих людей. Для него неважно, какая это стихия. Пусть это будет стихия религиозного суеверия, как в «Исповеди»; пусть это будет даже землетрясение в Калабрии и Сицилии. О, конечно, землетрясение и для Горького—вещь ужасная, но Горькому все-таки кажется, что это несчастие имело и положительную сторону: оно об'единило на момент весь итальянский народ от короля до рабочего». Автор доказывал, что это об-

[1]) *М. Горький*. Статьи 1905—16 г. (Петроград. Издат. „Парус". 1917 г.).

ман зрения; что стихия, зажигающая людей на один момент, в следующий за ним момент оставляет их еще более жалкими [1]).

Факт тот, что Горький плохо прочувствовал тот социализм, светом которого озарено все творчество второго периода его деятельности. Если рассудок его направлен в сторону социализма, то всем существом своим он оставался Горьким—художником ранних лет, старым бунтующим индивидуалистом-босяком, который так очаровательно нарисовал нам голого человека и заложенную в нем разрушительную силу.

Аморализм, бунт, поклонение силе, психология отрицания, духовного бродяжества—вот что у него преисполнено цветов и красок,—и чем они гуще, эти краски, тем неопределеннее, расплывчатее его социалистические взгляды и симпатии.

Художественным инстинктом, интуицией Горький—бессознательный анархист,—это приходится признать вопреки тому, что я сам писал в 1913 году [2]). Это когда-то доказывал Д. В. Философов. Это же теперь верно отмечал Федор Калинин. Только Калинин делал отсюда не совсем верный вывод. Он находил, что как только Горький стал сближаться с ними, рабочими, так он должен был потерять первоначальную яркость и свежесть, исходя, повидимому, из того, что психика пролетария *непременно* противоречит психологии отрицания, этому бессознательному анархизму. Но *разные слои пролетариата стоят на разных ступенях чувствования и мышления*. В силу особых условий общественного развития России, в рядах нашего пролетариата не мало не только творцов, но и анархистов. Головой, сознанием этого рода анархист не менее, чем Горький, тянется к социализму, но нутром, инстинктом это внутренний босяк, нигилист.

И вот—культ силы. Но одно дело—культ силы в теории, другое—применительно к практике. Здесь Горький не верен

[1]) „Рабочее Утро", от 19 ноября 1915 года.

[2]) См. выше первую главу: „Издалека", напечатанную в „Вестнике Европы" в 1913 г.

себе, и отсюда «Несвоевременные мысли» и трагедия непонимания.

Казалось бы, так просто, так понятно изложил он свои мысли, что достаточно уметь по печатному читать, чтобы с ним согласиться. И все же—среди рабочей молодежи—повидимому, таких мало. Вот очередной четверг общества «Культура и Свобода», где Горький говорил о бедности, об убожестве нашей демократической культуры. Очевидно, если у писателя еще был друг-рабочий, который говорил с ним на одном языке, он должен был обнаружиться здесь в этой зале, где все переполнено было и на хорах, и внизу. Но вот образцы записок, которые подавались Горькому рабочими во время доклада.

Рабочий - ткач писал: «Алексей Максимович, так вы решили итти к человеку... Но кто же он, человек? Разве не пролетарий, разве не он является носителем истинной, а не пошлой культуры? А раз так, то почему же общественным деятелям (интеллигентам) не итти в гущу рабочего класса? Но мы, рабочие, видим, что как раз наоборот: вы и хотите только под условием принятия вашей идеалистической политики рабочим классом «снять культуру» и т. д. В другой записке рабочий писал: «Почтение, товарищ Горький! Вы призываете интеллигенцию об'единиться для святой цели: просвещения народа. Но ведь это нужно для того, чтобы народ спас Россию, благодаря умелой организации хозяйства. А если так, почему не помогать народу выявить свою творческую силу на практике? Как можете об'единить их силу, когда вы всеми силами организуете сильное об'единение против практической существующей культурно-творческой организации?».

На разных языках говорили с Горьким и авторы других записок.

Третий писал: «Вы сами против плача, против скорби, а вашими словами не ободряете, а наводите лишь уныние». Четвертый с отчаянием восклицал: «Алексей Максимович, если бы вы знали, как больно видеть вас здесь рабочему!» Автор одной пространной записки упрекал Горького такими словами:

«Алексей Максимович, родной, разве здесь вам быть среди тех, кто восстанавливает глупую *культуру*» [1]). Один недоумевал, почему Горький с другими членами общества «Культура и Свобода» не работают в пролеткультах и советах, другой обзывал всех участников собрания и прежде всего самого Горького «бывшими людьми» и убежденно заявлял, что в будущей культуре им нет места.

Характер записок еще и еще раз наводил писателя на мысль о том, насколько необходима «культурная работа» среди рабочих-массовиков. Но это не изменяло блестящего одиночества, в котором писатель пребывал, из которого нет выхода.

Вот еще отзыв (из статьи, присланной мне кочегаром): «Все то, что известно мне о Максиме Горьком из его биографии, сочинений, рассказов о нем людей, видавших его когда-либо, дает мне основание думать, что он родился для того, чтобы быть социалистом. Его типы, как и он сам в свое время, по его меткой характеристике — «существа, рядом исторических несправедливостей сведенные на степень социального нуля»,—подтверждают предположение, что М. Горький со дня рождения был социалистом. Вся его деятельность,—общественная, литературная и пр.—носила ярко выраженный социалистический характер. Взвешивая на весах жизни понятие «социалист» относительно М. Горького, необходимо даже сделать оговорку. В отличие от профессионалов-политиков, он сохранил сердечную теплоту, отзывчивость и обаяние. Правдивость М. Горького всем известна. Его любовь к людям не требует никаких доказательств. Никогда и никому М. Горький не отказывал в личном участии, и, кажется, нет в Петрограде передового рабочего, который не побывал бы у Горького дома или в редакции по нескольку раз. Но... Тут следует «но». М. Горький, очевидно, долго пребывал бы отличным человеком, общим любимцем и, может быть, попрежнему щедро дарил бы перлы своего ума, дарования, откровения,

[1]) Подчеркнуто в записке.

своей богато одаренной и содержательной души, если бы в России не произошла революция. Революция подвергла резкому перелому взгляды Горького и заставила его выявить себя с неведомой до того времени для нас, рабочих, стороны».

Вот статья рабочего Н. Глебова (Путиловского), борющегося против «анархо-бунтарской струи насмешливого отношения к книге, к науке, к культуре вообще», струи, которая оставила среди рабочих столь заметный след, что давно «пора обратить внимание на эту эпидемию духовного одичания» [1]. Глебов начал свои соображения с возражения Горькому. Он не верил в значение журналов, которые Горький затевал в целях об'единения всех интеллигентных сил на почве культурной работы. «Не волшебный журнал-избавитель от всех зол сверху,—писал Глебов,—а самодеятельное желание рабочих итти под культуру снизу. Не рецепт, искусно подготовленный, а обретение того, что энергично бродит в низах, в массе и начинает проявлять свои формы. Зачем, например, преподносить пролетарию «порцию от науки», как хочет Горький, когда на спине у этого пролетария живописно расположилось многочисленное фракционное зверье и заслоняет собой не только журнал, но и буквально весь мир. Ну, а как же фракционное зверье? спросит у Горького какой-либо рабочий, очень и очень желающий просвещаться. Ведь оно бродит, колет, ссорит, сеет распрю и взаимонедоверие, портит у всех характер, пробуждает самые низменные инстинкты и т. д., и т. п. И это, само собой разумеется, не дает возможности кому бы то ни было заниматься какой-то культурно-просветительной работой. Выходящему на широкий путь русскому рабочему во что бы то ни стало надо избавиться от привнесенной из подполья, мешающей ему затхлой атавистической обузы. Сознательные, но не решившиеся рабочие и их друзья, им преданные, обязаны проникнуться серьозностью вопроса и изыскать меры и способы этого избавления. Многие

[1]) Старый рабочий интеллигент. Писал и под фамилией *Голубь*.

из рабочих — к ним примыкает пишущий эти строки — уже нашли такой способ: они создают «единую рабочую партию». Они идут под культуру». Статья была дружественной М. Горькому. Недаром она и напечатана была в горьковской газете. Но она из тех исключений, которые лишь подтверждают правило. Н. Глебов-Путиловский, ратовавший вместе с Горьким за культуру на страницах «Новой Жизни», вскоре после закрытия газеты перешел в ряды большевиков.

VII.

Так завершилось «второе пришествие» Горького.

Невольно вспоминаешь то, что рассказывает о Горьком—совсем недавнем, всего только военных лет—в своих записках старый петербургский рабочий А. Шляпников [1]). Видный рабочий-большевик свидетельствует, что накануне семнадцатого года в среде старой так называемой партийной интеллигенции было мало таких, которые сохранили свои связи с рабочими. Даже люди, занявшие впоследствии ответственные посты, «на пушечный выстрел не подходили к работе». «Исключением был А. М. Горький,— пишет Шляпников,— который, будучи нелегальным, поддерживал тесные сношения с писателем. У него попрежнему толпились рабочие, к нему шли со всеми вопросами, которые вставали перед ними в атмосфере обмана войны и измены, с которыми не мирились рабочие-революционеры. К нему шла рабочая публика просто «потолковать по душам», излить свои болести и свои тревоги. Охранному отделению это хождение рабочих было известно, и около дома, в котором жил А. М. Горький, было постоянное дежурство шпионов».

Уже тогда Горький много внимания уделял представителям петербургской интеллигенции. «Сам Алексей Максимович увлекался идеей организации радикально-демократических групп. В его квартире можно было получить самые последние

[1]) *А. Шляпников*. Канун семнадцатого года. (Государственное издательство. Москва. 1920 г.).

политические известия из нашей парламентской и внепарламентской жизни буржуазной оппозиции». Уже тогда Горький мечтал о культуре, о буржуазной интеллигенции, о радикально-демократической партии, но в те годы Шляпников прощал писателю его грехи, ибо, во-первых, «в вопросе об отношении к войне он стоял на интернациональной позиции», т. е. был «пораженцем»; во-вторых, «следя со вниманием за развитием нелегальной работы оказывал нам различные услуги». У него иногда устраивались встречи с нужными людьми. Через собрания у Алексея Максимовича удалось привлечь к партийной работе целый ряд рабочих, отставших от революции ценных работников. Интеллигенцию он старался привлечь к работе большевиков.

Очерк четвертый.

«Третье пришествие» Горького (1919—22 г.г.).

I.

«Несвоевременные мысли» занимали писателя недолго... Уже во второй половине 1918 года — через полгода после октябрьского переворота — мы видим Горького в рядах его деятелей, с которыми он так связан всем своим прошлым и внутренне, и внешне.

В одной рукописи,—автор ее металлист, в прежние годы отдававший свои силы «меньшевистской» организации,—нахожу такой рассказ, относящийся к тому моменту.

«Помню, в конце 1918 года были мы у Горького. Уже после «Несвоевременных мыслей»... Он был очень недоволен нашей оппозицией, все хмурился.

— Но ведь вы сами в «Несвоевременных мыслях» доказывали, Алексей Максимович...

— Да, да... Писал... Но все же русский народ особый народ...

— Умом России не понять?

— Да, да... И кто знает? Может быть, в самом деле, сбросит с себя все старое и выпрямится во весь рост?

— Но так же не бывает, не бывает...

— Не бывает, а вдруг будет... Нет, нет, надо уметь стать выше всего этого... Все это не так, как я думал. Погодите, а вдруг покажет себя вам с праздничной стороны... Как вы тогда почувствуете себя, вы, которые мешаете ему сбросить с себя грязные одежды?».

Это совпадало с тем, что рассказывал о себе сам писатель. «Я начал свою работу возбудителя революционного настроения,—писал он,—славой безумству храбрых. Был момент, когда естественная жалость к народу России заставила меня считать безумие почти преступлением. Но теперь, когда я вижу, что этот народ гораздо лучше умеет терпеливо страдать, чем сознательно и честно работать, я снова пою славу священному безумству храбрых». Полагая, что мысль его недостаточно «понятна», Горький так ее раз'яснял. Каждый получает то, что заслужил, это справедливо. Народ, загнивший в духоте монархии, бездеятельный и безвольный, лишенный веры в себя,—недостаточно «буржуазный», чтобы быть сильным в сопротивлении, и недостаточно сильный, чтобы убить в себе нищенски, но цепко усвоенное стремление к буржуазному благополучию, — этот народ, по логике бездарной истории своей, очевидно, должен пережить все драмы и трагедии, обязательные для существа пассивного и живущего в эпоху зверски развитой борьбы классов, гнуснейшим выражением которой является такая кровавая мерзость, как война 14—18 годов» [1]).

Эта мысль (родственная той, которую писатель высказывал рабочему-металлисту) не приходила ему в голову раньше, но, «наблюдая, как течение событий русской революции, расширяясь и углубляясь, все более возбуждает и организует силы, способные разрушить основы капиталистического строя»,

---

[1]) *М. Горький,* Владимир Ильич Ленин. („Коммунистический интернационал“, № 12).

он убедился, что «кроме большевиков в России нет сил, способных взять в свои руки власть».

Не подлежит сомнению, что мысль Горького, как все его мысли—своевременные и несвоевременные — глубоко прочувствована. Он, без сомнения, хорошо знает народ, о котором говорит. Но что, без сомнения, портит его музыку, так это то, что между его взглядом и большевизмом, как известной социологической концепцией, нет общего.

Отсюда шаткость его позиции, которая—несмотря на его уверения—не дает ему точки опоры, столь ценной в наши ответственные дни; и так же мало удовлетворяет и его друзей, и его противников, как и в пору «Несвовременных мыслей».

II.

Итак, Горький сознал, что мысли его действительно были несвоевременны. Как же встретила это прежде всего большевистская рабочая интеллигенция? Едва ли я преувеличу, если скажу: того, что писалось о Горьком в прежние годы, уже не пишут; и того, что в прежние годы, не говорят.

Вот отрывок того, что думает о Горьком пролетарий-«большевик», уже после того, как Горький признал ошибочность своей оппозиции. «Как и всякий мещанин-обыватель,— пишет рабочий,—Горький, когда-то призывавший к активной борьбе—на словах — на деле мыслил так, что всеобщее благоденствие, социализм и коммунизм придут не в результате неизбежной, жестокой классовой борьбы и конечной победы пролетариата, а как-то так, «по щучьему велению», каким-то культурническим способом. Но Горький все же общественный человек, и быть пассивным он не может. И Горький стал действующим лицом с самого начала октябрьской революции, вернее, продолжал быть действующим лицом, но... уже в другом лагере. *Горький, конечно, не за победу капиталистов, не за учредилку, не за Чернова с Савинковым. Но он и не с большевиками* [1]). Он в «благородной

[1]) Курсив наш.

оппозиции». Он изо дня в день в своей газете писал самые обывательские «Несвоевременные мысли», которые, захлебываясь от злобы против большевиков, читала восторженно лишь та среда, где вращался Горький. А пролетариат стоял перед этими мыслями в недоумении, потому что эти мысли были ему чужды и враждебны. Они приносили ему очевидный вред и затягивали, и осложняли борьбу, отдаляя победу. Горький, как и многие «культурные люди», подверженные скверной болезни (в особенности скверной в период классовой войны), эклектизму, постоянно путал важное с неважным. Это своего рода холера, от которой, вместо поноса и рвоты, в обывательских интеллигентских кругах идет непрерывное извержение самого изощренного пессимизма, основанного в большинстве случаев на самых пустячных, а то и просто выдуманных «фактах». Ходит анекдот, что Горький впоследствии сам был доволен, что его «Новая Жизнь» была закрыта советской властью. «Когда закрыли «Новую Жизнь»,—будто бы сказал Горький,—тогда я стал большевиком. А то был новожизненцем». Если это анекдот, то его выдумал настоящий марксист. Эклектизм—родной сын романтизму, и он хотя и менее вреден, но вреден безусловно. И в особенности вреден в условиях ожесточенной классовой борьбы, требующей средоточия всех моральных и физических сил на немногих, но зато бесспорных ударных вопросах. Этого Горький не понял».

Отсутствие цельности, последовательности не удовлетворяет нашего пролетария в «честном Горьком». Как и другие оторвавшиеся от рабочих масс люди науки и искусства, он «отравлен буржуазно идеалистическим дурманом». Горький «всегда под чьим-либо влиянием», но особенно вреден для него «воздух буржуазной интеллигенции».

После того, как Горький выехал за границу и там стал печатать статьи в духе «Несвоевременных мыслей», группа рабочих так и заявляла: «Напрасно выпустили. Воздух буржуазной Европы растлевающим образом действует на шаткого Максима. Мы требуем, чтобы его вернули назад к нам. Пролетарский воздух советской России живо восстановит в нем

потерянное равновесие, как это было после «Новой Жизни». Еще резче пишет по адресу Горького «группа старых питерских печатников, в том числе и некоторых наборщиков, которые набирали труды Максима Горького до и после революции». Она «заявляет свой решительный протест и от глубины души возмущена выступлением Максима Горького, позволившего себе клеветнические нападки на власть трудящихся. Советская власть не только не изничтожила интеллигенцию, как теперь заявляет Горький друзьям и врагам нашей Советской республики в Западной Европе, а, наоборот, в самые трудные моменты пролетарской революции, когда рабочие получали по одной восьмой фунта хлеба в день, литераторам, художникам, артистам дала возможность находиться в гораздо более выгодных материальных условиях. Честная интеллигенция всегда пользовалась всякой моральной и материальной поддержкой со стороны нашей пролетарской власти. Еще более возмутительным является письмо Горького к французскому писателю Анатолю Франсу, в котором он говорит, что «суд над социалистами-революционерами носит цинический характер публичной подготовки убийства людей, искренно преданных народу». Горький преступно замалчивает, что эти «преданные люди» из партии эс-эров в течение почти четырех лет сжигали у нас хлебные амбары, разрушали железнодорожные мосты, убили Володарского и Урицкого, стреляли отравленными пулями в вождя революционного пролетариата тов. Ленина и действительно изничтожили тысячи рабочих и крестьян. Нам, старым рабочим-печатникам, не хочется верить, чтобы наш *когда-то любимый писатель* мог от «Буревестника» дойти до самого скверного мещанства. Мы еще питаем надежды, что Алексей Максимович с свойственным ему чутьем поймет свои заблуждения и признается в своих поспешных выводах. Если этого не случится, то волей-неволей рабочий класс должен будет Горького зачислить к той группе заграничных эмигрантов, которых история заклеймила как белых. *Границы нашей многострадальной, но начинающей процветать Советской республики для него будут закрыты навсегда»* [1]).

III.

Несмотря на заявления, что он верен Октябрю, печатники грозят Горькому навсегда закрыть границы многострадальной Советской республики. Но не более утешительны для писателя суждения рабочих вне-большевистских направлений.

Вот две заметки. Первую писал плотник, очень любознательный, читающий даже К. Аксакова и Хомякова. «Как простой рядовой рабочий,—пишет он,—я не могу быть судьей или критиком писателя-художника. Но как природный русский человек обязан сказать то, что я чувствую всеми фибрами своей души. С тех пор, как я узнал Горького по его художественным произведениям, прошло времени много. Как я и мои товарищи радовались каждому новому произведению Горького! Мы были несказанно счастливы, что у нас, рабочих, есть великие люди, что у нас есть свой близкий по духу Чехов, Толстой. Так мы понимали и так думали, когда ставилась первый раз пьеса «На дне». С какой тревогой следили рабочие, как желали успеха дорогому и близкому нам писателю! Но вот один за другим стали доходить до нас слухи. Один противоречивее другого... Мы считали, что это клевета его и наших вместе с ним врагов. Но действительность показала нам другое. Постепенно начали охладевать, уважение к писателю терялось, последние бесцветные статьи уже не интересовали. Но не это важно, а совсем другое. С февральской революции Горький разменялся на мелочь: вот что уронило в глазах рабочих авторитет писателя».

Вторую заметку писал молотобоец, позднее мелкий торговец, тоже большой любитель книги; даже в критические минуты жизни он не изменяет этой своей привязанности. «Как политик, — пишет он, — Горький тот же художник, мягкий и

---

[1]) Курсив наш.

чуткий, отнюдь не равнодушный к окружающему. Политические размышления его носят характер как бы борьбы добрых начал с дурными и—в отличие от профессионалов—он искренно этому верит и искренно возмущается, если получается шиворот на выворот. Ради пользы, вернее ради борьбы с дурными началами Горький был в деловых отношениях и даже в дружбе с людьми, ничего общего с социалистами не имеющими. Как известно, он был в дружбе с Сытиным, коего называл министром народного просвещения, а также с рядом лиц, известных своей либеральной деятельностью. Неудивительно поэтому, что Горький—настоящий социалист — находился в дружбе с настоящими буржуями, оставаясь в то же время в превосходных отношениях с социалистами-большевиками. Ни у одного честного пролетария, которые все любили М. Горького, не возникало сомнения о вреде пребывания М. Горького в буржуазном обществе и подрыве этим самым классовых интересов пролетариата. Помимо общей практической работы, его обязывали быть с ними в сношениях культура, которую он высоко ставит, высшие запросы ума и духа. Но революционного испытания Горький не выдержал. Горький, знающий Россию, знающий русский народ, рассказавший так много о красоте русского человека, с революцией будто пошатался во всем этом. Будучи окружен большевиками, находясь с ними в наилучших дружеских отношениях, он не порывал по старому и с буржуазной интеллигенцией. Дружба с последней носила платонический характер, пока не «грянула буря». После бури М. Горький в своей газете резко повысил тон своих статей против вчерашних своих друзей, оказавшихся у власти. Однако, после целого ряда колебаний, писатель перешел на сторону коммунистов. Переход на сторону коммунистов никого не поразил неожиданностью. Его долгая дружба с большевиками обязывала быть таковым. К моменту перехода Горького в лагерь, который ему был «по милу хорош», сбежала за рубеж интеллигенция, погибла буржуазия. Конечно, о популярности, выгоде и прочих вещах речи быть не могло, ибо популярность его так велика, бескорыстие всем так

известно, что ни у кого в душе не было таких вопросов. Удивительнее всего то, что Горький - писатель, Горький-художник во все время пребывания около власти не писал ни пьес, ни рассказов, вообще не проявил активной деятельности в литературе. Но совсем не удивительно, что Горький как-то незаметно сошел с большевистской сцены, и большевики не проявляют к нему интереса. Придя к своим друзьям, он не нашел себе места, ибо он совсем не политик. И теперь, когда Горький прошел путь революции, не оставил о себе и своей работе следа, невольно хочется разгадать, что в нем, что у него впереди. Остался ли он попрежнему художником, чутким к общественным проблемам? Далеко ли то время, когда М. Горький с присущим его таланту мастерством опять «ударит по струнам с неведомою силой» и, стряхнув с своей души пыль и копоть времени, скажет свое громкое слово русскому народу, в том числе и пролетариату? Хочется верить в то, что он «не умер, он живет»...

IV.

Этот материал можно увеличить. Но нет нужды.

Не подлежит сомнению: родственность переживаний нарушена. Неодинаковы общественные симпатии и антипатии рабочей интеллигенции. Даже при одинаковости общественных взглядов имеет место различие настроений. Но общественная жизнь момента, характер умонастроения трудящихся масс создают в целом одинаковый тон по отношению к писателю. И с этим нельзя не считаться.

Ведь это касается Горького не только как публициста, но и как художника. У рабочего свои особенности. До революции наибольший интерес для него представляли общественные мотивы в искусстве. И тот же интерес представляют они для него в наши дни. И Горького менее читают.

Об этом нельзя не пожалеть. Ведь до сих пор Горький остается крупнейшим художником, вышедшим из недр народ-

ных масс. Выдвинулось уже не мало беллетристов, идущих к нам от станка и от сохи; они войдут в историю художественной прозы. Однако, каковы бы ни были их силы, их дарования, бытовой и духовный кругозор, ни один из них не только не стал рядом, но даже не приблизился по своим достижениям к тому месту, которое по праву занял не оскудевающий силами, неповторяемо-оригинальный Максим Горький.

Параллель с деревней.

Лев Толстой.

I.

Все силы ума Толстого — художника без остатка уже вымершего барства, создавшего «крепостную гармонию», барства, так долго пользовавшегося признанием писателя—влекли его к мужику: здесь, в низах каратаевского быта, все сложное и запутанное для него было так ясно, так просто; стоило «опроститься», чтобы бесплодная, но тревожная работа мысли и совести прекратилась.

Конечно, в народничестве Толстого, как и в его религии, много было от «разума».

Но здесь лишь полу-истина. Так знать крестьянское сердце, так видеть внешний обиход мужицкой жизни, отличать важное и неважное в ней человек из не-крестьянского мира может лишь в том случае, если он не идейно только, но органически, стихийно влечется к данному строю психики. Вот почему не только художественные полотна, — в которых писатель так любовно проникнут мелочами барского быта, подолгу останавливается на самых будничных, самых интимных переживаниях людей своего круга,—но и рационалистическая проза его отмечена непреодолимым тяготением к людям земельного труда. Прочтите предисловие Толстого к альбому «Русские мужики» Н. Орлова, любимейшего художника его. «Орлов—мой любимый художник,—писал он,—а любимый он мой художник потому, что предмет его картин—мой любимый предмет. Предмет этот — это русский народ,

настоящий русский мужицкий народ, не тот народ, который побеждал Наполеона, завоевывал и подчинял себе другие народы; не тот, который, к несчастью, так скоро научился делать и машины, и железные дороги, и революции, и парламенты со всеми возможными подразделениями партий и направлений, а тот смиренный, трудовой, христианский, кроткий, терпеливый народ, который вырастил и держит на своих плечах все то, что теперь так мучает и старательно развращает его. И любим-то мы с Орловым в этом народе одно и то же: любим в этом народе его мужицкую, смиренную, терпеливую, просвещенную истинным христианством душу, которая обещает так много тем, кто умеет понимать ее»[1]). В картинах Орлова художник видел эту душу, в которой, как в ребенке, заложены еще все возможности (и главная из них «возможность, минуя развращенность цивилизации Запада, итти тем христианским путем, который один может вывести людей христианского мира из того заколдованного круга страданий, в котором они теперь, мучая себя, не переставая кружатся»), и потому именно «он не напрасно любил их», эти картины. Это не язык лишь ума, а и язык любви, столь помогавшей Толстому проникать в самую стихию народной психики.

Учение Толстого об опрощении само по себе — сухая умственность; но мысль пожить на крестьянском положении, вера в привлекательность и сериозность крестьянского труда шла из органических корней. Недаром Толстой так знал и любил знать весь крестьянский рабочий труд. Недаром у него была такая способность разговаривать с мужиком, добираться до того, чем жива мужицкая душа.

А. С. Пругавин, — исследователь народной жизни, придававший большое значение умению сходиться с мужиком, находить с ним общий язык, проникать в психику крестьянина,—встретившись с Толстым у молокан еще в 1881 г., заинтересовался тем, как подойдет писатель к серому, заскорузлому крестьянству и как, в свою очередь, отнесется серое, степное крестьянство к аристократу с графским титулом. Но то, что Пругавин увидел, «увлекло, тронуло и пленило его». Толстой ни на минуту не переставал быть самим собой: в его отношении к крестьянам ни разу не промелькнуло ни одного штриха, который бы указывал, что писатель не прочь подладиться, подделаться к мужику. И они—эти серые, степные мужики с «корявыми шеями», с заскорузлыми руками— «охотно, доверчиво и трогательно» раскрывали перед ним свою душу. Становилось ясно, несомненно, что «этот титулованный аристократ не только понимал мужика, но что он его *любил*, искренно любил своим большим и страстным сердцем гениального человека»[1])...

[1]) *Л. Н. Толстой.* Полное собрание сочинений. Том девятнадцатый. (Издание товарищества И. Д. Сытина в Москве).

Ту же способность отмечал С. Т. Семенов, крестьянин девяностых годов, во время голодовки вместе с Толстым работавший в Рязанской губернии. Когда выходила «путаница» с мужиками, то легче всего разбирался Лев Николаевич сам. Он—во время прогулки—заходил в избу, говорил с столовщиком и «подходил к его душе так, что тот выкладывал на чистоту все. После посещения Толстого каждый из столовщиков чувствовал себя так, точно он побывал в душевной бане, и после этого бывало необыкновенно приятно с ними разговаривать. Они больше проявляли чувства собственного достоинства»[2]).

Все — от яснополянской школы до статей о голоде, до Платона Каратаева, смиренно принимавшего на себя все удары—говорит о том, что стремление этого гения старого русского дворянства «омужичиться» не носило лишь головной характер; что его так же стихийно влекло к народу, как Глеба Успенского или Горького; что предметом его тревог был не столько человек вообще, сколько этот пасынок природы.

[1]) *А. С. Пругавин.* „О Льве Толстом и толстовцах". Очерки, воспоминания, материалы. (Москва. 1911), стр. 50—52.

[2]) „Вестник Европы". 1909 г. № 6. Стр. 775.

II.

Итак, крестьянин управлял всем ходом толстовских дум и чувств. Но раз так, мог ли он пройти мимо такого явления последних десятилетий, как наша интеллигенция из рабочих и крестьян? И мы видим, как на протяжении многих лет завязывает он связи с интеллигентами из народа, связи, переходящие со временем в духовную близость и даже дружбу. Ряд самоучек получил известность именно по тому вниманию, которое им уделял великий писатель земли русской.

Таков крестьянин Семенов, которому Толстой дал ход как беллетристу, написав предисловие к его рассказам. Теперь, когда собраны эти рассказы, *художественное* значение Семенова очевидно. Оно не велико. Но с какой любовью о нем писал в своем предисловии Толстой, оттеняя достоинства, которыми Семенов «обладает в высшей степени», умалчивая о недостатках, с точки зрения писателя не существенных! Тут и искренность, и содержание, всегда значительное,—«потому, что оно касается самого значительного сословия в России—крестьянства»,—и форма рассказов, простая, без фальшивых нот [1])... Таков и крестьянин Новиков, которого Лев Николаевич прежде других посвятил в тайну ухода своего из Ясной Поляны, прося его подыскать для него «теплую хату» в новиковской деревне.

Узнав от Семенова, что в Москве живет Дрожжин—поэт из деревни—Лев Николаевич пошел в книжный магазин, чтобы познакомиться с ним. «В магазине, накануне Рождества,— пишет Дрожжин, — неожиданно встретился и познакомился с Л. Н. Толстым. «Великий писатель земли русской» обрадовал меня лестным для меня приглашением бывать в его московском доме. Л. Н. особенно порадовался, *узнав о моем решении навсегда покинуть город*; долго ходил со мной по дорожкам тенистого сада и много расспрашивал о настоящем положении крестьянской жизни и о разнице с жизнью

[1]) *Л. Н, Толстой.* „Полн. собр. сочинений", т. XIX. (Изд. товарищ. И. Д. Сытина Москва).

дореформенного времени» [1]). Очень приветливо принимал Толстой Козырева и Вдовина, поэтов из народа восьмидесятых годов; возился с поэтом-крестьянином Ивиным (И. Кассировым), наводнившим своими переделками рассказов и романов лубочный рынок. Ивин был талантлив, но, опутанный лубочниками, пропал как писатель. Не говоря о свойственном самоучкам - неудачникам пристрастии к вину, переделки погубили в нем способность творческого замысла. Когда писатель набрел на него, это уже был человек потерянный, не могший воспринять что-либо от Толстого. Напротив, исповедуя казенное православие, он видел в Льве Николаевиче еретика и пытался даже обратить на стезю истины.

Ожегов, приятель Сурикова, рассказывает, как Толстой, бывало, отучал их, крестьянских поэтов, от стихов.

— Как ни бейся,—говорил Лев Николаевич,—а ясности и смысла и простора выражения добиться тут трудно. Я вот и прозой пишу, и то иногда приходится много раз переделывать одно место. Нет, господа, как хотите, а проза имеет большое преимущество и удобство, нежели стихи. К тому же стихотворная форма отжила свое славное время. Об этом свидетельствует и у нас, как и у японцев, современная поэзия,— она последовательно падает все ниже и, наконец, как пишут об этом многие, замрет совершенно.

Ожегов не соглашался и указывал на народную лирику.

— Да кому же она, т. е. песня-то ваша, нужна?—спрашивал Толстой.

— Народу,—отвечал Ожегов.

— Позвольте, я знаю народ хорошо, — настаивал Лев Николаевич,—знаю также, что он охладел к песне. Ныне поет только тот, кто легкомыслен и молод, а старики совсем не любят песню. Зато пьяная молодежь, действительно, песни поет или «орет», как говорят мужики, и притом песни все скверные... Да и что такое песня? Все равно, что вино или

[1]) „Жизнь поэта-крестьянина С. Д. Дрожжина, описанная им самим". Москва. (Изд. „Юной России". 1915 г.).

курение табаку—пустое развлеченье, которое к тому побуждает людей на дурные дела да на буйство.

Ожегов умолкал. Ему начинало казаться, что Лев Николаевич судит о песнях «односторонне и неискренне», в чем он и не ошибался. Однако, сурово относясь к стихам, Толстой увидел как-то особенно глубокое содержание в стихотворении одного деревенского парня.

— Это так хорошо, как у Никитина,—воскликнул Лев Николаевич.

— А вы цените Никитина?—спросил его С. Т. Семенов.

— Еще бы! Это крупный поэт, и я не понимаю, как его забывают. Его нельзя забывать [1]).

Столь высокая оценка Никитина — единственная, какую мы знаем в литературе. Рядом же со стихами Никитина Толстой высоко ценил и стихи Сурикова. Увидев у кого-то из прислуги народный песенник, он, раскрыв суриковскую «Долю бедняка», которую уже распевали по деревням, пришел от нее в восторг.

Наконец, и друзья Толстого из молокан, духоборов, штундистов представляли собой типичных интеллигентов из народа, только религиозной складки. Вас. Кир. Сютаев, крестьянин-коммунист, с которого Репин писал портрет, находящийся в Третьяковской галлерее; К. А. Малеванный, по профессии колесник, глава малеванцев, пятнадцать лет просидевший по тюрьмам и сумасшедшим домам; крестьянин Т. Бондарев, автор «сочинения» «Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство», первоначально напечатанного в 1886 году в № 12 «Русского Дела», а затем в 1906 году изданного маленькой дешевой брошюркой издательством «Посредник».

Не говорим о ясно-полянских интеллигентах из крестьян, бывших учениках его школы, из которых были такие заметные, как В. С. Морозов (рассказ его напечатан в «Вестнике Европы», а «Исповедь» в «Толстовском альманахе» [2]). Нет

[1]) *С. Т. Семенов*. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом (С.-Петербург. 1912 года).

[2]) „Международный Толстовский альманах", составленный *П. Сергеенко*. (1909 г. Издательство „Книга").

возможности даже приблизительно наметить те выдающиеся индивидуальности из народа, с которыми Толстой поддерживал связи. И Семенов, и Новиков, и Морозов, оставившие о нем воспоминания, подтверждают, что в кабинете его всегда можно было встретить рабочих и крестьян, которых писатель всегда выделял из своих гостей.

Для этой-то интеллигенции из народа и затевал Толстой,—совместно с К. Сибиряковым, художником И. Крамским и педагогом А. Авраамовым,—народный журнал; на нее-то он и расчитывал, привлекая видных писателей к разработке тем «Посредника».

III.

Все это — интеллигенция мужицкого склада, ибо Толстой знал или, по крайней мере, признавал лишь две категории людей поместное дворянство и мужика. Между этими кругами, так противоречиво связанными узлом русской истории, билась его, толстовская, совесть, ширилась его народническая мысль, и ничего промежуточного он не хотел знать. Бледную роль играет в его произведениях то, что не принадлежит ни к крестьянству, ни к дворянству. Если же сам писатель так тянулся к мужичку, близкому ему красотой духа, от которого он даже ждал ответа на вопрос, «как жить», то и крестьянский и полу-крестьянский читатель платил ему той же монетой.

«Русскую литературу знает весь мир, — пишет полу-крестьянин, полу-пролетарий.—Но русскую литературу не знает да и не может знать свой родной народ. И по нашему мнению, нет более потрясающей трагедии, когда писатель, имеющий возможность отдаваться творчеству только при существовании народного труда, поймет, что он чужд, далек и даже не нужен этому народу, как это понял Л. Н. Толстой». Что русская литература была достоянием общества, что она «становилась непонятной загадкой, как только попадала в курную избу мужика», это, конечно, правда, как и трагическое самочув-

ствие Толстого. Однако, едва ли в ряду писателей, оставленных нам усадьбой, можно указать имя, столь упрочившееся в среде читающего крестьянства, как имя Л. Н. Толстого.

Об этом говорит все, что нам известно о запросах и вкусах масс, подчас столь неожиданных. Во всех библиотеках народных на первом месте — по числу требований — стоит Толстой. Вот, например, крестьянская библиотека Сибири: «самым большим спросом в библиотеке для взрослых пользуется Л. Толстой». Вот библиотека рабочих-металлистов в Петрограде. «Наибольший спрос на книги Толстого, главным образом, на «Анну Каренину», «Войну и Мир». Нарасхват берутся, и радуешься, видя такой интерес к художественным произведениям Толстого». Разумеется, не трудно привести не мало примеров, и не подтверждающих этой популярности. Но, в общем, факт можно считать установленным: ни один автор в таком количестве экземпляров не разошелся в рабочей и крестьянской среде, как Л. Толстой. Уже десятки лет тому назад был народный спрос на издания «Посредника», такие, как «Где любовь, там и бог», «Упустишь огонь—не потушишь», «Два старика» и т. д. Как охотно покупал и покупает читатель-массовик такие произведения, как «Власть тьмы», «Хозяин и работник», подтвердит каждый коробейник.

Характерный рассказ на эту тему мы находим в воспоминаниях И. Тенеромо. Это было в разгар народной деятельности «Посредника», когда уже выпущены были все книжечки Толстого, и Лев Николаевич носился с мыслью о широком распространении в народе проникнутой его моралью литературы. И вот как-то приходит автор к писателю, а он, радостный, сообщает Тенеромо.

— Представьте, как мысли носятся в воздухе. И ни одним словом не намекал Петру и Никите,—речь шла о парнях, выделявшихся из наиболее восприимчивых парней Ясной Поляны,—а они вчера явились сюда и робко, но с трогательной искренностью заявили, что они хотят пойти в коробейники и понести крестьянам «живые» книги. Это Никита так назвал наши новые книги «Посредника». Петр так наивно говорил: «ведь теперь уже глубокая осень, мы обмолотились, и старикам в доме наша помощь уже не нужна, в самый раз пойти по людям и поработать для духа». Как мило и глубоко сказано! Обмолотились-мол для брюха, а с книгами пойдем для духа.

Парни знали, что дорогой предстоят искушения от властей; чтобы уж очень в глаза не бросалось, что они идут с книгами, накупили в Туле иголок, ниток, пуговиц и еще кое-какой мелочи, которая требуется в деревне. Книжки были толстовские и еще некоторые, по усмотрению Льва Николаевича. Когда Петр и Никита взвалили свои короба на плечи, Лев Николаевич пожал им крепко руки. «Счастливого пути, дорогие!»—сказал он. «Я вам завидую. Если бы и я мог с вами вот так вот с желтым коробом за горбом месить дорогу и быть с людьми! Смотрите же, не забывайте слов Христа: «и отряхайте с миром прах у той деревни, где люди не примут вас». Но предупреждение это было излишне. Крестьяне только благодарили их, беря книжки нарасхват.

— Спасибо, молодцы, что не забыли и к нам заглянуть. Никто, как господь, послал вас, а то ведь взаправду стали забывать его путь.

Много деревень и поселков обошли они, повсюду встречали их хорошо. Даже старосты и старшины и те не держались с ними на начальнической ноге, охотно вступали с ними в беседу и покупали у них книжки. «Было много разговору и о графе,—рассказывал Петр.—Все слушали про его новую жизнь, про то, что он сам работает, и про то, что он делает для своих крестьян, и все уста произносили его имя с хвалой» [1]).

В качестве ли опростившегося графа или религиозного мыслителя привлек к себе Толстой внимание, но его популярность в народе—факт. Подтверждали его сами же крестьяне. «Всех деревенских речей про Льва Николаевича,—рассказывал крестьянин,—не описать, не рассказать: так их много. И, к сожалению, большинство мужиков имеет случайное и

[1]) *И. Тенеромо*. Живые слова Л. Н. Толстого. За последние 25 лет его жизни. (Издание К. И. Тихомирова. Москва. 1912 г.), стр. 158—162.

неверное представление о Л. Н. Толстом. Рядовые крестьяне мало что знают из его творений, а если кому случайно попадало что-нибудь из его простонародных рассказов, то положительно все мужики зачитываются такими книжечками; только ни не знают, кто автор этих рассказов, так как в деревне еще мало разбираются и следят за этим». Малограмотная деревня еще мало знает об исторических личностях родной страны,—продолжал он,—знает лишь очень немногих. «Зато какая огромная масса легендарных сказаний и повестей имеется в деревне про этих немногих. Но кто больше всего дал духовной пищи деревне, деревенскому творчеству и вымыслу— так это два наших современника: великий писатель земли русской Л. Н. Толстой и протоиерей Иоанн Ил. Сергиев— Кронштадтский». То же подтверждал Морозов, с детства ушедший из Ясной Поляны в народ и с тех пор шатавшийся в народе.

«С появлением книжечек Льва Николаевича,—писал он,— толки о нем начали усиливаться в народе. Как бы вырастало что-то такое новое и удивительное. И действительно это было ново—для меня и для многих. Стоило только прислушаться, и речи лились потоком все в сторону Льва Толстого. Каждый судил и рядил по-своему. Были и хуления, и проклятия. Были и самые признательные ему люди, которые оспаривали враждующих и говорили: «Антихрист не Лев Толстой, который пишет правду, а те антихристы, которые скрывают правду».

И о том же свидетельствовал С. Т. Семенов. С первого же года его знакомства с Толстым его поражало одно обстоятельство: «Стоило мне выйти из круга обыденной жизни, я неминуемо наталкивался на отражение тенью его в чьей-нибудь голове. Придешь ли на базар в село или в уездный город, придешь ли в гости к учителю, поедешь ли в дальнюю дорогу, Москву, Петербург, неминуемо наталкиваешься на разговоры о Толстом. То, что о Толстом заговаривали люди, знавшие меня, было неудивительно. Но меня удивляло то, что разговор заводился людьми, совсем меня не знавшими и совершенно сошедшимися случайно между собою». Часто Семенову приходилось наталкиваться на такие разговоры и в 90-х годах. После 94-го года, когда деревня его покупала землю и ему, как уполномоченному, часто приходилось покидать насиженное место и толкаться в разных слоях народа, каждый раз он «становился невольным свидетелем разговоров, где предметом была религия, и к этому непременно притягивался Толстой». Такие разговоры шли в трактирах, в вагонах, когда приходилось ему ездить по южным железным дорогам. «Чувствовалось, чем жило простонародие, отличительной чертой которого служит необыкновенная искренность: что на душе, то на языке. Мне думается, подберись вокруг Толстого не такая семья, будь хотя часть ее другого умственного и нравственного порядка, то еще при жизни его можно бы завербовать в ряды исповедников нового христианства огромные массы».

Масса знает Толстого, конечно, по слухам. Но истинных почитателей его надо искать в среде передовых людей из народа.

О том, какое сильное влияние оказывал Толстой и его произведения на интеллигенцию из народа, говорят многочисленные факты. Не мало таковых приводил в своих воспоминаниях о Толстом Семенов. На его глазах многие — под влиянием Толстого—даже «изменили свое отношение к жизни». Таков был крестьянин-поэт, приятель Семенова. «Он несколько лет кипел в огне новой жизни». Неотразимость толстовских писаний испытал и артельщик, служивший на железной дороге. Прочитавши сочинения Толстого, он задумался над своей жизнью и не мог уже спокойно вести ее. Он стал искать выхода и хотел ехать в деревню, чтобы возобновить жизнь простым деревенским портным, и только жена удержала его, пока не помирилась на сельском хозяйстве, на которое он и ушел. Другой служил в бакалейной лавке, развил себя чтением до уровня среднего интеллигента. Однажды ему попалась «В чем моя вера?» Книга так поразила его, что он стал жадно ловить все, что выходило из под пера Толстого. Когда появились статьи против военной службы, он проникся отрицательным отношением к войне, а когда пришло время итти к при-

зыву, он решил отказаться от присяги и испытать судьбу Дрожжина и Ольховика. Но судьба решила иначе. Ему дали льготу. И он чуть не плакал от досады, что ему не пришлось выказать свою веру. Другому парню, решившемуся отказаться от службы, не удалось исполнить этого, потому что не достался жребий. Третьему посчастливилось, его приняли на службу, и он присяги не принял. Когда его призвали в полк и стали подводить к присяге перед знаменем, он вышел из фланга и отказался. Он не отказался служить, но не хотел присягать, обещаться убивать по приказанию кого-то. Еще один заколебался и принял присягу. Но это отравило ему покой. Он понял, что он не может служить, и стал отказываться от повиновения начальству. Его отдали под суд и закатили—как и в других подобных случаях—в дисциплинарный батальон [1]).

Это—крестьяне, про которых знал Семенов. А сколько было таких, про которых ни до чьего сведения не доходило? Ведь даже среди сектантов было не мало полу-толстовцев. Так, молокане последователями учения Толстого не были, не приняли главных положений его, но они признавали, что он близок им по духу. Духоборы-постники подпали под влияние религиозно-социальных взглядов Толстого. А. Малеванный говорил, что «на всей «повершине» земли первый защитник добра это Толстой».

Корни, пущенные Л. Н. Толстым в народной интеллигенции, несомненны. Но это интеллигенты из крестьян. *Городской рабочий это постолько, поскольку он—полукрестьянин*, связанный с землей и земледельческим хозяйством. Чтобы оттенить строй рабочей мысли, рабочих чувств, заглянем и в этот материал.

IV.

Толстой тяготел к мужичку, к мужицкой мудрости; и мужичек — по крайней мере, умственный тип его — дарил его своим вниманием.

[1]) *С. Т. Семенов.* Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом.

Но что любопытнее всего, это то, что не только крестьянин испытывал на себе *влияние* писателя, но, в свою очередь, и Толстой поддавался *влиянию* своих мужичков — в такой степени, что можно ставить вопрос о том, не здесь ли скрыты корни его «опрощения».

И прежде чем говорить о том, что выносит крестьянин из произведений писателя, нельзя не остановиться на том, в чем состояло это мужицкое влияние на Льва Николаевича. А. С. Пругавин сообщает любопытный разговор, происходивший у него с последним в одну из встреч с ним в Москве. «Знаете, что я вам скажу,—заявил Лев Николаевич Пругавину,—двум русским мужикам, простым, чуть грамотным мужикам, я обязан более, чем всем ученым и писателям всего мира». Кому же это? «Сютаеву и Бондареву»,—сказал он [1]). Это вне сомнения. И Сютаев и Бондарев сыграли немалую роль в жизни и творчестве Толстого, особенно последний, влияние которого сказалось с ясностью в произведениях писателя второго периода его деятельности.

Напомним же сперва Бондарева. Тимофей Бондарев в течение трех лет вел переписку с писателем, и очень жаль, что из этой переписки опубликовано всего лишь несколько писем Толстого. Но в чем состояло влияние, можно судить по тому, что писал последний о Бондареве в своих статьях. Сочинение Бондарева «Торжество земледельца», к которому он еще в 1888 г. написал предисловие, неоднократно привлекало к себе мысли Толстого. Сюда относятся статьи «О Бондареве», «О проэкте Генри Джорджа», «О ручном труде и умственной деятельности», «Первая ступень» и т. д. Насколько значительно было содержание книжки малограмотного мужика в глазах Толстого, говорит уже самый стиль его похвал, поистине чрезмерных.

Писатель знал, что «странно и дико» должно показаться людям его утверждение, что сочинение Бондарева, над которым мы снисходительно улыбаемся с высоты своего

[1]) „Русские Ведомости“ от 9 июля 1911 г.

умственного величия, переживет все сочинения, которые нами так чтутся, и произведет большее влияние на людей, чем все они, вместе взятые. А между тем он «уверен, что это так будет». А уверен он в этом потому, что как ложных и никуда неведущих и потому ненужных путей бесчисленное количество, а истинный, ведущий к цели и потому нужный путь только один, так и мыслей ложных, ни на что ненужных, бесчисленное количество, а истинная нужная мысль или, скорее, истинный и нужный ход мысли только один: «и *этот один истинный и нужный ход мысли* в наше время излагает Бондарев в своем сочинении с такой *необыкновенной* силой, ясностью, убеждением, с которой еще никто не излагал его. *И потому* все кажущееся столь важным и нужным теперь *бесследно исчезнет и забудется, а то, что говорит* Бондарев и к чему призывает людей, *не забудется*, потому что люди самой жизнью будут все больше и больше приводиться к тому, что он говорит». Открытие научных отвлеченных и научных прикладных истин совершается так, — по словам писателя, — что люди ходят более около этих истин, иногда только слегка захватывая их, «до тех пор, пока смелый, свободный и одаренный человек не укажет самой середины этой истины и не поставит ее на ту высоту, с которой она видна всем. И это самое сделал Бондарев по отношению нравственно-экономической истины, которая подлежала открытию и уяснению нашего времени». «Многие ходят около этой истины и выговаривают ее с разными оговорками, как это делает Рескин, но никто не делает того, что делает Бондарев, признавая хлебный труд основным религиозным законом жизни. И он делает это не потому, как это нам приятно думать, что он невежественный и глупый мужик, не знающий всего того, что мы знаем, а потому, что он *гениальный* человек, знающий то, что истина только тогда истина, когда она выражена не с урезками и оговорками и прикрытиями, а тогда, когда она выражена вполне»[1]).

[1]) *Л. Н. Толстой.* Полное собрание сочинений. (Издание И. Д. Сытина). Т. XVII. „О Бондареве".

Так—в таких выражениях—можно писать лишь о том, что ослепило воображение пишущего, и нет сомнения, что в желании писателя жить с народом и жить, как народ, Бондарев с его учением («хлебный труд есть лекарство, спасающее человечество», «хлебный труд даст разум тем, которые потеряли его, удалившись от свойственной человеку жизни») сыграл не малую роль. Любопытно, что «Торжество земледельца» очаровало не только Толстого, но и другого народолюбца, Глеба Успенского. И Успенский отнесся к рукописи Бондарева с особым вниманием. Боясь, что рукопись не произведет на читателя того впечатление, какое он желал бы, чтобы она произвела, Успенский посвятил статью Бондареву, в которой убеждал читателя в том, что труд «разделен между людьми, а не между членами организма человеческого»; что рабочий только стоит у станка или у горна и стучит всю жизнь молотком, а проститутка всю жизнь пьяна; что все исполняют какую-либо специальность, не дающую возможности человеку жить многогранно, всеми сторонами духа и тела. Сославшись на Михайловского и Толстого, Успенский приходил к тому, что так социологически близко и тому и другому. «Повторяем,—говорил он,—эта формула и этот вывод, сделанный гр. Л. Н. Толстым относительно форм жизни русского народа, окончательно решает вопрос как о том, что вообще нравственно, разумно, справедливо, так и о том, что такое Россия, Европа, народ и цивилизация» [1]). Таким образом, симпатии Успенского были в такой же степени на стороне Бондарева, как и Толстого, хотя открытием для него рукопись Бондарева не являлась.

Когда—с помощью Н. Н. Златовратского—рукопись была впервые напечатана, Толстой ему писал: «Я душевно радуюсь тому сочувствию, которое вы выражаете и испытываете к Бондареву. Я еще больше *полюбил* вас за это».

Так увлечен был Толстой и сочинением, и личностью Тимофея Бондарева, крестьянина из молокан, накануне того,

[1]) *Глеб Успенский.* Полное собр. сочинений (Изд. А. Ф. Маркса), т. V. „Скучающая публика".

как он, родовитый барин по происхождению, по всему строю жизни, решил опроститься и работать, как простой яснополянский мужичок.

Разумеется, нет необходимости и преувеличивать влияние Тимофея Бондарева. Помыслы Толстого органически были направлены в сторону мужика. Намеки на это мы находим уже в «Казаках». Но все же влияния Бондарева не вычеркнешь.

V.

О Сютаеве, крестьянине Тверской губернии, которого Толстой так любил, рассказал ему А. С. Пругавин у самарских молокан. Из всего, что последний сообщил писателю о сектах, известных Пругавину из личных наблюдений, Льва Николаевича как-то сразу, особенным образом заинтересовала личность и учение только что появившегося тогда на горизонте крестьянина Василия Сютаева, мужицкого коммуниста, проповедывавшего любовь и братство всех людей и полный коммунизм имущества. Узнав, что, прежде чем попасть в Самарскую губернию, Пругавин был в Тверской губернии у Сютаева, где прожил целую неделю, почти не расставаясь с ним, Толстой тщательно расспрашивал его о личной жизни и взглядах необыкновенного крестьянина, а также о тех попытках, которые он предпринимал у себя в деревне в целях устройства общины-коммуны.

Так как Пругавину удалось со стенографической точностью записать слова и речи Сютаева, то он смог передать Толстому учение Сютаева почти в его собственном дословном изложении.

— Ах, как это важно! Ах, как это верно!—все время восклицал писатель, слушая речи Сютаева.

Услышав, что один из сыновей Сютаева, призванный к отбытию воинской повинности, отказался принять присягу и взять ружье в руки, за что был заключен в дисциплинарный батальон в Шлиссельбургской крепости, Лев Николаевич сказал:

— Все это так интересно, что я готов, при первой возможности, съездить к Сютаеву познакомиться с ним [1]).

Он вскоре же и привел в исполнение это намерение, и в ноябре 1881 года он уже пишет В. И. Алексееву: «Еще был я у Сютаева, тоже христианин и на деле. Мы единомышленники с Сютаевым во всем до малейших подробностей». И несколько позднее графине С. А. Толстой: «перепись и Сютаев уяснили мне очень многое» [2]).

Начинается переписка Толстого с Сютаевым, которого в течение ряда лет можно было встретить то у самого Льва Николаевича, то в толстовских земледельческих общинах.

О единомыслии «до малейших подробностей» с этим семидесятилетним стариком, алчущим и жаждущим «правды», поражавшим ласковым, любовным отношением ко всякому человеку, с которым он встречался, Толстой мог говорить не всегда. Причину человеческого неустройства можно видеть или в нравственном несовершенстве людей, или в неблагоприятных условиях самого строя жизни, который сильнее отдельных личностей. Одни говорят: переменитесь, переродитесь нравственно, и строй жизни вместе с тем переменится. Другие говорят: измените к лучшему общественную обстановку, уродующую людей, и люди сами собой станут лучше. Первый взгляд это взгляд Л. Н. Толстого. По его мнению, строй жизни улучшится лишь в том случае, если большинство людей поднимется на высшую нравственную ступень. Сютаев сначала,—вероятно, бессознательно,—держался тех же взглядов. Но когда опыт ему доказал, что общий строй жизни сильнее единичных усилий отдельных личностей, то он изменил свой взгляд и стал на противоположную точку зрения. «Нельзя спасаться одному, надо спасаться миром», обобщал он этот опыт, и все его мысли с тех пор были направлены в эту сторону. Расходился Сютаев с Толстым и во взгляде на любовь и брак. Под влия-

---

[1]) *А. С. Пругавин*, О Льве Толстом и толстовцах. Очерки, воспоминания, материалы. (Москва. 1911 г.) стр. 58—59.

[2]) Письма *Л. Н. Толстого* 1848—1910 г.г., собранные и редактированные *П. А. Сергеенко*. (Изд. „Книга". 1910 г.), стр. 139—140.

нием незадолго перед тем вышедшей «Крейцеровой Сонаты» интеллигенты-общинники стали проповедывать безбрачие в своих общинах. Сютаев в этом безбрачии увидел аскетическое начало, ему чуждое и непонятное. «Вы должны принести плод», говорил он, вкладывая в свои слова буквальный смысл. Не отказываться от радостей человеческой жизни нужно было, по его мнению, а, напротив, сделать ее наивозможно привлекательной.

Следы этого разногласия находим в «Переписке» Толстого. «Опасно впасть в обратную ошибку, — писал он В. В. Рахманову уже в 1891 г.,—в которую впадает Сютаев,— сколько я понял из вашего письма и помню его взгляды, — сказать себе, что я не могу быть чист от насилия (потому что пользуюсь им) и потому могу в известных пределах участвовать в нем, могу подать становому заявление об украденной лошади и т. п. это все равно, что сказать себе... Это тот самый страшный путь, который называется компромисс, сделка» [1]).

Сютаев упрекал Толстого за то, что тот не отдал своего имения тем, кто устроил бы там жизнь «по духу».

— Кому ты отдал имение? — говорил он Льву Николаевичу.—Детям, жене. Разве они тебе родные, разве они живут по духу? А если они живут по плоти, не родные они тебе.

В статье «Так что же нам делать» Лев Николаевич передает такую сцену. Это было в разгар его «самообольщения». Он сидел у сестры, — у нее же был и Сютаев,—и с увлечением, жаром, многословием говорил ей о переписи, о том, как «мы будем призревать сирот старых, высылать из Москвы обедневших здесь деревенских, как будем облегчать путь исправления развратным» до тех пор, пока не будет человека, который бы не нашел помощи. Толстой говорил и поглядывал на Сютаева, так как говорил он сестре, но обращал свою речь больше к нему. Но тот сидел неподвижно в своем тулупчике и как-будто не слушал. Наговорившись, Лев Николаевич обратился к нему с вопросом, что он думает про все это.

[1]) Там же, стр. 201.

— Да все пустое дело,—сказал он.

— Отчего?

— Да вся ваша эта община пустая, и ничего из этого добра не выйдет,—с убеждением повторил он.

— Как не выйдет? Отчего же пустое дело, что мы поможем тысячам, хоть сотням несчастных?

— Знаю, знаю, да не то вы делаете. Разве так помогать можно? Ты идешь, у тебя попросит человек 20 коп. Ты ему дашь. Разве это милостыня? Ты дай ему духовную милостыню, научи его. А это, что же ты дал? Только, значит, отвяжись.

«Простое слово это поразило меня, — заключает свой рассказ Толстой.—Я не мог не сознать его правоту, но мне казалось тогда, что, несмотря на справедливость этого, все-таки может быть полезным и то, что я начал. Но чем дальше я вел это дело и чем больше я сходился с бедными, тем чаще мне вспоминалось это слово и тем больше оно получало для меня значения» [1]).

Разногласие с Сютаевым было. Однако, влияние Сютаева едва ли было менее действительно, чем Бондарева. Им запечатлены письма, разные места писаний Л. Н. Толстого. Вот короткая запись из дневника: «Был в Торжке у Сютаева. Утешенье». Сютаев был близок Толстому не религиозной только стороной, но и социальной, чисто-бытовой закваской, взглядами на деньги, собственность, войну, больше же всего и прежде всего—самым строем личности.

VI.

Народ влек к себе Толстого не только стихией идей, но и стихией художественных эмоций. Многие произведения Толстого, как «Власть тьмы», народные рассказы, сказки, были

[1]) *Л. Н. Толстой.* Полное собрание сочинений т. XVIII. (Изд. И. Д. Сытина).

продуктом своего рода совместного творчества с мужиком. Вот «как крестьяне помогали писать Л. Н. Толстому», по словам И. Тенеромо.

Когда Тенеромо учительствовал в Ясной Поляне, ежедневно устраивались послеобеденные чтения, на которые являлись и взрослые—парни, женатые и, наконец, старики. «Больно уж занятно сказывают», оправдывали эти старики свой легкомысленный не по летам поступок—интересоваться книжкой. Во время чтения и после обыкновенно завязывалась оживленная беседа, и в этой беседе Лев Николаевич принимал самое горячее участие. Он на простом языке говорил еще красивее и вдохновеннее, чем на языке литературном. В разговоре с крестьянами он сам казался робким, вникающим учеником: «народ—великий учитель».

— Как хорошо! — сказал он раз Тенеромо, прощаясь с ним.—Как мало мы знаем, в чем наша истинная радость. Час такого общения стоит всех этих фешенебельных вечеров.

Кончили однажды чтение небольшого рассказа, поговорили, побеседовали, вдруг вынимает Лев Николаевич из кармана тетрадку исписанных листиков и говорит:

— Прочту и я вам... свою вещь, «сказка» называется.

И звучным, внятным голосом прочитал свою известную сказку об «Иване Дураке».

В то время Лев Николаевич кончал свою работу «Так что же нам делать?», занятый разработкой вопроса о деньгах. Вот те отвлеченные выводы, к которым он пришел в своем сочинении, он образно выразил в сказке и, читая ее, заметно волновался перед крестьянами.

Сказка понравилась, старики похваливали, а помоложе перебирали отдельные моменты и делились впечатлениями. Заметив одного из крестьян, особенно волновавшегося по поводу прочитанного, Лев Николаевич обратился к нему.

— Ну, вот, Константин Николаевич, ты бы нам велух и рассказал всю сказку. Сделай милость!

— Можно, отчего же,—от слова до слова помню.

И полился плавный пересказ прочитанного. Но, к удивлению всех, это вовсе не был пересказ. Он далеко не соответствовал оригиналу; многие места вышли совершенно иными, и слова, и выражения были другие—даже сочетание событий в одном месте вышло не то, что в сказке Льва Николаевича.

Из толпы его стали поправлять и резко обрывать: «не ври, вот так мол было».

Но Лев Николаевич с жадностью ловил именно эти измененные места в пересказе и останавливал всех.

— Не надо, не надо, пускай рассказывает. У него хорошо выходит.

Крестьянин этот был беднейший в деревне, жил на краю села, и оттого его называли Константин Крайний. Его изба была раскрыта, а плетни покосившиеся и разоренные. И оттого его называли еще Константин Разоренный. Но дар слова был у него выдающийся, и он был большой охотник до книжки. Повесть Савихина «Дед Софрон» он раз 50 прочел и выучил наизусть. Всей семьей он разучивал эту книжку и всей семьей, бывало, рыдают над грустной участью бедного деда Софрона.

Вот этот самый Константин и рассказывал теперь сказку об Иване-Дураке. Лев Николаевич спешно делал отметки на листе и сиял от восторга, когда в пересказе блеснет яркая фраза, образное выражение или меткое слово, на которое Константин Николаевич был большой мастер.

Сказка «Иван-Дурак» появилась в свет в пересказе Константина.

— Я всегда так делаю, — говорил Лев Николаевич, — я проверяю себя и учусь у них писать. Это единственный способ создать народную вещь. Вот и рассказ «Бог правду видит да не скоро скажет» тоже так возник.

Это пересказ ученика. «Так любит и уважает великий писатель великий народ свой, — писал Тенеромо. — И оттого народные творения Толстого дышат такой непосредственной правдой языка. Какой могучий поток свежих образов, мыслей и слов хлынул бы в нашу, в сущности, маленькую, тощую,

ожаргонившуюся до-нельзя, «об'интеллигентившуюся» литературу, если бы и другие писатели поступали так же и так же любили и уважали народ, как уважает и любит его Толстой!»

Если с Константином Толстой писал «Ивана-Дурака», то с крестьянским парнишкой Васькой, одаренным художественной жилкой—яснополянским крестьянином Василием Степановичем Морозовым—писал он вместе «Солдаткино житье». Об этом творчестве Лев Николаевич писал: «Я чувствовал, что для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий, мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть,—зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно, и радостно было, как искателю клада, который бы увидал цвет папоротника,—страшно потому, что искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде» [1]). Писатель столько же учил Василия Морозова, сколько учился у Василия Морозова, одного из любимейших своих учеников, сам. Потому-то он заставлял крестьянскую молодежь рассказывать то, что он ей читал. Крестьянин А. Т. Зябрев вспоминает, как он, бывало, с приятелями приходил к Льву Николаевичу. Они читали, а Лев Николаевич слушал, а потом заставлял рассказывать, кто что прочел. Потом сам рассказывал. Когда же кончал свой рассказ, то спрашивал:

— Вы поняли?

— Поняли.

— Так вот расскажите мне по порядку то, что я вам рассказал.—И Лев Николаевич заставлял рассказывать, после чего раздавал свои книжки.

Толстой имел все основания ответить одному рабочему, говоря о значении образования для народа:

— Когда я вижу мужика, не мне хочется учить, а самому у него учиться.

---

[1]) *И. Тенеромо*, „Живые слова Льва Николаевича Толстого", страница 397—98.

Так, как Толстой, из наших корифеев разве один Пушкин припадал к источнику народной мудрости.

VII.

Вот это-то свойство Толстого—любовь к людям крестьянского труда, бросающаяся в глаза даже при поверхностном знакомстве с его творчеством, с его личностью—и влекла к нему мужицкое сердце, сердце читателя деревни. Конечно, разнообразны круги читателей из народа, через которые проходили книги его или слухи, в таком изобилии проникавшие и в простонародье, но есть слой крестьян, всей душой тяготеющий к Толстому и его *жизнечувствию*.

В том, что он говорит и пишет о Толстом, останавливает внимание уже то обаяние, каким окружена в его глазах—еще до произведений и дел писателя—сама по себе личность Льва Николаевича. «Невидимыми нитями связан с нею я,—пишет конторщик из крестьян,—чувствую ее близость», и, в самом деле, о личности Толстого они говорят, как о близкой, интимно близкой им, стараясь защитить от тех, кто на нее «нападает».

«Мудрец», «простой человек, постигший истину жизни», «совесть России», «только спросил бы и сказал бы все самое близкое, самое дорогое»—вот выражения, в каких характеризуется личность писателя. Иные коротко, но выразительно характеризуют «нить невидимую», протянувшуюся между их личностью и личностью Толстого: «полюбился мне, зовет итти по его пути».

В чертковском «Свободном Слове», приводится факт, относящийся еще к девяностым годам. Однажды на улице к Льву Николаевичу подошел пожилой рабочий, остановил его и спросил:

— Скажите, пожалуйста, не вы ли граф Толстой?

— Я, — ответил Лев Николаевич, — а вам что-нибудь нужно от меня?

— Только хотел узнать, неужели это верно, что я имею счастье видеть самого Толстого.

Поклонился низко и отошел. И Семенов, вспоминая, как в годы его юности появился в Москве увеличенный портрет писателя,—где он был снят с «мужицким пробором на голове и с суровым укоряющим взглядом»,—говорит, что ни разу не мог пройти мимо, чтобы не взглянуть на этот портрет; «меня всегда поражала пророческая суровость этого лица».

Нападки на Толстого они принимают так, как когда речь идет о человеке дорогом. После того как Семенов познакомился и стал бывать у Толстого, местный священник об'яснил его отцу, что он попал в сети; что Толстой зловредный человек и хитрый предприниматель, что он заставляет таких простачков писать, а сам выдает эти писания за свои, получая за них капиталы. Отец так расстроился, что напился пьян и отчитал Семенова, как пропащего, и стал косо глядеть на все, чем он занимался. Эта спекуляция на темноту, которую так чувствуешь в каждом медвежьем углу, но с которой так трудно бороться, дает себя знать и каждому интеллигенту деревни. Но особенно возмущает его ложь, которую распространяли о Толстом газеты, конечно, известного направления. «Устроившись, как псы в богатом доме,—пишет крестьянин,—ожирев, они оберегают дом, в котором им так тепло живется. Один из таких господ, по фамилии Меньшиков, пишущий в газете «Новое Время», особенно недоволен писаниями Толстого. В народе как газета, так и «господин» Меньшиков совершенно неизвестны. Газету эту читают люди больше богатые и важные, и этот господин тоже богатый и важный. Так вот такой-то «господин» рассказывает в газете, что Толстой не прав. Рассказывать ему легко. Толстой с ним спорить не станет. А если бы и стал, так маленькие люди не услыхали бы. Ведь только господам, в роде Меньшикова, можно свободно говорить. Но сему господину мало того, что он, заранее зная, что возражений не будет, рассказывает о неправоте Толстого. Он знает, что всякий человек захочет разобраться сам, и скоро поймет истину. Так он, недолго

думая, начинает врать, выдумывать разные гадости про Толстого». Конечно, в них-то—в маленьких людях, которые верят этим гадостям—вся сила. За ними-то господа и сильны, и умны, и богаты. Перестань им верить темнота, миллионы людей, и куда полетит вся важность, вся сила этих господ! «Куда они тогда годятся? Ведь они и навоз возить и то как следует не умеют». По словам другого—столяра из крестьян—смешно, конечно, им защищать Толстого: он в этом не нуждается. «Но зато нуждается простой, темный человек в раз'яснении того, почему о Толстом так много пишут и хорошего, и плохого». Толстого порицают за то, что он проповедует отречение от собственности, а сам свою собственность другим не роздал, а оставил своей семье и сам живет с своей семьей. Наш столяр видит в этом порицании одно непонимание. Ведь «по нашим законам над ним в таком случае установили бы опеку, и все равно не дали бы расточить свою собственность». Есть еще люди, которые кивают головами на Толстого и говорят: «ему хорошо писать-то—в теплом доме, в обеспеченной семье». «По ихнему выходит, что ему надо было бросить семью, скитаться по свету. Но эти лукавые люди забывают или утаивают, что ничего того, что сделал Толстой, тогда сделать было бы нельзя. Среди миллионов необеспеченных людей, быть может, было не мало мудрых людей, ясный ум которых мог бы принесть огромную пользу народу, но условия жизни заставляли их уходить в добывание себе насущного куска хлеба. Этого желать могут или очень глупые или очень нехорошие люди».

В какой степени Толстой «полюбился» мужичку, лучше всего говорит впечатление, какое произвела смерть писателя. «Его похоронили в лесу,—пишет приказчик (из крестьян).—Над его могилой будут таинственно шуметь деревья, и лучшие сердца людей будут устремляться к этой дорогой могиле. Но это меньшинство, а большинство? А восьмидесятимиллионное население сел и деревень, простые русские мужики, будут в недоумении спрашивать: почему его похоронили в лесу?» Штундист—крестьянин Киевской губернии—пишет: «Я узнал

о смерти нашего великого старца Льва Николаевича. Скорблю и сожалею о том, что мы и вся Европа лишились великого учителя русской земли. Но да будет воля его. Отдыхай от своих трудов, наш великий старче, Лев Николаевич. Много ты потрудился для угнетенного и страждущего народа. Сделал ты свое дело, которое никогда не умрет. За твою, старче, великую и высокую идею, порождающую дух красоты и истины, за это тебе, великий старче, многие и многие правдолюбцы скажут великое спасибо. Через тебя, великий старче, мы и многие увидели луч восходящего ясного солнца правды. Тот луч ясной правды проник во многих и многих сердца людей, измученных и разбитых сердцем».

Еще трогательнее изображал это впечатление крестьянин одной из внутренних губерний. «Лев Николаевич будет иметь огромное значение для людей,—писал он,—особенно для оправдания нашей мужицкой любви к нему». И еще не зная, что его душа уже оставила родную землю и любящее сердце перестало биться, они — кружок передовых крестьян—собирались по вечерам «артельками», на разные лады рассуждали о Льве Николаевиче. Спорили, горячились... «Родной наш! Милый Лев Николаевич! Что-то будет дальше?» Но вот номер «Биржевых Ведомостей», и сомнений нет: он умер. «Умер. Да, он умер. И какой-то тяжелой, щемящей болью схватило сердце. И вдруг стало так сиротливо на душе и пусто вокруг. Я опять схватил «Биржевые», чтобы занять себя, чтобы не чувствовать этой вдруг охватившей меня пустоты, тоски и одиночества. В моем сознании откуда-то удивительно ярко проносятся одна за другой картины из его рассказа — «Три смерти», а за ними еще и еще чудные и такие близкие образы его великих творений. И с поразительной захватывающей быстротой предо мной проносятся и «Детство и отрочество», и «Утро помещика», и «Казаки», и «Хозяин и работник», и Левин, и огромный ряд других образов из его простонародных рассказов... Ведь все это он... все это им пережито и перечувствовано... И эта чудная, красивая жизнь закончилась... И он ушел от нас и никогда не воротится.

А мы еще будем жить, мы остаемся без перемены... Зачем это я раньше так мало думал о том, что вот я здесь живу, смеюсь, думаю, работаю, ем, сплю, а в эти же минуты тоже живет и смотрит на мир божий, на солнце, на звезды Лев Николаевич. И у него бьется сердце, и он думает, живет. И я, может быть, когда-нибудь увижу его и поцелую в умилении край его одежды... Но вот его уже и нет».

— Зачем так?—удивляется сторож волостного правления его горю.—Как это обидно!

— Крестьян он очень любил и за них стоял,—об'ясняет пишущий,—много писал он о правде, о крестьянской нужде и даже при смерти не забывал нас, мужиков.

Он хочет сказать еще, что Лев Николаевич «желал умереть так, как умирают мужики», но не может выговорить. Дома ребятишки пьют чай, но ему и смотреть на чай не хочется. Пришел Кузьмич. «Смотрю, плачет и он, и Катя жена. И мы уже плачем все трое. Плачем над последними словами дорогого человека, над величавым спокойствием его смерти. Затем Кузьмич ушел. Он прошел мимо стройки, где работают парни.

— Господа, Лев Николаевич *умер!*

И все ахнули, и четверо сразу воскликнули: «Осиротели! Одни остались! Закатилось солнышко наше!»

«Пройдусь лучше по селу, в поле. Странно. Он умер, а мир остался без перемены. Жизнь идет, движется все так же куда-то ровно, спокойно, однообразно и даже величаво. Те же неугомонные звуки дня носятся над селом. И люди снуют по улицам всяк за своим обычным делом. А его уже нет. Он давно в могиле... В поле — тот же широкий простор с уклонами, овражками, долами, с далеким перелеском на горизонте. И это полное безлюдье — ненарушимая мертвая тишина и пустыня. Чего все это ждет, к чему притаилось, прислушалось? А ведь что-то есть здесь вечно таинственное, непостижимое? Он умер. Не стало его. Куда он ушел? И чувствует ли что-нибудь его великая душа? И мне снова ярко представляется величие его души, таланта, глубина духа... Любовь,

удивление и преклонение перед ним всего мира... Когда пройдет много лет и мы будем живы, то станем гордиться, что при нас жил и умер Толстой».

Мы привели этот рассказ: сколько людей, разбросанных по деревням и селам нашей Руси, переживало все то, что так описывает наш автор!.. Толстой *любим* читающей деревней, любим как человек, и так веришь Морозову—ученику Толстого, оторвавшемуся от земли и очутившемуся в босяках, что только память о Толстом, этом пахаре, косце, печнике, которому крестьянская премудрость далась, как закоренелому землеробу, спасла его от самоубийства...

VIII.

Когда, при каких условиях наш читатель знакомится с произведениями Толстого, какое впечатление производят они первоначально?

Сочинения Толстого так же туго попадают в русскую деревню, как и сочинения других писателей. Значительны побудительные мотивы, созданные идейно-общественным под'емом крестьянства, но обстоятельства сильнее их, и первое знакомство почти без исключения носит характер случайный. Ведь с Толстым ожесточенную борьбу вело сельское духовенство... Но раз произведение Толстого попало в руки крестьянина,—особенно то, которое написано писателем для него,—оно захватывает его *сразу и целиком.*

Если из всех книг на данного читателя влияет данная книга, в связи с психикой читателя, то произведения Толстого как раз те, которые не могут не подействовать на него в данных условиях. Характерно, что знакомство начинается со сказок, народных рассказов и аналогичных произведений Толстого («Власть тьмы», «Хозяин и работник» и т. д.).

«Пришел я,—рассказывает крестьянин Нижегородской губ.,—попросить книг у учителя. Учитель дал мне Григоровича. Мне, только что оторвавшемуся от сказок и лубочной литературы, Григорович пришелся не по плечу. Я прочитал у него кое-что из мелких произведений, а остальное мне было непонятно, не понравилось. Так я и отнес книгу обратно. Учитель в то время указал мне на одного студента, от которого я стал брать литературу. После Григоровича я взял Толстого,—народные рассказы,—и Толстой заставил меня позабыть о лубочной литературе. После этого я много прочитал хороших книг, но ни одна не помогла мне так развиться, как эти рассказы». «Толстого («Власть тьмы», «Хозяин и работник»), пишет белорусс, крестьянский парень,—я прочитывал по десять раз и более. Помню, опасаясь, что книги от меня скоро будут отняты,—а попадали они мне не легко,—я целыми днями, находясь в поле при стаде, усаживался на корточках при пнях в лесу и, увлекаясь до забвения того, что я сторожу стадо, перечитывал место за местом. Удовольствию моему не было границ». Приказчик уездного городка рисует другую картину. Бывали минуты, когда ни одного покупателя в лавке не было. Тогда он доставал какое-нибудь издание «Посредника»—«Упустишь огонь не потушишь» или «Бог правду видит»—и улетал куда-то вместе с рассказом. Но вот звонкая пощечина возвращает его к действительности; она так и горит на его лице. Но книжку он все-таки не бросал: он с нею все на свете забывал.

Еще несколько примеров. «Мне было лет 15,—пишет крестьянин,—когда я в первый раз услышал про Л. Н. Толстого». Был у них тогда в селе псаломщик и священник, общительные люди, любившие дружить с мужиками, особенно с певчими. Недаром псаломщик впоследствии был сослан в монастырь за вольнодумство, а священник, не выдержав душевного разлада, запил, заболел и помер довольно молодым. Вот здесь-то наш паренек услышал о «высоких материях», здесь-то он узнал впервые, что есть знаменитый писатель граф Л. Толстой, что он, несмотря на графское достоинство, сам пашет, косит, пилит дрова и проч. Он был поражен и очарован сразу образом такого человека. Говорили, что он и одежду носит простую, крестьянскую, и не пьет вина, и не курит, и даже не ест мяса. Все это для него было ново и поразительно. Воспи-

танный в строгих семейных правилах, созданных мужицким бытом, и прочитав всю библию и все четьи минеи, над которыми плакал и умилялся, он почувствовал теперь что-то родственное в образе Льва Николаевича тому идеалу человеческой личности, который носил в душе. Кругом были мелочи жизни. Крестьяне ненавидели свой тяжелый труд, считая его каторжным; сельские интеллигенты тоже брезгали черной работой. Манила всех к себе лишь жизнь праздная и обеспеченная. Сам он уже незаметно приучался курить, пить водку, перенимать «модные» манеры и т. д. И вот тут-то он узнает, что где-то, хотя и очень далеко, но на земле есть человек, который достиг славы великого писателя и так хорош, ласков и внимателен к мужику и мужицкому труду. «Я с жадностью ловил каждое слово про него,—пишет наш крестьянин,—и радовался, что нашел живой пример для своего образа жизни, и тогда же решил воздерживаться от курева, водки и городского форса в одежде и разговорах». Разумеется, вскоре,—именно, когда в их селе устраивались столовые для голодающих,—он прочел первые произведения Толстого. Их дал ему студент, заведывавший столовой. Тут были «Утро помещика», «Казаки»; особенно много было рассказов для народа: «Где любовь, там и бог», «Овечка», «Два старика» и другие. Он зачитывался этими рассказами. Позднее же несколько ему удалось прочесть и все рассказы Толстого для народа изд. «Посредник» и другие. Все эти книги ему *сразу* пришлись по душе; он считает их «лучшими, какие мне только удалось прочесть за всю мою жизнь. И я всей душой *полюбил* Льва Николаевича, хотя толстовцем и не сделался».

Вот крестьянин-ремесленник, по воле судьбы оторвавшийся от деревни. Лет до 19, читая книжки без разбора, он не выделял имени Толстого из имени других русских писателей. Но это продолжалось до голодного года, для России крайне тяжелого, когда он впервые прочел как следует статью Толстого о голоде. «Теперь вспоминаю я: с какой сердечной горячностью, с какой силой увлечения прочитал я статью Л. Н. Толстого «Почему русские крестьяне голодают?» Я помню,

как газета кричала: «явился новый граф Толстой, мы похоронили величайшего художника-романиста, вместо него явился бунтовщик земли русской» и т. п. Все это меня заинтересовало. А, главное, статья поразила меня своей неотразимой правдой, своей искренностью, исходящей из уст того, кто сам принадлежал к графскому, аристократическому роду, был помещик... И такая забота о крестьянине, «кормильце-мужике»! С этого дня я стал изыскивать возможность прочитать все, что написал Л. Толстой, и, несмотря на обстановку жизни, в которой я тогда находился, наполовину мне удалось успеть в этом».

А вот рассказ крестьянина Семенова о первых впечатлениях его от толстовских книжек. Ему пошел уже 18-ый год. Еще в Белгороде встретил он разносчика с книжками, к которым он вообще, как только выучился читать, питал слабость. Среди этих книжек его внимание обратили две брошюры с красными рамками на обложке, с рисунками и с девизом: «не в силе бог, а в правде». Он купил книжки. Одна из них называлась «Кавказский пленник», другая «Чем люди живы». «Кавказского пленника» он прочел с удовольствием, но особого впечатления рассказ на него не произвел. Но «Чем люди живы» «подействовала так, как ни одна книга еще не действовала. Эта книжка пробудила во мне очень многое». Она заставила его задуматься над «самыми коренными вопросами жизни». С этой книжки у него изменилось даже самое отношение к книгам беллетристического содержания. До сих пор он относился к такого рода книге не совсем серьезно, она была для него предметом развлечения. «Проглотишь одну, откладываешь в сторону и тянешься поскорей за другой. Таких читателей много. Они читают всю жизнь, но вычитанное не прививается к ним, скользит по верху и исчезает. Будь это какая угодно духовная пища, она влияния на их практическую жизнь не имеет никакого. Таким читателем, может быть, остался бы и я, если бы мне в то время не попалась эта вещь». После прочтения «Чем люди живы» Семенов к каждой попадавшей к нему книжке относился внимательнее.

Он искал в ней содержания, и это-то содержание стало составлять для него главный интерес книги. Более всех удовлетворяли этому требованию издания «Посредника», — все почти рассказы Толстого о народе,—и он с жадностью следил за выходящими номерами, приобретал их, читал сам, читал и другим. И все слушатели его *разделяли его чувства*, говорили, что «эти книги не *побасенки, а в роде притч*, что в них говорится удивительная *правда*», и ценили их так же высоко, как и он, Семенов.

Навидавшись за свои скитания с места на место достаточно мучительной житейской бессмыслицы, Семенов не мог не признать этой правды за неотразимую истину; и у него стал складываться такой ход мысли, который подтверждался и упрочивался все более выходившими книжками Толстого. Наконец, вышел «Иван-Дурак». «Весь огромный смысл этой сказки,—вспоминает Семенов,—открылся мне во всей полноте, и у меня явилось определенное желание бросить эту *обмертвляющую, механическую, городскую жизнь* среди людей, связаных одними материальными интересами, и пойти домой в деревню, осесть там и жить *праведными трудами хлебопашца*. Дальше—больше, желание это разгоралось сильней, и деревенская жизнь стала мне представляться раем» [1]).

Не подумайте, что выдержки мною подобраны. Весь, буквально весь материал, побывавший у меня в руках, подтверждает эту *неотразимость* толстовской манеры письма для читателя из крестьян. Первая повесть, попадающая в руки крестьянина, не чуждого известного умонастроения, завоевывает его навсегда. И—что всего любопытнее—это то, что его захватывает не столько литературный, сколько моральный смысл произведения,—вернее сказать, то и другое вместе, нераздедимое в мужицком его понимании.

[1]) *С. Т. Семенов.* „Двадцать пять лет в деревне" (Книгоиздательство „Жизнь и Знание". Петроград. 1915 г.).

IX.

Уже из этого видна *склонность к поучению крестьянина*, даже поднявшегося умственно над своими односельчанами, *склонность, которой уже нет и следа на фабрике*. В религиозной книге с детских лет привык крестьянин видеть нечто не допускающее критики; так и литературное произведение представляется ему *проповедью*, которая ему как таковая и по душе. Вот почему—*в то время как рабочий с жадностью, с восторгом воспринимает художественную сторону, любя тенденцию лишь тогда, когда она не надуманно, а естественно вытекает из самого течения событий—крестьяне больше тяготеют к выводу*, который, в конечном счете, и делает художественное произведение в их глазах нужным.

Это ослабляет их художественное чутье, и если бы мы захотели извлечь из их суждений все, в чем сказывается их оценка мастерства как такового, Толстого-художника в чистом смысле этого слова, то таких оценок у нас набралось бы мало. *Толстовское письмо в их восприятии слито толстовской правдой*, и когда вы слушаете этого читателя, вам кажется, что не мастерство писателя ведет его к мужичку, а писательская «правда».

Ни язык, ни стиль, ни конструкция произведения не являются об'ектом обсуждения. Встречаете выражения: «мощно становится на фоне русской литературы Лев Толстой», «произведения его полны гармонии»,—намеки на художественный вкус; чаще же всего: «ясно», «понятно», «до сердца доходит»: внимание устремлено в другую сторону.

Вот пишет ремесленник, только в 23 года начавший учиться ремеслу. До того служил он по торговой части, так как земельный надел не кормил его и его семью. Но под влиянием Толстого он «сделал поворот в своей жизни», отказался от торговли, которая неизбежно требует «нравственных уклонений и часто сделки с совестью». «Какой рудник мыслей и чувств, возвышающих душу человека над уровнем серой,

повседневной житейской обыденщины, открылся для меня!— пишет он.—Какая ширь открылась для меня в произведениях Л. Н. Толстого! Начиная с севастопольских бастионов, где солдаты, как мухи, гибли без цели и смысла,—вплоть до простой крестьянской печи в избе Никиты («Власть тьмы»), где лежит отставной солдат Митрич, философствуя, уговаривает Антюху не бояться темноты, в то же время догадываясь, что там, за дверью, в сенях, его хозяева совершают «пакость»—вплоть до этой обстановки все слои общества отражены в творчестве великого художника слова, одухотворены и освещены ярким светом *разума*. Начиная от школьного возраста до преклонных старческих лет, люди всех званий и положений найдут в произведениях русского гения по себе страницы, которые заставят задуматься и почувствовать правду, ту *толстовскую правду,* которую он с таким несокрушимым упорством искал сам до конца своей жизни, и побуждал миллионы людей стремиться к ней. Стоит вспомнить смиренного, всегда тоскующего Пьера Безухова, спокойного, вдумчивого Левина; больного, сознавшего бесцельность прожитой жизни Ивана Ильича и духовно воскресшего Нехлюдова,— стоит вспомнить и вдуматься, как *понятен и очевиден* будет великий дух Л. Н. Толстого, дух, воплощенный в эти литературные образы, в эти недюжинные, исключительные натуры. Стоит вспомнить Каратаева, читающего свою малословную молитву: «Матерь божья, Фрол и Лавра помилуй мя»; вспомнить мужиков, которые простыми словами об'ясняют смысл жизни Левину, решавшемуся кончить жизнь самоубийством; вспомнить слугу Ивана Ильича—Герасима, к которому так привязывается умирающий барин, что выгоняет и не хочет видеть с ним в сравнении свою промозглую аристократическую семью; вспомнить простодушного старика Акима во «Власти тьмы»; *вспомнить слова Акима*: «Опомнись, Микишка,—душа надобна!» Все это взять в целом, и не трудно догадаться, какую простоту и *правду* любил великий писатель в русском народе, в мужике. Очень естественно, эта *правда* неодолимо тянула его к народу. «Я, как человек, не-

посредственно происходящий из народа, как мужик, приношу мое благоговейное поклонение бессмертному имени великого, который научил меня «отличать правую руку от левой», научил мыслить, чувствовать и даже выражать на бумаге свои чувства» [1]).

Вот чтение «Двух стариков» в деревне. Читает мальченка. Мужички насторожились, кто где мог, присел, а кто стоял, но сразу тихо стало, и мальченка начал: «Собрались два старика богу молиться»... Разгорелись щечки у мальчика, притиснулись ближе к нему и взрослые, и «евангельское слово сладко звучит в тишине убогой избы». Сказку прослушали до конца, и видно было, как многие плакали.

— Вот бы сподобил бог быть Елисеем,—сказал старик.—Видишь ты! И не поспел в Иерусалим, а на первом месте был.

— За добрые дела! За господом не пропадет.

Вот чтение рассказа «Чем люди живы»—уже в другой деревне. Слушали с большой радостью, и «когда дошли до того места, где говорится, что раскрылся потолок и свет показался в избе, все подняли головы вверх и ждали, что вот-вот и здесь покажется столб. И верно: он был здесь, этот свет, приходящий в жизнь, и которого тьма не об'емлет».

Это коробейник Петр рассказывает о своей деятельности. До художественных ли тут оценок? Впечатление, производимое рассказами Толстого на крестьянина, огромно. «Какие струны души задевают эти бесхитростные, но глубокие рассказы,— верно отмечает крестьянин-писатель,—какие важные чувства возбуждают в сердце слушателей! Среди простого народа эти рассказы покоряют даже людей, зараженных неприязнью к Толстому, считающих его заблуждающимся, еретиком. И тайна такого действия—в одном: в действительно великой любви Толстого к простолюдину, которая и помогает ему проникать в самую глубину народной души». Но—как это ни

---

[1]) Курсив наш.

верно—в художественной стороне, в которой и заключен секрет обаяния Толстого, наши мужички не отдают себе отчета.

Вот еще выдержка; речь идет об изданиях «Посредника». «Я начал увлекаться дошедшими до меня этими изданиями, читал и перечитывал, собирал себе товарищей послушать книжного писания. Читающая публика из нашей среды простого народа приходила в восторг. От этих чтений *не было недомолвок в простом народе*. Каждый чувствовал в своей душе что-то липкое и говорил: «Эта хороша книжечка. И эта хороша». И между нами стали об'яснения на эти книги. Были и ценители и выбирали из книжечек такие слова, которые применялись к какому-нибудь человеку. «Ты, говорили—настоящий Пахом»; или: «этот—настоящий Елисей Бодров». Я был самый горячий читатель этих книжек и тянул за собой последователей». Конечно, было бы интересно узнать, что это были за «ценители», какие «оценки» делали они. Но читатель поворачивает в другую сторону. «Мне было ясно,—пишет он,—что я делаю над собой крутой поворот. Было заметно это и семье моей, от которой я получал укоризну и поносительные слова. Меня глубоко поражали книжечки Льва Николаевича, особенно «Два старика». И все дальше и дальше меня затягивали книги. Я, как голодный, не сразу удовлетворялся этими рассказами. Истинно говорю, у меня аппетит был такой, как у хорошего работника жажда после усиленных трудов. Ни одна книжка не была прочтена мною один раз, а много, десятки раз читал я сам и с другими».

Чтобы так писать, нужно, чтобы все струны души были задеты, самые важные чувства возбуждены в сердце читателя. Таково уже действие мастера своего дела. Но тем примечательней тот факт, что сам читатель этот смотрит на произведение, столь захватывающее и его ум, и его чувства, *не как на мастерство, а как на поучение*. Первое из этих чувств—*чувство авторитета,* не допускающее анализа художественного.

X.

Правда, толстовская *правда*, та, которая для крестьянина так *понятна* и *очевидна*—вот «чем Толстой так дорог и близок нам, униженным и оскорбленным», вот за что он «олицетворение деревенской мужицкой Руси», «проповедник святости и красоты земледельческого труда», «воплощенный протест против лже-культурной жизни». «Все произведения его, кажется, написаны на одну тему толкования евангелия», говорит крестьянин, и, в самом деле, то, что наиболее близко ему из Толстого, представляется ему евангелием своего рода. Что же его привлекает в этом евангелии?

Я уже говорил о связи, в какой стоит восприятие книги с психикой читателя. Каждое произведение имеет свой круг почитателей. То, что потрясает читателя-интеллигента, не всегда влияет на фабричного рабочего. То, что близко рабочему данного умонастроения, чуждо крестьянину с его умонастроением, может быть, и непонятно. Словом, крестьянство, как и каждая общественная группа, выступает с ему присущим характером восприятия. Но если это так, если родственность переживаний лежит в основе восприятия, то это еще не значит, что читатель проявляет одинаковую впечатлительность ко всем мотивам одного и того же писателя. Нет, за бортом сознания остается то, что не отвечает социальным особенностям читателя; нередко его воображение идет по собственным рельсам, приписывая писателю то, чего в нем не содержится. Тип крестьянина—свойственного деревне восприятия—и надо иметь в виду, подходя к вопросу о том, что он находит в Толстом.

Конечно, читатель из крестьян хорошо видит то, что у Толстого так гармонирует с его умонастроением, и плохо видит то, что выходит из этих рамок.

Ему близок *религиозный* строй толстовского творчества. Русское крестьянство, — *в отличие от городского пролетариата,*—глубоко религиозно. *Мысль его традиционно-авторитетна,*—ничего крестьянин не об'яснял без бога в доброе старое время. И все святые для него подлинно

живая явь. Крестьянская интеллигенция, конечно, выше религиозных поверий масс. Но все же она не свободна от традиционно-религиозных чувств и, так или иначе, непреоборимо тяготеет к религии. Насколько это так, говорит современная крестьянская поэзия. *У всех крестьянских поэтов*, даже основательно испытавших на себе власть города, *религиозные мотивы занимают одно из интимнейших мест*.

И вот—первое, что сближает мужицкого читателя с Толстым: это религиозные мотивы. Он отошел от исторической церкви с ее догматами. «Такой огромный ум, такое чувствительное сердце, такая широкая душа, какими обладал великий мыслитель,—убеждает нас читатель,—не могли ограничиться церковными догматами. Л. Толстой смотрел на Христа и его божественное учение по-своему. Большинство своих произведений он всегда сопровождал божественными изречениями. Его любимыми выражениями были: «Не в силе бог, а в правде», «Где любовь, там и бог», «Там нет красоты, где нет простоты, добра и правды» и т. п. Изречения эти привились в народе, который он любил, и глубоко скорбел о его грубости, забитости, темноте. Он знал, что в этом многомиллионном сермяжном народе часто драгоценные чувства перемешиваются с грязью, и все это благодаря «власти тьмы». И он не бичевал его сатирой, не смеялся над ним, а только жалел и с положительной правдивостью иллюстрировал его темноту. Его Василий Брехунов, будучи церковным старостой, ставит свечи, справляет все религиозные обряды, о боге же и вечности как следует сознает только перед смертью. Матрена во «Власти тьмы», по грубости и невежеству, совмещает несовместимое:

— А крестик-то, крестик-то надели на него? —спрашивает она, зарывая задушенного ребенка.

Такова религиозная вера в массе русского народа, который без понятия о праве, о боге творит вольные и невольные преступления, плохо сознавая свое человеческое достоинство».

Другой говорит о себе: «Все Толстого произведения казались написаны на одну тему толкования евангелия. Я был сыт, но не совсем. Мне хотелось что-то еще добавить. Остановиться хотя бы на двух книжечках («Много ли человеку земли нужно» и «Чем люди живы»). Не итти за море искать Христа... Он с нами и везде. Остановить свою быстроту захвата. Ведь человеку нужно только три аршина. И поверить Семену Сапожнику в книжке «Чем люди живы». Жена говорит: «Сем, а Сем, как нам быть завтра? У нас ничего нет». Семен поддернул на себе кафтан и сказал: «Будет-те. Живы будете, сыты будете». И я начал себя увещевать мыслями: «Довольно, Василий, останься без добавлений. Достаточно для твоей жизни. Там, где ты, и есть бог». Чем более порицали Толстого, тем чаще я стал заглядывать в евангелие. Но, не имевши в себе хоть малой части добрых дел, я более умалчивал. Изредка только выронишь слово в защиту Толстого или задушевный его рассказ. И все-таки меня стали порицать и называть перекувыркой. И если бы я пускался в спор, то, думаю, много бы раз у меня была бита рожа». Третий считает, что жизнь может итти лучше только там, где есть крупица религиозного интереса к жизни. «А жизни решение всех житейских бед может быть достигнуто только житьем по божьи в любви ко всем, как говорилось в «Чем люди живы», в труде и воздержании, как проповедывалось в сказке «Об Иване-Дураке», а служение богу может быть правильным только такое, как указывалось в рассказе «Два старика». Он дал прочесть «Краткое евангелие» одному земляку, который был более его начитан и писал стихи. У того впечатление от чтения евангелия оказалось такое же. Под этим впечатлением у него даже вылились стихи: «Как долго я бродил во мраке заблужденья и тяжкое сомненье в душе своей таил. Как истины искал и как страдал я много, темна была дорога, я света не видал. Но вот услышал я глагол твой вдохновенный, и стала откровенной мне тайна бытия, и новый предо мной путь жизни вдруг открылся, и ярко засветился свет истины святой».

Еще одно суждение: «Когда переходишь к Л. Толстому как учителю жизни, то представляется следующее деление человеческого рода на две категории. Одна из них — самая большая. Это те люди, которые всегда поглощены заботой о материальном. Они вспоминают о смерти, о боге только на смертном одре. Таковыми в произведениях Толстого являются Иван Ильич, только при смерти мучительно сознавший, что вся его жизнь была ложь и прошла не так, как мог бы он и как должен был жить. Василий Брехунов («Хозяин и работник»), ставши лицом к лицу со смертью, сознает и чувствует всю бесцельность и ничтожество своих чрезмерных забот о материальной жизни и решает, хотя перед концом, оказать помощь ближнему. Люди этой категории, являясь с виду религиозными, внутренне остаются пусты. Другая категория людей это та—в каком бы положении или звании ни находились,—всегда ищут об'яснения своего краткого пребывания на земле. Они ищут вечной правды. Им не нужна война, потому что они не хотят захвата чужого благосостояния; не нужна полиция и суды, потому что их суд—их совесть. Таковыми в произведениях Толстого являются Пьер Безухов, Левин, Нехлюдов, Аким и другие».

Крестьянские интеллигенты ставят вопрос: «возможно ли проведение учения Толстого в жизнь народных масс?» И отвечают: «вопрос этот долго останется нерешенным».

Бесспорно, для толстовства,—в общепринятом значении этого слова, — в крестьянстве почвы нет; *слишком практичен „образ мыслей“ читающего крестьянина, слишком безжизненно толстовство.* Как ни родственно последнему русское сектантство,—столь замечательное явление нашей религиозной народности,—все же и молокане, и духоборы, и штундисты лишь сочувствовали толстовцам, но не сливались с ним. Толстовство было в истории наших общественных течений интеллигентским течением. Однако, богоискательский дух Толстого,—как он ни рационалистичен, а, может быть, *именно потому, что рационалистичен,*—близок, понятен крестьянской интеллигенции: писатель

верит, в их глазах, в то, во что верит вся деревенская мудрость. «Даже когда я, бывало, зачитывался его сочинениями на религиозные вопросы,—пишет крестьянин, — я не хотел порвать общения с православной церковью, потому что мне страшно тяжело было считать и чувствовать себя особняком от своих сельчан. Я говорил себе: где миряне, тут пока и я. Лишь в дни освободительного движения я почувствовал в своей душе назревший и решительный перелом».

XI.

Близко читателю и отношение Толстого к земле, земельному вопросу, к крестьянству: пролетариат если и существовал для него, то как недоразумение, в совокупность черт, выражающих народ, не укладывающееся.

Любопытную оценку Толстой дал Пимену Карпову, автору романа «Пламень», интеллигенту из крестьян, так слепо, такой жуткой ненавистью ненавидящему город и городскую культуру во имя земли и крестьянина-землероба. «Для того, чтобы высказывать горькие истины «образованным»,—писал писатель Пимену Карпову, — нужно в наше время гораздо больше смелости, чем для того, чтобы высказывать их правительству. В особенности понравилось мне в вашей книге то великое значение и та великая будущность, которые вы видите в настоящем деревенском крестьянстве. Помогай вам бог продолжать ту жизнь, которую вы ведете, отдавая долю сил на деревенский земельный труд и досуг на писание, к которому вы очень способны» [1]. Толстому нравилась «смелость мысли и ее выражения» Пимена Карпова; всякому, кто хотел бы убедиться, в чем состоит эта «смелость мысли и ее выражения»,—этот «пламень», который должен сжечь город и городскую культуру,—рекомендуем его «Говор Зорь».

Даже Пимен Карпов, не оставляющий камня на камне от интеллигентского народолюбия, уверяющий, что Каляев

[1]) Письма Л. Н. Толстого 1848—1910 г. Том второй, стр. 265.

убил великого князя «не ради достижения народного блага», а потому, что великий князь «приносил огорчение Каляеву, а не народу», даже Пимен Карпов для Толстого находит одни лестные слова. Крестьянскому же читателю, вообще, народничество Толстого светит таким светом, что он не замечает ни того, в чем он, крестьянский интеллигент, самым ходом русской жизни расходится с Толстым, ни противоречий, которые у писателя так неожиданны. Крестьянин, получивший доступ к книге, если не втягивался в движение, то на всех ступенях деревенской жизни вырабатывал себе революционный образ мыслей; и прежде всего в вопросе о земле целиком и безраздельно шел навстречу революции, всем своим существом чувствуя ужас крепостных остатков. В этом направлении расхождение с Толстым было неизбежно. Прочтите его письма к крестьянину Новикову. Он убеждает Новикова, что «хорошо быть эксплоатируемым, но не эксплоататором», но в то же время нехорошо иметь те чувства ненависти к достаточным классам, которые «проникают почти каждое слово» новиковских писем [1]). Семенов,—столь же близкий Толстому, как и Новиков,—рассказывает, как он как-то напомнил Льву Николаевичу о проэкте Генри Джоржа, где утверждалось, что если земельной реформой и будут нарушены интересы крупных владельцев, то этим смущаться нечего.

— Нет, это не пойдет, — категорически возразил Толстой.—По системе Генри Джоржа ни личность, ни класс не могут быть обижены. А здесь хотят взять землю у одного и передать другому.

И Семенов отмечал в своих воспоминаниях, что «в Ясной чувствуется влияние лиц привилегированного сословия» [2]). Но для нашего читателя этих противоречий нет. Прислушиваясь к тому, что он говорит и пишет о Толстом, вам кажется, что Толстой в вопросе о земле отстаивает их тайные мысли, и если есть расхождение в «способах», то об этом не для чего и говорить. Лишь крестьяне-толстовцы,

[1]) Там же стр. 259.
[2]) *С. Семенов.* Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом.

проникнутые самым духом толстовского учения, — а таких, конечно, немного,—отдают себе отчет в этом пункте. Остальные же,—чувствуя, какими прочными нитями Толстой привязан к ним, миллионам простых людей, как пламенно желает «всей земли всему народу»—о том, что их разделяет с ним, хранят молчание.

О каком «царствии божием на земле» мечтал и заботился мыслитель земли русской,—говорит один из них,—формулировать нетрудно. Он звал покинуть город, жить в общении с природой. Что невозможно для города, в силу его коммерческих спекуляций, неравенства богатств, разных ухищрений и зависти, — для деревни естественно и просто. Нужно только «в поте лица своего добывать себе хлеб», не желать ничего чужого, не желать другому того, чего не хочешь себе, вот все, что может водворить царство божие на земле». Что его захватывало, — пишет о себе другой, — это постепенно развертывающееся перед ним «превосходство земледельческой работы над другими отраслями черного труда». Помимо сознания, что ты производишь самое необходимое для людей—почему твой труд имеет особое значение,—открываются «незнакомые многим радости» от того, в каких условиях происходит этот труд. Человек становится лицом к лицу с природой, она развертывает перед ним всю свою красоту. «Это раннее вставание и выезд в поле, когда только что всходит солнце, трава и листья облиты еще росой, чистый и ароматный воздух звенит пением проснувшихся птиц. Открываются картины на горизонте, доносится звук рожка пастуха или чье-нибудь пение, тут и живопись, и музыка, и еще что-то такое, что создает настроение, которое редко вызывается первоклассным произведением искусства. А как хорошо думается, когда идешь за сохой или бороной! Лев Николаевич один из всех писателей понял это, оценил и описал это в своей статье о деревенской жизни. Рождается и растет животное царство на глазах — в огороде, саду, в лесу. Невольно приходится со всем соприкасаться, все возбуждает интерес и приобретает в твоих глазах особую ценность. Чув-

ство делается сложней, сердце влечет в одну и другую сторону, является ряд вопросов, которые требуют разрешения. Особенно ясно мне почувствовалось, как земледельческая жизнь и жизнь на миру связывает с людьми. Невольно в каждом видишь какое-нибудь достоинство, каким, несомненно, каждый человек и обладает».

Когда Толстой утверждает, что низкие чувства не могут долго держаться в душе мужика; что в крестьянском мире не может быть таких долгих ссор, такого злобствования, как среди людей нашего круга, ибо условия крестьянской жизни таковы, что любовность там необходима, как неизбежна помощь друг другу, — это кажется нашему читателю столь убедительным. Конечно, он знает, что, *под влиянием городской жизни,* деревенская жизнь уже много, много лет как «помутилась». И то, что так привлекательно для него в идее, очень далеко от того, что у него на глазах. Новое перемешано со старым в таких грустных комбинациях. Наш читатель хотя и чувствует «односторочность» чеховских «мужиков», но не может не признать, что мужики это «настоящие», как и все то, что пишется с легкой руки Чехова о мужике и мужицкой жизни наших дней. Но тем и «люб» ему Толстой, что он поддерживает в мужике «веру» в то, что окружено в его душе поэзией с самых детских лет; что в то время, как у «образованных бар», когда-то мечтавших о слиянии с мужиком, стало модой «обливать его помоями», говорить о варварстве деревенской жизни, великий писатель не переставал верить в глубину души крестьянина, в религиозный смысл его земледельческой жизни.

XII.

Если родной язык, родной народ это — деревня, то город это то, что возбуждает вызывающие чувства. Крестьянину по-милу хорош Толстой *не только за то, что он так возносит власть земли, но и за то, что он так убедительно разбивал ложь, именуемую городом, до конца сводил счеты с городской культурой.*

Семенов передает разговор свой с Львом Николаевичем о городе. Мысль Семенова (если рабочий, работая в городе меньше, чем крестьянин, получает в пять раз больше, то выигрыш отсюда плохой: большой доход сейчас же вызывает и большой расход) так подхватывает Толстой.

— Совершенно верно. Легкие и большие доходы вызывают и расходы. Потому, как ни вертятся работающие люди в городе, а все они в проигрыше. Это все равно, как в прежнее время в трактирах были игры в лото. Играют целый день, одни игроки сменяются другими, а в конце концов в настоящем выигрыше остается один хозяин. Так и тут...

Этот-то город вмешивается в жизнь «народа», заводит какие-то порядки, развращает его.

— Народ чувствует это. Были случаи холерных бунтов, все возмущаются этим, ужасаются степенью темноты и невежества, а это самый естественный взрыв народного негодования против тех, кто коверкает им жизнь, только вылился-то он на случайно подвернувшихся докторов. Тут не темнота, а сознание, что нет терпения от бестолкового вмешательства в народную жизнь.

— Но ведь надо же как-нибудь выводить народ из этого ненормального положения?—спросил кто-то из гостей.

— Вовсе не надо. Нужно только постараться отойти от него подальше, слезть с его шеи. И когда вы слезете с его шеи, то он сам оправится, выберет себе дорогу и выйдет на нее [1]).

Семенову это по душе. Жизнь должна строиться на праведном сельском укладе — без заводских черных труб, коптящих небо, без железных дорог, без адвокатов и газетчиков. Город, так безжалостно отрывающий Семеновых от полей, от синего неба, чтобы выварить в своем котле; город, в котором они так стонут от боли, от жестокого отношения к себе, *этот город — Содом и Гоморра и заслуживает только уничтожения.* Правда, жизненной уверенности в своей крестьянской сущности у крестьянского интел-

---

[1]) *С. Семенов.* Воспоминания о Л. Н. Толстом, стр. 17 и 42.

лигента нет; он подчас растерянно слушает советы писателя, ибо советы не жизненны. Так Василий Морозов, ученик Толстого, рисует такую сцену. Он пришел к писателю в Москве. По обыкновению, последний начал журить Морозова, что тот живет в городе, а не в деревне. Морозова его слова задели, и он сказал.

— Вы только заладили, Лев Николаевич: «в деревне хорошо, хорошо, хорошо». И я скажу: хорошо, если по-божески, а нам житье в деревне выходит по-дьявольски.

— Что ты, Василий, хочешь сказать?

— А вот что: приду в деревню и стану жить. У меня шесть сыновей, дочери, брат. Семейка веселенькая, а землицы сколько у нас? У нас две души, обрезок тридцатка. Ну, пришел я делать по-божески. А что делать? Земли мало, а едоков много. Хлебушка себе не хватит, а сколько нужно еще и на распыл!

— На какой распыл?

— А я расскажу: подати нужно. Это—раз. Старшине, писарю, старосте... Это два. Урядник, сотский, становой, исправник, земский. Это три. Школа, ремонт, дрова, учитель, поп... А тут еще причислены два престольных праздника. И бабам надо одежду справить, и обуться нужно. И то, и другое, и третье... Что ж делать в деревне? Вот и придумываешь, как налаживать колеса, *чтобы*[1]) *к графу дубы воровать* да в Тулу их отправлять. Ушел—бог унес. А поймали—граф простит. Так вот в деревне добра тоже может быть мало, как и в городе. *Теперь и решайте, как хотите.*

Лев Николаевич пожал плечами и обратился к товарищу, с которым Морозов к нему пришел.

— Зачем же такие обязанности брать на себя, о которых говорил Морозов? *Ведь стоит только хорошим людям обдуматься и сбросить ту тяжесть, которая давит плечи.* Вот Морозов наговорил целую кучу ненужных расходов на «распыл».

— Да ведь если не платить во все учреждения, что же будет?—стоял на своем Морозов.—Ведь тогда все распродадут и отберут последнюю землю...

Но на этих словах «беседе помешали»... приехавшие посетители.

Даже крестьянина, всю жизнь находившегося под обаянием Толстого и его произведений, одной «идеей» трудно вернуть из города в деревню. Есть разница между Морозовым и Семеновым; последний, действительно, вернулся в деревню. Но Семенов время от времени получал деньги из «Посредника» за свои писания, для простого крестьянина весьма значительные. Это-то и дало ему возможность зажить вновь по-толстовски. Однако, несмотря на практическую сметку, которая редко изменяет крестьянину, неподатливому на фантазии; несмотря на то, что поднявшийся умственно мужик стремится уйти в город,—ибо такова сила вещей, которую он инстинктивно чувствует, экономическая мощь города,—*посмотрите, как западает ему в сердце взгляд Толстого на город, как он сам ненавидит город,* с его автомобилями, с его куда-то, зачем-то лихорадочно спешащими людьми, как мечтает свести счеты с городской культурой.

Сгинут кинематографы, проститутки,
Церковные кружки и барский шик;
Будут ангелы срывать незабудки
С луговин, где был лагерь пик.

Пишет крестьянин — поэт Клюев. И ему не уступает в темпераменте наш читатель. Город,—по его словам,—«выдумывает свои пошленькие, маленькие правды и этими правдами, точнее правдочками, душит людей. Правдочки эти суть: жалкие слова о пользе цивилизации, о необходимости культурных приобретений». Ведь при помощи культуры так легко «избегнуть настоящего труда» и «об'егоривать народ». А когда все-таки сомневающийся народ спросит, где же все-таки правда, ему ответят: «посмотри на железные дороги, на заводы, на

[1]) Курсив наш.

фабрики—чьим умом это достигнуто? Как бы ты обошелся без машин и заводов? Ты погиб бы».

Но что же несут эти фабрики и машины, эти железные дороги? Взгляните на рабочих—они вымирают. «С этой безотрадной мыслью мирятся даже социал-демократы. Интеллигенты, высасывающие кровь из рабочих, махнули рукой на дело возрождения народа, оторванного от земли, от солнца и заброшенного в городских трущобах. «Благодетели» перестали заботиться не только о крестьянах, занимающихся земледелием, не только о «хамах», но и о своих товарищах-пролетариях. Все равно ничего не выйдет. И рабочие не живут, а доживают. Ничего не ждут и равнодушно несут бремя рабьяго существования. А с потерей веры в жизнь, с крушением надежд на лучшее будущее у рабочих явилось равнодушие к собственным страданиям. В прошлом—тяжелый кошмар огня и крови, в будущем—нищета и страх голодной смерти. Я знаю случаи, когда степенные и порядочные крестьяне, переселившись из деревни в город, теряли человеческий облик и до того наполняли сердца свои злобой, что убивали не только чужих, но и родных братьев, отцов, матерей. *Вот до чего доводит цивилизация, вот до чего доводит проклятый город. Разве мыслимо подобное воззрение и отчаяние в деревне, на земле, разве человек, живущий в деревне, опустится до „дна“*? В деревне есть выход и воле, и мыслям, и правде. Уже теперь крестьяне прозревают, и заря новой жизни, жизни среди цветов и хлебных злаков, загорается для них. У рабочих же впереди ничего, кроме кинематографа и водки».

Если верить крестьянину Новикову, *даже сами себя рабочие характеризуют так*. Он в таких чертах изображает свои встречи с рабочими, ходившими к Толстому поговорить о жизни. Лев Николаевич спрашивает рабочих, как они живут, что делают, чем наполняют свободное время.

— Водкой, пьянством,—в один голос отвечали рабочие.

— Да и откуда взяться иному, хорошему?—говорили они.—Трубы, дым, смрад, стук, гам... Тут и свежему человеку в один год душу вымотает. Посудите сами, Лев Николаевич, что из этого смрада и шума может родиться путного? Чужая машина, чужая работа. Разве она может принести какое-нибудь удовлетворение? А в этой работе проходит вся жизнь. Стой у верстака и делай гайки или винты, или заправляй станки, верти колеса, стругай, долби. И все время только и думай, только и остерегайся, как бы тебя машина не с'ела или уродом не сделала. Но вот придет праздник... Выскочишь из этого ада, обрадуешься... А итти, как в трактир, и некуда больше. Мужик, так тот в лес пойдет, траву посмотреть, грибов поискать, на свою полосу заглянет, которую он любит и которой радуется. А мы куда пойдем! На хозяйские корпуса любоваться? Или на те обозы, которые нашу работу отвозят неизвестно куда? Так все это нам и за неделю опротивело. А думать! О чем? Не о чем. Все за нас выдумано и по часам да по стрункам налажено. Ну, подхватишь друга-приятеля ай мамзель какую и айда в трактир. А загудит поутру гудок...

— Это ужасно!—восклицал Лев Николаевич.—Ведь это то же, что делание пирамид... хуже! Там была идея, грубая, низменная, но идея. А тут то же *рабство. И это называется «разделением труда», «прогрессом»*. Вы думаете—обращался он к рабочим—что вы фабрикуете товары; *нет, фабрики переделывают хороших людей в плохих*.

«Чую я,—вторит и наш чернозем,—что конец царству лжи, и смерти, и отчаяния близок». Народ сам пробивает себе дорогу. Он бросил вызов городу и вступил в единоборство с ним. «Как лавина, он хлынет «на верх жизни» и сметет тех, кто, презирая народ—ничего, кроме вреда, не принес ему. Сил народа пока не знает никто. Все почему, то думают, что народ спит. Если так, то страшно же будет его пробуждение, и земля содрогнется, когда он вступит в борьбу не с мутью и грязью,—с нею смешна борьба, — а со всеми теми, кто станет на его историческом пути».

Конечно, «народ» это крестьянство, а «верх жизни», который будет сметен—город, городская культура.

XIII.

«Сердце и разум» крестьянина против города, олицетворения «неправды». Значит, и анти-интеллигентские настроения Толстого не могут не отвечать психическому складу читателя. Слепым историческим процессом оторванный от интеллигенции и ее лучших представителей («Не суйся»), мыслящий крестьянин ей чужой.

Крестьянин Новиков изображает разговоры на эти темы в кабинете Льва Николаевича; разговор ведут интеллигенты и рабочие, тяготящиеся фабрикой, тоскующие по покинутой земле.

— Мы, господа, — говорят рабочие интеллигентам, — вместо завтрака едим только хлеб или хлебаем кипяток, облитый на селедку; мы не можем лишний раз купить фунт белого хлеба больным; у нас мрут почти все дети, так как мы не имеем ни времени, ни средств, чтобы содержать их как следует,—так нас вы уже оставьте в покое. *Нам не нужны ваши науки и древние языки; не нужны ни рояли, ни консерватории. Вы ими давно занимаетесь, а мы все в нищете.* И не только нам лучше не сделали ваши науки, а все труднее и труднее стало прокармливаться.

Студенты спорили, оправдывая науки; доказывали, что науки двигают и духовную, и материальную жизнь человека, что нужно только, чтобы все могли учиться.

— Теперь-то вы, господа,—перебил рабочий,—все про народ тары-бары разводите. А как получите дипломы, так сейчас скорее на теплое местечко с окладом пристроитесь и про народ забудете. Разве только кучер или лакей понадобится. Ну, тогда и вспомните, что народ такой есть, из которого лакеи добываются. А не понадобится, так, пожалуй, и не вспомните.

Но вот интеллигенты ушли, «не попращавшись с рабочими». «Мне и рабочим сразу стало как-то легче», пишет Новиков. И оживленно заговорил Лев Николаевич.

— Насколько люди нашего круга,—сказал он,—отдалились от правды! И никто прежде всего не хочет бросить легкую жизнь и, ставши в положение рабочего народа, жить его трудовой жизнью и там, среди народа или рабочих, одержимых недугами, суеверием, пьянством и невежеством, приносить пользу своими повышенными знаниями. Этого нет. Минуя этот важный этап, хотят итти учить народ, который все-таки, несмотря на все свое невежество, стоит неизмеримо выше нас в нравственном отношении. Ведь стоит только сравнить проявления душевных порывов *у людей вашего круга* с такими же проявлениями *кающихся интеллигентов*, чтобы видеть всю несостоятельность этих последних. Представьте себе мужика, который, сознавши греховность своей жизни, начал бы тяготиться ею. Что будет он делать? Они будут видеть только свое несовершенство и напирать только на самих себя. Им и в голову не придет кого-то учить, кому-то рассказывать ученые сказки и пр. Перед ними будет стоять только их грех, от которого им нужно избавиться. Иное дело у непростых людей. Придумываются компромиссы, чтобы, оставаясь на шее у трудящегося класса, служить бы этому классу [1])...

Новикову это близко, понятно; сколько отрицания во всем, что он сам пишет об интеллигентах,—в каждой черте, какими он их изображает, в противовес «людям вашего круга». Правда, даже среди крестьян, — близких покойному писателю,—нет единомыслия на этот счет. Семенов, например, рассказывает о впечатлении, какое на него произвел «Великий грех», первоначально прочитанный Львом Николаевичем в кругу своих. Его поразило в статье то, что Лев Николаевич так ужасно порицал интеллигенцию. Получался такой вывод, что интеллигенция «способна только сидеть на шее народа, ничего не делая». В конце концов Лев Николаевич утверждал, что интеллигенция «может только развращать народ». Выражено это было так сильно и страстно, что,

[1]) Курсив наш.

видимо, Лев Николаевич был далеко неспокоен, когда писал эту статью. Семенов не успел ничего сказать ему, так как он спешил на поезд. Но в Туле, в ожидании поезда на Москву, написал Льву Николаевичу письмо, в котором вылил свое огорчение за его нападки на интеллигенцию. «Живя среди народа,—писал он,—я близко на месте, своими глазами видел, что делала и что могла делать для народа интеллигенция. У народа только и могла быть надежда на служилые ряды интеллигентных работников при новых порядках жизни, только они одни способны что-нибудь сорганизовать и провести. От других классов нельзя было ожидать ничего. Нельзя было ожидать и плодотворной самодеятельности от самих масс: они плохо были приучены к этому своим прошлым и постоянной опекой над ними правящих классов. *Не знаю, мое ли письмо подействовало на Льва Николаевича*—замечает Семенов,—*или еще что, но когда работа появилась в печати, нападки на интеллигенцию были уже значительно ослаблены,* паразитами же он называл лишь лиц командующих классов, к которым причислял и себя» [1]).

Однако, мнения, подобные этому, в крестьянских суждениях о Толстом редки. Типично то отношение к интеллигенции, которое видим мы у Новикова. Толстовское отрицание интеллигенции, интеллигентских ценностей, созданных ею, тем легче западает в «сердце и разум» читающего крестьянина, *что это понятие, сплошь и рядом, слито у писателя с городом, с городской культурой, с командующими классами,* которые ее представляют. И в суждениях крестьян, в свою очередь, почти не видите вы черты, которая отделяла бы первое от второго или третьяго. Все слито в одно, в один цвет.

Как вы думаете, почему «народ» (разумеется, крестьянство) не идет навстречу интеллигенции? «Вы думаете, народ умолк потому, что ему не дает говорить бюрократия?

---

[1]) Курсив наш.

Полноте! Молчат крестьяне оттого, что они смешали интеллигенцию с помещиками и чиновниками и всех считают «барами», начиная от сельского учителя и кончая писателем. А с «господами», как известно, они не охотчики откровенничать. Вот почему народ упорно отказывается от всяческих услуг, предлагаемых ему нынешней интеллигенцией». Нет,—если в качестве непрошенных опекунов мужика «выступают поучающие материалисты»,—он будет «жить, как жилось», и не пойдет за материалистами». Если они не на словах, а на деле хотят показать свою любовь к народу, то «почему бы им не покинуть «городскую культуру», не пойти за плугом, одновременно уча народ и создавая с ним культуру деревенскую»? Но этого нет, потому что интеллигенция вся—в словах. «Ну, мы и решили: баста, значит. Не будем больше слушаться ни чиновников, ни ученых: вы, баре, идите своей дорогой, а мы своей».

Вот в чем трагедия. Но не даром «их обуял страх перед надвигающейся стихией—народом». Придет время, когда «мы» «сломим вашу культуру», и «вы ляжете костьми под нашими ногами». «Так идите же к нам теперь, пока не поздно». «Делайтесь, господа, народом. Откажитесь от низкой роли скоморохов и развлекателей капитала».

XIV.

Итак, как Толстому здесь, в низах крестьянского быта, чудилась гармония жизни, так читающий крестьянин,—по крайней мере, умственный, очень устойчивый круг его;—находит в Толстом «гармонию мысли», близкую ему, несмотря на общественно-психологические перегородки.

Близко именно то, что было в Толстом наиболее поучительного. Мы реже находим ссылки на произведения первого периода, чем на произведения второго. Любимые произведения крестьянской интеллигенции не только «Власть тьмы» и «Хозяин и работник», но и «Воскресенье», а самые популярные — народные рассказы и сказки. Но так воспринимать

Толстого значит воспринимать из него только то, что родственно характеру умонастроения деревни.

Конечно, и все это «от Толстого». Мужицкая жизнь и ее устои были тем критерием, с каким Толстой относился к религии, искусству, культуре, материальной и духовной, наконец, к интеллигенции. Если жизнь интеллигента так же лжива, как жизнь города вообще; если один труд крестьянина с его ограниченными потребностями дает гармонию духа и успокоенную совесть, то надо стать мужиком. Это—взгляды и мотивы, в свое время пережитые нашей народолюбивой интеллигенцией разных толков, и отличие Толстого только в том, что он — с свойственною ему прямолинейностью,—довел свою ссору с городом и культурой до логического конца. Конечно, это он, Толстой, ибо Толстой — целостен в своих исканиях. Но эта откровенность и наивность гения не все, что об'емлется именем великого писателя земли русской.

Быть может, самое ценное в нем это те измены его вчерашнему дню во имя сегодняшнего, которыми так богата его могучая энергичная натура, а вместе с ней ум; то, что цельного миросозерцания у Толстого, собственно, и не было. Вот почему столько мечтательности во всех его рационалистических построениях. В то время как Толстой-моралист, религиозный мыслитель в такой степени строит свои доводы на роли личности и ее силы, Толстой как художник неотразимой логики жизненных фактов, власти веков и поколений,—художник необходимости, таким ярким выражением которой является зависимость деревни от города, мужика от капитала и капиталистической культуры,—отрицает и личность, и фикцию свободы воли. Понять Толстого значит понять бесстрашие большого человека с мужицкими чертами лица, с мужицкой неуклюжестью и в мысли, и в стиле; понять его в его движении, в пути, в его колеблющихся сменах, часто столь непостижимых; понять *всего* Толстого не только со всеми его произведениями, но и со всеми его переживаниями, впитавшего в себя все краски и ароматы бытия.

Вот эта-то жажда, не находящая себе утоления, это-то жизнеощущение художника менее всего захватывает крестьянина. Для него Толстой не столько художник, сколько *учитель жизни* не только в своих статьях на религиозно-этические темы, но и в его художественных произведениях. Потому-то он и воспринимает писателя *рационалистически*,—конечно, не в нашем интеллигентском, а в авторитетно-мужицком смысле,—но все же рационалистически, обесцвечивая его художественное я.

Степенным, мужицким шагом подходит он к писателю, берет от него то, что по плечу его мужицкой сущности, и отходит, почти не замечая его солнечность, его не тускнеющую красоту.

И невольно сравниваешь эти оценки — оценки деревенского читателя—*с тем, что говорит о Толстом, как моралисте и художнике, антипод крестьянина—типичный рабочий-интеллигент.*

Толстой, как моралист, для него не существует. В то время как крестьянин обнаруживает знакомство с значительным количеством работ Толстого,—помимо художественных произведений его,—особенно на религиозные темы, рабочий-интеллигент их не читает. «Не кажутся ли нам, рабочим,—пишет металлист — многие глубочайшие истины, изреченные мудрым Достоевским, уже отжившими? И не улыбаемся ли мы благосклонно на многие благоглупости Толстого?» Это уже звучит не по-крестьянски, но в такой же мере для нас характерно, как и крестьянское у крестьянина. Рабочий-интеллигент—человек мишины, и *«мужицкий рай» ему чужд, и бог для него «душевные потемки»*, которые сеют помещики и капиталисты: «кто из вас любит бога, тот равнодушен к людям». *Не деревня, а город открыл России новую эру — в его глазах, — город, который он любит* за то, что он об'единил его с товарищами, научил протесту, убил предрассудки в нем крестьян; *за то, что он создал ту материальную культуру, которую так низко ставит мужик...* Может ли не

казаться ему «благоглупостью» то, что так привлекает в Толстом деревню? И вот эту «благоглупость» он пропускает *через «классовую точку зрения»*. «Я уже чувствую возражение читателя, — продолжает металлист, — ну какой же писатель буржуазии Толстой? Он общечеловеческий. Пролетарская критика должна вскрыть всю истинную подоплеку всех этих «общечеловеческих» писателей и мыслителей. Она должна очистить путь пролетарским творцам от надклассовой заросли».

Всякий, кто стоит лицом к лицу с рабочей интеллигенцией, не может не отметить в то же время факта, резко отличающего рабочего-читателя от крестьянина: чем равнодушнее, вернее отрицательнее он относится к Толстому-моралисту, тем полнее он воспринимает Толстого как художника. Этот читатель—в противоположность деревне — берет Толстого первого периода, а не второго, «Войну и мир», а не «Воскресенье».

Толстой-художник не вызывает в его сердце те эмоции, какие вызывает в нем близкий «по духу» писатель. Разве Горькому рабочие писали бы в таком духе: «Из душных мастерских завода, мы, люди тяжелого труда и тяжкой доли, шлем вам привет. Чтя в лице вашем национального гения, великого художника слова и неутомимого искателя истины, мы, русские рабочие, гордимся вами как национальным сокровищем, и лишь хотели бы, чтобы и могучему созидателю новой России—рабочему классу—природа дала своего Льва Толстого». И далее: «чуждый понимания задач рабочего класса, Лев Толстой все-таки останется навсегда в памяти пролетариата как художник и гуманист». Однако, если хотите видеть читателя-массовика, ищущего в Льве Толстом художника, а не учителя жизни, идите в рабочий район, *в среду рабочей* интеллигенции.

Заключение.

Так вырисовывается облик читателя рабочего, полу-рабочего, полу-крестьянина.

Низшие слои пролетариата мыслят по-крестьянски, чувствуют по-крестьянски, и слои эти численнее промышленных кадров пролетариата. Это нарушает и стройность материала, и цельность выводов, априорно, конечно, очевидных: в рабочем, живущем продажей рабочей силы, связанном с фабрикой на всю жизнь, сквозит полу-ремесленник, полу-крестьянин, не порвавший с земельным наделом.

Однако, и мысль полу-крестьянина воспринимает в себя элементы фабрики, становясь все сложнее и сложнее. Профессиональные союзы, клубы, широкие массовые организации, дискуссии, массовки, кружки — все это переваривает в фабричном котле и вкусы полу-рабочего. Никакие стены не смогли задержать этого процесса. История нашего промышленного развития показала, что мечты о прошлом это лишь мечты. Деревня раз навсегда уступила место фабрике, фабричной культуре, а вместе с тем соответствующим читательским вкусам. И—как ни портит чертежи тип промежуточного свойства—основные черты линий, по которым дифференцирован читатель, для нас ясны.

Перед нами 1) читатель фабрики и 2) читатель деревни, два типа литературных симпатий и умонастроений, может быть, ни в одной точке не совпадающих.

Ведь дело не в одной истине, а в комплексе идей, приемлемых для одних и неприемлемых для других. Принадлежность к социальной группе обусловливает характер восприятия. Образование понятий отражает условия нашего бытия.

«Одно и то же художественное произведение, один и тот же образ — говорит А. Потебня—различно действует на разных людей и на одно лицо в разное время точно так, как одно и то же слово каждым понимается иначе; здесь относительная неподвижность образа при изменении содержания... Читатель может лучше самого поэта постигнуть идею произведения. Сущность, сила нашего произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в неисчерпаемо возможном его содержании».

И вот один тип родственных переживаний в области запросов духа и другой тип. Новые мысли, новые чувства, мысли и чувства умственного пролетария—в индустриальном смысле этого слова — это разрыв с деревней, гибель всех прежних понятий. У читателя фабричного свой образ мыслей, у читателя-крестьянина—свой, ибо на ступенях фабричной жизни—одно бытие, на ступенях деревенской жизни—другое. Деревню пропитала власть ржаного поля. Гении капитала рыщут по ней. Необходимость перекидывает умственного крестьянина в центры, в ту психическую атмосферу, которой живет рабочий класс. Но дух его жив... Дух же рабочего индустриален. Ему близок лишь труд, за которым стоит машина, фабрика, город. Это лишь орудие дает рабочему силу. Лишь когда он впитывает в себя кровь и сок металла, он перестает быть рабом, делаясь творцом.

Здесь весь узел. Не через ржаное поле, а через мир железа, через машинизм в грядущее... Отсюда и только отсюда различие читательских вкусов, как и жизнеощущений.

Указатель литературы.

I.

1. **Н. А. Рубакин.** „Этюды о русской читающей публике“. Факты, цифры и наблюдения. Изд. О. Н. Поповой. С.-Петербург. 1895 г.
2. **Н. А. Рубакин.** „Искорки“. С.-Петербург. 1890 г. Второе издание вышло под названием „Чистая публика и интеллигенция из народа“. Здесь примечательно приложение „Накануне революции. Борьба народа за свое просвещение“.
3. **С. Ан—ский.** „Очерки народной литературы“. Издание „Русского Богатства“. 1894 г.
4. **А. Пругавин.** „Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения. Петербург. 1895 г.
5. **В. Вахтеров.** „Внешкольное образование народа“. Москва. 1896 г.
6. **А. В. Пешехонов.** „Из истории читателя“. „Жизнь“. 1899 г. Книга шестая.
7. **Н. А. Рубакин.** „Битые читатели“. „Начало“. 1899 г. № 4.
8. „ „Новые времена, новые веяния“. „Русская Мысль“ 1905 г. Июль.
9. **Н. А. Рубакин.** „Читатели и писатели-самоучки“. „Русская Мысль“. 1898 г. Апрель.
10. **Н. А. Рубакин.** „Читательская выучка“. „Образование“. 1903 г. Январь.
11. **М. Сукенников.** „Что читают немецкие рабочие“. „Русское Богатство“. 1901 г. Июнь.
12. **Н. Ч.** „Из Чернигова. (Безграмотный читатель)“. „Образование“. 1901 г. Апрель.
13. **Ал. Смирнов.** „Что читают в деревне“. „Русская мысль“. 1903 г. Июль.
14. **Л. Клейнборт.** „Новые течения в народной жизни“. „Образование“. 1904 г. Май.
15. **Его же.** „Читатель из народа“. „Вестник Знания“. 1903 г. Январь.
16. **Е. Соловьева.** „М. Горький и суждения народа“. „Образование“. 1903 г. Сентябрь.
17. **Н. А. Скворцов.** „Читатель-босяк“. „Русская Мысль“. 1905 г. Сентябрь.
18. **Ал. Смирнов.** „Книга в деревне“. „Русская Мысль“. 1905 г. Март.

II.

19. **П. Жулев.** „Современный читатель из народа“. „Русская Школа“. 1912 г. Сентябрь—Октябрь.
20. **Н. Кондратьев.** „Литература и народ“. По данным анкеты. „Журнал для всех“. 1912 г. Май.
21. **А. Филатова.** „Среди крестьянских детей“. Из наблюдений над читателями. „Русская Школа“. 1912 г. Май—Июнь.
22. **А. Петров.** „Анкеты на научно-популярном отделе Московского Городского Университета имени Шанявского“. „Вестник Воспитания“. 1912 г. Сентябрь.
23. **Е. Кускова.** „Во что же верить?“ (Культурно-просветительная работа в рабочей среде). „Современник“. 1912 г. Май.
24. **С. Постников.** „Разрушение рабочей культуры“. „Заветы„. 1912 г. Июнь.
25. **И. Владиславлев.** „Городские библиотеки и рабочий класс“. „Дело Жизни“. 1911 г. Сентябрь.
26. **Б. Фромет.** „Просветительная деятельность рабочих союзов“. „Русская Школа“. 1911 г. Июль.

27. **Б. Фромет.** „Культурная работа в ссылке“. „Русская Школа“. 1911 г. № 2 (речь о ссыльных рабочих).
28. **А. Николаев.** „Книга в деревне“. Крестьянская Библиотека. Петербург. 1906 г.
29. **Хейсин.** „К характеристике обществ самообразования среди рабочих“. „Русская Школа“. 1912 г. Февраль.
30. **Г. Зинин.** „Школа и фабрика“. „Заветы“. 1913 г. Апрель.
31. **М. Сурин.** „Книга в деревне прежде и теперь“. „Свободное воспитание“. 1913 г. Июль.
32. **А. Плотников.** „Народные библиотеки по данным анкеты общества библиотековедения“. „Библиотекарь“. 1913 г. Январь.
33. **А. Пешехонова.** „Из жизни одной бесплатной библиотеки“. „Библиотекарь“. 1913 г. Март.
34. **С. Ан—ский.** „Литература интеллигенции из народа“. „Новый журнал для всех“. 1913 г. Февраль.
35. **Богданович.** „Новая интеллигенция“. „Журнал для всех“. 1914 г. Май—июнь.
36. **С. Кудрявцев.** „Запросы современного читателя из народа“. „Русская Школа“. 1914 г. Май—июнь.
37. **Б. Иллер.** „Чем была и чем стала народная интеллигенция“. „Вольный Университет“. 1914 г. Май.
38. **С. Ан—ский.** (Раппопорт). „Народ и книга. Опыт характеристики народного читателя“. 1914 г.

III.

39. **М. Левченко.** Центральная рабочая библиотека-читальня Московского губернского совета профессиональных союзов. „Призыв“ № 1. 1923 г.
40. **А. Рендель.** „Техническая рабочая библиотека“. „Призыв“. № 1.—1923 г.
41. **В. Ревзина.** „О рабочей библиотеке“. „Призыв“. 1924 г.—№ 5.
42. **М. Лейзеров.** „Массовые лекции в рабочем клубе“. „Призыв“. 1924 г. № 3.
43. **Б. Мартов.** „Рабочая библиотека по профессиональному движению“. „Призыв“ 1924 г. № 3.
44. **А. Рендель.** „Рабочая библиотека в свете повышения квалификации рабочих“. „Вестник Труда“. 1923 г. Сентябрь.
45. **В. Ревзина.** „Профессиональные союзы и библиотечная работа“. „Вестник Труда“. 1923 г. Октябрь.
46. **М. Лейзеров.** „Рабочая библиотека в цифрах“. „Вестник Труда“. 1923 г. Март.
47. **Ф. Сенюшкин.** „Культурная работа союзов в цифрах“. „Вестник Труда“. 1924 г. Апрель.
48. **С. Веселов.** „Школа и производство“. „Вестник Труда“. 1924 года. Сентябрь.
49. **М. Лейзеров.** „Культурные запросы русского рабочего по бюджетам 1922 и 1923 г.г.“. „Вестник Труда“. 1924 г. Июль.
50. **М. Растопчина.** „Работа массовика в клубе“. „Рабочий Клуб“. 1924 г. № 1.
51. **В. Силов.** „Временные литературные кружки“. „Рабочий Клуб“. 1924 г Июль.
52. „Культура и быт“. Сборник статей под редакцией коллегии научных сотрудников при Центральном Комитете Пролеткульта. Москва. 1924 г.
53. **В. Силов.** „Литературный кружок в общеклубной работе“. „Рабочий Клуб“. 1924 г. № 6.
54. **Вольдемар.** Задача работы кружка по быту и способы выполнения их на практике. „Рабочий Клуб“. № 6.

Оглавление.

		Стр.
	От автора	3
I.	Читатель-рабочий	5
II.	„Власть земли“ (Глеб Успенский)	35
III.	Общественный радикализм (В. Г. Короленко)	75
IV.	„Свой“ (Максим Горький):	
	1. Издалека (1912—1913 г.г.)	115
	2. Горький на родине (1914—1915 г.г.)	142
	3. „Несвоевременные мысли“ (1917—1918 г.г.)	167
	4. „Третье пришествие“ Горького	192
V.	Параллель с деревней (Лев Толстой)	201
VI.	Заключение	257
	Указатель литературы	259